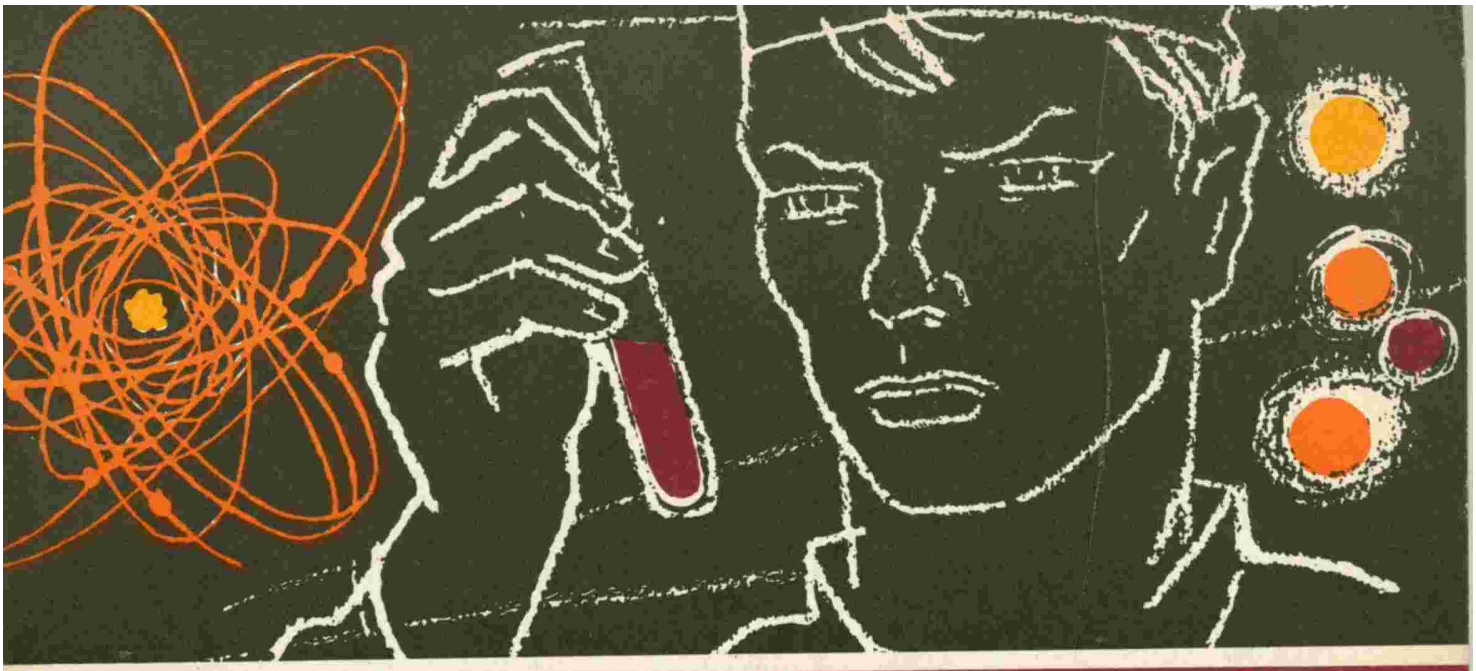
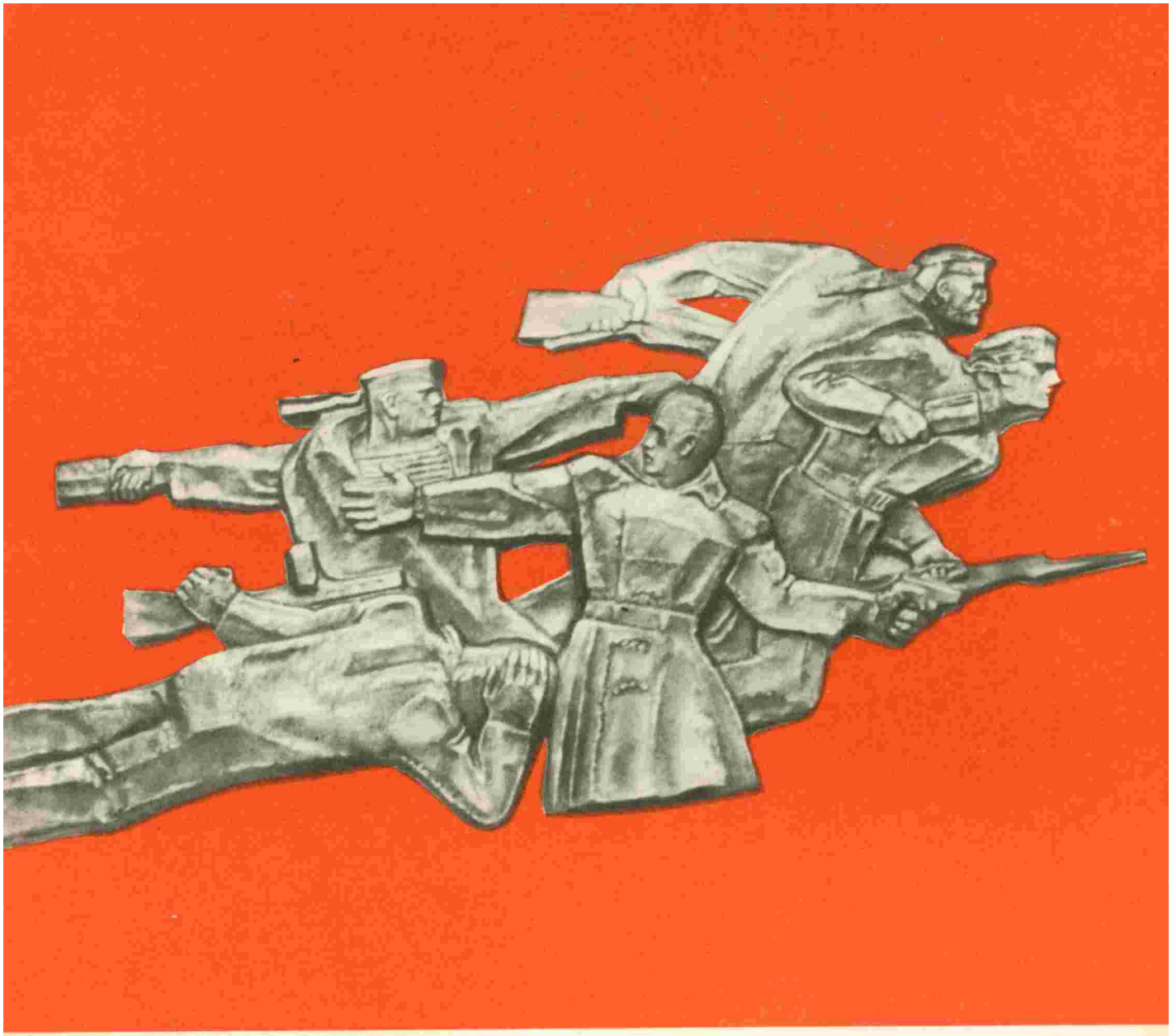


ЮНОСТЬ

10
1967



ЮНОСТЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

50 1917

Силы коммунизма неисчислимы, на его стороне — правда жизни.

Из Тезисов ЦК КПСС «50 лет Великой Октябрьской Социалистической революции»

10
(149)
ОКТЯБРЬ
1967
год издания
тринадцатый

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА» МОСКВА

• В НОМЕРЕ • В НОМЕРЕ • В НОМЕРЕ •

ПРОЗА

Петр **КАПИЦА**. Завтра будет поздно. Повесть 3

Иосиф **ГЕРАСИМОВ**. Пять дней отдыха. Повесть 32

Вл. **КУРБАТОВ**. Дедова груша. Рассказ. 69

ПОЭЗИЯ

Бронислав **КЕЖУН**. Дворец и крепость. «Вспышками огня неопалима...». «На острова пришла весна...». Надпись на обелиске 30

Степан **ЩИПАЧЕВ** «Пусть утверждают иные...». Камышлов. Торопим не время. В общежитии артшколы 31

Юстинас **МАРЦИНКЯВИЧЮС**. Поэма начала. Перевел с литовского Борис Слуцкий 65

Владимир **БРИТАНИШСКИЙ**. Возвращение Ленина. «Свой мозг, свое чудо морское...». Лыжня. Аэрогеофизик. «А Новый год мы встретили в лесу...». Происхождение 67

Олег **ДМИТРИЕВ**. О Революции. «Я увидел на экране...». Турист в Освенциме. Начало. «Нет, Москва отпустить меня вряд ли захочет...». Лето. Вечер тихий. «Когда мы смотрим в сторону заката...» 74

Керим **КУРБАННЕПЕСОВ**. Воспоминание. «Чтоб «Сыном» меня звали...». Контрасты. Поэт и Луна. Перевел с туркменского А. Кронгауз. . 76

ПУБЛИЦИСТИКА

Новые песни озябшего меридиана . . 62

Слав Стоянов **МАКЕДОНСКИЙ**. Надпись на сердце (Из «Казахстанского блокнота») 77

Адмирал В. И. **ПЛАТОНОВ**. Служили на флоте комсомольцы 81

Игорь **АКИМОВ**. Латышская мозаика . . 89

Борис **КУЛИКОВ**. Кульчицкий начинался так... 96

СРЕДИ КНИГ

Маленькие рецензии и аннотации . . . 94

ДЕБЮТЫ

Василий **ЛИВАНОВ**. «Дилемма на всю жизнь». 99

ЗАМЕТКИ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

Николай ЗЕЛОВ. Наркомпросовский стипендиат. ✲ **В. ГРИГОРЬЕВА**. Раз картошка, два... ✲ **Александр КОШЕЛЕВ, Игорь ШЕР**. Пешком через Байкал. ✲ **М. ЗАЛЮТОВСКАЯ**. Обелиск поэту 101

СПОРТ

Александр **НИЛИН**. Человек, чьи дела обстоят великолепно 104

ПЫЛЕСОС

М. ЗАХАРОВ. Что новенького? 108

Владимир ЛИФШИЦ. Дело было в метро (пародия) 109

Коллекция Галки Галкиной 110

ЖАМИДИН. Без огня. Хвали меня. . . . 110

НА СТЕНДАХ «ЮНОСТИ»

Григорий **АНИСИМОВ**. Графика алмазного края 112

На 1—4-й страницах обложки — рисунок художника **Ю. ЦИШЕВСКОГО**.

На 2-й странице обложки — рельеф работы **А. ЯСТРЕБОВА** «Подвиг моряков».

Художественный редактор Ю. Цишевский. Технический редактор Л. Зябкина.

Адрес редакции: Москва, Г-69, ул. Воровского, 52, телефон Д 5-17-83. Рукописи не возвращаются.

А 00455. Подп. к печ. 29/IX 1967 г. Формат бумаги 84×108¹/₁₆. Объем 12,18 усл. печ. л., 17,82 учетно-изд. л. Тираж **2 000 000** экз. Изд. № 1772. Заказ № 2263.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина, Москва, А-47, ул. «Правды», 24.

Петр Капица

ЗАВТРА БУДЕТ ПОЗДНО

ПОВЕСТЬ

Линогравюры
Л. Дурасова.

Скорей домой!

Готовясь к большой работе, Владимир Ильич завел толстую тетрадь синего цвета и каждый день ходил в библиотеку. Он работал с утра до вечера: делал выписки из книг и вчерне набрасывал возникавшие мысли. Новый труд должен был обобщить все, что писалось марксистами о государстве и революции.

Свой стол в библиотеке Владимир Ильич покидал лишь на обеденный перерыв. За час он успевал поесть и поговорить с товарищами, забегавшими к не-

му на несколько минут. Потом, не отдыхая, возвращался в читальный зал и принимался писать. Углубясь в работу, он не замечал ни течения времени, ни окружающей жизни. Звонок, извещавший о закрытии библиотеки, всякий раз застигал его врасплох, на незаконченной фразе.

В начале марта Владимир Ильич по заведенному порядку появился дома в первом часу. Едва они с Надеждой Константиновной закончили обед, послышался скрип деревянной лестницы. По ней кто-то торопливо поднимался.

— Кто же это к нам? — по шагам пытался угадать Владимир Ильич.

На пороге появился польский социал-демократ Бронский. Он был возбужден и весел.

— Почему вы в такой день дома? — закричал Бронский от двери.— В России революция, а они невеселы!

— Революция? — живо спросил Ильич.— Кто вам сказал? Откуда известно?

— Собственными глазами читал! Вышли экстренные выпуски газет.

Владимир Ильич больше ни о чем не расспрашивал, схватил пальто и стал торопливо надевать его. Надежда Константиновна вместе с ним помчалась к озеру. Там под навесом на большом щите вывешивались свежие цюрихские газеты.

У экстренных выпусков уже толпились возбужденные эмигранты. Больше всего здесь было россиян.

Пройдя под навес, Владимир Ильич внимательно прочитал сообщения телеграфных агентств. Сведения были скудными и маловразумительными. В одних телеграммах сообщалось, что царские министры арестованы, а политические заключенные выпущены из тюрем на свободу, что власть будто бы перешла в руки двенадцати членов Думы. В других же говорилось, что царь Николай Второй сам отрекся от престола, а Временное правительство ведет переговоры о новом царе с представителями династии Романовых.

«Что теперь творится там, в России? — думал Ленин.— Какую позицию заняли товарищи? Очень важно, какими будут первые шаги! Если бы сейчас можно было очутиться в Петрограде! Что же предпринять?.. В первую очередь связаться с членами заграничного бюро Центрального Комитета и друзьями, живущими поблизости. Необходимо продумать план немедленных действий».

Вместе с Надеждой Константиновной Владимир Ильич отправился на телеграф. Улица, залитая повесеннему теплыми лучами солнца, казалась торжественно праздничной. От нахлынувшей радости невольно кружилась голова. Ведь сколько было пережито в тюрьмах, в ссылке, в скитаниях по чужим странам, чтобы наступил этот час! Домой, скорей домой, в Россию! Дорога́ каждая минута.

— А что, если нам раздобыть аэроплан? — вдруг как бы у самого себя спросил Владимир Ильич.— Да, да, аэроплан! — повторил он.— И перелететь через горы. Мы быстро бы очутились в России.

Надежда Константиновна с сомнением улыбнулась и сказала:

— Володя, я не узнаю тебя! Тобой всегда руководил разум. И вдруг — аэроплан!

— Да, да, конечно,— согласился Владимир Ильич.— Аэроплан, к сожалению, отпадает.

Послав несколько телеграмм и писем, они побывали в редакции «Новой Цюрихской газеты», надеясь узнать подробности о революции в России, но там их ничем не порадовали. Поступившие телеграммы были такими же куцыми, как и утренние.

Всю ночь Владимир Ильич ворочался в постели, строя различные планы переезда в Россию, и тут же отвергал их.

Утром, наскоро позавтракав, он помчался разыскивать в киосках свежие газеты, прибывшие в Цюрих. В них было больше подробностей. Уже не надо было строить догадок. Пока рабочие дрались на улицах столицы с царской полицией, власть захватили думские воротилы — либеральные помещики и капиталисты. Новое правительство возглавил князь Львов. Его подпирали Милюков, Гучков и Керенский. Знакомые имена! Эти думские деятели давно рвались к власти.

И как жульнически хитро подобраны, подлецы! Львов и Гучков — чтобы душить свободу. Милюков со своими кадетами — для украшения и сладеньких профессорских речей, а «трудовик» Керенский введен в правительство для обмана рабочих и солдат.

По тону французских газет нетрудно было догадаться, что союзников Временное правительство устраивает. Оно будет управлять страной по западному образцу, а главное, не выйдет из войны, продолжит ее с большей энергией, нежели царь.

«Как же скорей попасть в Петроград?» — беспрестанно думал Владимир Ильич. Все сейчас решалось там. Может быть, поехать по чужим документам? Для этого надо найти человека, которому не откажут в визе. Но кому можно довериться? И кто захочет рисковать? А что, если попросить Карпинского?

Карпинский заведовал в Женеве партийным архивом и библиотекой Центрального Комитета. Это был умелый конспиратор. Владимир Ильич немедля написал ему:

«Дорогой Вяч. Ал.!

Я всячески обдумываю способ поездки. Абсолютный секрет — следующее. Прошу ответить мне тотчас и, пожалуй, лучше экспрессом (авось партию не разорим на десяток лишних экспрессов), чтобы спокойнее быть, что никто не прочел письма.

Возьмите на свое имя бумаги на проезд во Францию и Англию, а я проеду **по ним** через Англию **(и Голландию)** в Россию.

Я могу одеть парик.

Фотография будет снята **с меня** уже в парике, и в Берн в консульство я явлюсь с Вашими бумагами уже в парике.

Вы тогда должны скрыться из Женевы минимум на несколько недель (до телеграммы от меня из Скандинавии): на это время Вы должны запрятаться архисурьезно в горах, где за пансион **мы за вас заплатим, разумеется.**

Если согласны, начните **немедленно подготовку** самым энергичным (и самым тайным) образом, а мне черкните тотчас во всяком случае.

Ваш Ленин.

Обдумайте все практические шаги **в связи с этим** и пишите подробно. Пишу Вам, ибо уверен, что между нами все останется в секрете **абсолютном».**

Инессе Арманд — самому верному и близкому другу семьи, он написал другое письмо, прося выяснить, велик ли риск проехать через Англию и Голландию в Скандинавию, и начать поиски подходящих русских швейцарцев, которые согласились бы отдать свои паспорта для проезда в Россию.

Третье письмо и свою фотографию он «вмонтировал» в обложку книги и послал в Стокгольм Ганецкому, который находился в Скандинавии для связи заграничного бюро ЦК с Россией. В письме Владимир Ильич объяснил, что больше ждать не-

возможно, так как все надежды на легальный проезд тщетны, а ему необходимо во что бы то ни стало выбраться из Швейцарии. Он попросил найти шведа, похожего на него, и учесть незнание языка. Лучше было бы, чтобы швед оказался глухонемым, не разговаривающим.

Кроме того, Владимир Ильич принялся писать «Письма из далека» и посылать одно за другим в «Правду». Хотелось подсказать товарищам, как следует действовать в новой обстановке.

Эмигрантский комитет обдумывал, каким образом лучше всего попасть на родину. На одном из заседаний меньшевик Мартов предложил обратиться к Временному правительству с просьбой, чтобы оно добилось пропуска эмигрантов через Германию в обмен на военнопленных. Это предложение сперва было отвергнуто, но вскоре нашлись отчаянные головы, и телеграммы с такой просьбой были отправлены в Россию Милюкову и Керенскому.

Владимир Ильич не бывал на собраниях эмигрантов, но он знал, что́ на них обсуждалось. Смелое и неожиданное для меньшевиков предложение пришлось Ленину по душе.

— Немцы будут архидураками, если не пропустят в Россию тех, кто выступает против войны,— сказал он.— Я уверен, они охотно пойдут на это.

Чтобы ускорить переговоры, члены эмигрантского комитета решили сами обратиться к германскому послу в Берне. В посредники они выбрали одного из лидеров швейцарских социал-демократов — «центриста» Роберта Гримма. Тот охотно согласился вести переговоры, но вел их так, что дело затягивалось на неопределенный срок.

Дипломатия Гримма возмутила Владимира Ильича. Собрав в Народном доме левых интернационалистов, он рассказал им о поведении Гримма.

Интернационалисты согласились, что Гримм — явный саботажник. Лучше бы поручить переговоры Фрицу Платтену, тот не подведет.

Владимир Ильич был такого же мнения о Платтене. Этот рабочий-металлист, ставший профессиональным революционером, был смел, предан рабочему классу и умел отстаивать взгляды левых циммервальдцев.

Швейцарцу потребовалось немалое мужество, чтобы согласиться вместо Гримма вести переговоры с германским послом. Помощь большевикам могла отразиться на всей его дальнейшей деятельности. Но он все же пошел на это.

В тот же день вместе с Лениным они выехали из Цюриха в Берн и уже в шесть часов вечера встретились с Робертом Гриммом. Владимир Ильич как можно мягче сообщил, что большевики, зная большую занятость Гримма, решили больше не утруждать его переговорами и перепоручить их более молодому — Фрицу Платтену.

Уязвленный Гримм переменился в лице.

— Я поражаюсь, как Фриц мог согласиться. Он же официальное лицо! — возмущенно заговорил он.— Его легкомыслие поставит нашу партию в неловкое положение...

— Почему же в неловкое? Мы все же социал-демократы,— возразил Владимир Ильич.—Я бы вас очень просил не счесть за труд... позвоните, пожалуйста, германскому посланнику и сообщите, что вы передаете свои полномочия другому лицу.

— Я этого не сделаю,— твердо заявил Гримм.

Он был взбешен. Смерив Ленина и Платтена уничтожающим взглядом, лидер «центристов» не вышел из комнаты, а вылетел, хлопнув дверью.

— Вот видите, что́ наделало мое согласие,— печально улыбнувшись, отметил Фриц Платтен; швейцарец был явно расстроен.

Владимир Ильич дружески дотронулся до его плеча и сказал:

— Не печальтесь, когда-нибудь вам все равно пришлось бы пойти с ним на разрыв, так лучше это сделать раньше. Уверяю, вы ничего не потеряете, наоборот, выиграете в глазах товарищей. С обманщиками и предателями мы должны быть решительными. Давайте попробуем без него связаться с Ромбергом.

Платтен разыскал телефон и позвонил германскому посланнику. Тот, узнав, от чьего имени с ним будут разговаривать, пригласил прийти в посольство на следующий день.

Первое свидание с Ромбергом прошло успешно. Когда Платтен спросил, согласно ли германское правительство пропустить на родину русских эмигрантов, посланник ответил:

— Согласно. Существует предварительная договоренность. Не утверждены лишь условия. Ваша сторона до сих пор их не представила, она затягивает решение вопроса.

Владимир Ильич понимал, на какой серьезный шаг он идет, поэтому поставил в условиях два непременных пункта:

«Едут все эмигранты, без различия взглядов на войну».

«Вагон, в котором следуют эмигранты, пользуется правом экстерриториальности, никто не имеет права входить в вагон без разрешения Платтена. Никакого контроля, ни паспортов, ни багажа».

В третьем пункте говорилось: «Едущие обязываются агитировать в России за обмен пропущенных эмигрантов на соответствующее число австро-германских интернированных».

Внимательно прочитав условия, германский посланник выразил недовольство.

— Позвольте,— сказал он,— кажется, не я прошу разрешения на проезд, а господин Ульянов. Пункты таковы, что нужно опасаться провала всей затеи. Советую свести требования к минимуму, а обязательства сделать более определенными.

— Я не уполномочен соглашаться на какие бы то ни было смягчения,— ответил Платтен.

— Хорошо, мы свяжемся с Берлином, но, боюсь, не получим желаемого ответа.

Неожиданно Берлин без всяких оговорок принял все условия. Такая поспешность насторожила Ленина. Хорошо, что он привлек к переговорам интернационалистов многих стран. Это несколько свяжет руки тем, кто попытается опорочить едущих.

Когда стало известно, что разрешен проезд через Германию, вдруг из пятисот эмигрантов, рвавшихся на родину, не оказалось и десяти, желающих ехать в ближайшие дни. Многих напугала заметка, напечатанная во французской газете. В ней говорилось, что если русские проедут через Германию, то будут в России арестованы и преданы суду.

Владимир Ильич разослал письма и телеграммы самым верным товарищам. Первым делом он обратился к Инессе Арманд. У этой пламенной революционерки и обаятельной женщины, переводившей всю большевистскую литературу на французский и английский языки, в России остались дети. К ним она рвалась всю войну.

Двадцатишестилетний Гриша Усиевич, который был осужден на вечное поселение в Сибири и дважды бежал из тюрем, ждал лишь сигнала. Он и его юная жена готовы были «хоть через ад» поехать с Ильичем в Россию.

Согласен был отправиться в путь член Заграничного бюро Центрального Комитета и соредактор «Социал-демократа» Григорий Зиновьев. Он брал с собой семью: жену Злату и сына Степу.

Владимир Ильич вспомнил о грузине Михе Цхакая, председательствовавшем на третьем съезде партии. Старик писал, что готов любым способом отправиться на родину. Чемодан уже уложен. Как не пошлешь такому человеку приглашение?

На зов откликнулись девятнадцать большевиков и несколько человек из других партий.

Смельчаки, решившиеся на рискованный переезд, съезжались в Берн из разных городов Швейцарии: Цюриха, Кларана, Лозанны — и размещались в гостинице Народного дома.

Каждый взрослый участник поездки, чтобы потом не было недоразумений, подписывал обязательство:

«Я подтверждаю:

1. Что мне были сообщены условия соглашения Платтена с германским посольством.

2. Что я буду подчиняться распоряжениям руководителя поездки Платтена.

3. Что мне сообщена напечатанная в «Petit Parisien» заметка, в которой говорится, что русское Временное правительство угрожает предать эмигрантов, возвращающихся через Германию, суду за государственную измену.

4. Что всю политическую ответственность за свою поездку я беру целиком на себя.

5. Что Платтен гарантировал мне поездку только до Стокгольма.

Берн — Цюрих, 9 апреля 1917 г.».

Владимир Ильич написал от имени Заграничного бюро ЦК прощальное письмо швейцарским рабочим, в котором объяснил, почему большевики решились на такую поездку.

Прощальные заседания и суета в гостинице продолжались до поздней ночи.

Миху Цхакая ленинская телеграмма застала врасплох: чемодан был в другом конце города, а поезд в Берн отходил через несколько минут. «Шут с ним, с чемоданом»,— решил грузин и выехал с товарищами налегке.

На вокзале в Берне в назначенный час он увидел Надежду Константиновну; Миха бросился к ней, чтобы узнать, где назначено место сбора.

— Вы из Женевы? — спросила Крупская.— Сколько человек?

— Со мной шесть.

— Владимир Ильич сегодня получил телеграмму еще от пяти женевцев. Они, наконец, решили ехать с нами и просят подождать два дня.

Выходит, зря торопился... даже чемодана не захватил.

— Вы правильно сделали,— сказала Надежда Константиновна.— Владимир Ильич говорит, что сейчас многие облагоразумятся и захотят поехать с нами, но ждать уже невозможно, вагон получен.

— Значит, мы никого не ждем?

— Конечно, нет. Сегодня же уезжаем.

Вскоре появился и Владимир Ильич. Крепко пожав руку Михе Цхакая и его молодому другу Давиду Сулиашвили, он стал допытываться, что́ же случилось с другими товарищами, жившими в Женеве. Миха отвечал однообразно:

— Не посмели, Владимир Ильич, не посмели!

— Ну и пусть остаются, сами виноваты. Садитесь в вагон, поехали.

В Цюрихе пришлось ждать, когда специальный вагон прицепят к поезду, идущему к швейцарско-германской границе.

Посмотреть на отъезжающих пришло немало эмигрантов. Здесь были и друзья, и любопытные, и злопыхатели. Одни из них стучали палками по стенке вагона и злобно кричали:

— Изменники! Как вам не стыдно! Какой дорогой едете? Из-за вас теперь через Англию не пропустят!

Другие подходили к окнам и запугивали:

— В России вас растерзают... до тюрьмы не доведут, на вокзале самосуд устроят!

Более солидные господа стояли в стороне. Они как бы с высоты своего благоразумия взирали на суету отъезжающих. Их котелки, благообразные бороды, сверкающие пенсне и темные костюмы с белоснежными манишками выражали не укор, а скорее печаль и презрение.

В три часа десять минут под выкрики и свист провожающих поезд медленно отошел от перрона и покатил к Германии.

Вагон, в котором ехали эмигранты, относился к категории «микст», то есть был смешанным, состоящим из купе второго и третьего классов. Он, видимо, давно не ремонтировался, скрипел и раскачивался, обивка полумягких сидений в купе второго класса была засаленной, во многих местах потерлась. В щелях водились клопы. Но делать было нечего, приходилось со всем этим мириться. Хорошо, что хоть такой «микст» дали.

На пограничной станции Тайнген швейцарские власти произвели таможенный досмотр. Агенты перетрясли все вещи, проверяя, не вывозят ли русские часы и золото. Ни того, ни другого они, конечно, не обнаружили, тогда решили изъять часть съестных припасов. Таможенникам показалось, что русские захватили в дорогу слишком много продуктов.

Спорить не стали, отдали часть хлеба и колбасы, чтобы скорее отвязаться от швейцарских властей. Но на этом мытарства не кончились. Когда поезд пересек границу и остановился на первой немецкой станции Готтмадинген, всех пассажиров заставили покинуть вагон и пройти в станционный зал третьего класса. Здесь произошла официальная передача русских под наблюдение двух офицеров германского генерального штаба.

Никаких документов у эмигрантов не спрашивали. Просто Фриц Платтен на небольших листках написал тридцать два номера. Русские, держа листки в руках, проходили мимо офицеров в свой «микст» и занимали старые места.

Из четырех дверей «микста» осталась только одна дверь для выхода, три остальные были наглухо закрыты. Офицеры расположились в крайнем купе. В коридоре мелом была начерчена граница, которую с одной стороны не могли переступить русские, а с другой — немцы. Фриц Платтен имел право выходить из вагона и связываться с внешним миром.

В Готтмадингене вагон под охраной немецких ополченцев простоял всю ночь. Здесь выяснилось, что на всех спальных мест не хватит, что взрослым придется спать по очереди.

Утром «микст» был прицеплен к берлинскому поезду и покатил по территории Германии.

Владимир Ильич ждал всяких каверз как от Временного правительства, так и от немцев и даже от шведов. Ведь нетрудно к чему-нибудь придраться и посадить в тюрьму эмигрантов, решившихся на такой проезд.

Ленину было оставлено купе второго класса, в котором он мог работать и совещаться с товарищами без помех. Владимиру Ильичу хотелось в пути поделиться мыслями, возникшими в последнее время, и определить дальнейшую тактику большевиков.

— Революция не закончена, об этом надо говорить твердо, без всяких колебаний,— советовал Владимир Ильич товарищам, собравшимся у него в купе.— Временное правительство нам не следует поддерживать. Кроме обещаний, ничего оно не даст и будет вести войну. Львовых, Гучковых и Керенских, может, не сразу, но придется убрать. Свергнув власть буржуазии, пролетариат установит свою диктатуру. Высшей формой политической организации общества станут Советы. Через них будет осуществляться диктатура пролетариата. Без диктатуры я не представляю себе социалистического государства...

Его мысли, конечно, вызывали споры. Они длились часами. Владимир Ильич терпеливо выслушивал товарищей.

Поезд уходил все дальше и дальше на север. Солнце уже светило не по-швейцарски, оно стало тусклым и вскоре совсем пропало. Над Германией нависло холодное и серое небо.

В окне виднелись остроконечные кирхи, черепичные крыши селений. На полях и раскисших пашнях трудились женщины и подростки. Взрослые мужчины были редкостью. Трехлетняя война истощила Германию.

Немецкие газеты ничего не писали о проезде русских, но население каким-то образом узнавало о прибытии вагона. Плохо одетые, исхудавшие немки с любопытством толпились на перронах. Некоторые из них за спинами шуцманов показывали картинки из журналов, на которых был изображен царь Николай Второй, летящий с трона вверх тормашками.

В Штутгарте Платтена вызвал на перрон руководитель Генеральной комиссии германских профсоюзов Янсон, ярый социал-шовинист, и попросил устроить ему личную встречу с Лениным.

— Это невозможно,— убеждал его Платтен.

Но Янсон настаивал. Фриц вернулся в вагон и сказал Владимиру Ильичу, сидевшему с товарищами в купе, о желании немца приветствовать его от имени профсоюзов. Это вызвало взрыв смеха, потому что Ленин доброго слова не написал о руководителях немецких профсоюзов, наоборот, высмеивал их.

— Относительно свидания,— сказал Владимир Иль-

ич Платтену,— передайте господину Янсону, что с изменниками я не разговариваю, а если он нарушит экстерриториальность вагона, то будет оскорблен действием.

— Забросаем чайниками,— уточнил Гриша Усиевич.

Платтену ничего не оставалось, как выйти и передать ответ, но, конечно, в более мягких тонах.

В купе Ленина часто собиралась молодежь. Начинались дискуссии и споры на разные темы, особенно о будущем. Платтен прислушивался к ним. Однажды Владимир Ильич у него спросил:

— Какого вы, Фриц, мнения о роли большевиков в русской революции?

— По секрету должен сознаться: вполне разделяю ваши взгляды на методы и цели революции,— ответил Платтен.— Но как борцы вы представляетесь мне чем-то вроде гладиаторов Древнего Рима, которые бесстрашно, с гордо поднятой головой выходили навстречу смерти. Я преклоняюсь перед силой вашей веры в победу.

Этот восторженный отзыв вызвал у Владимира Ильича теплое чувство к Платтену.

— Значит, дружба? — спросил он.

— Навсегда! — горячо ответил тот.

Иногда Ильич подолгу не выходил из своего купе, тогда озорной Гриша Усиевич подходил к Платтену и спрашивал, нет ли у него желания спеть по-русски.

— С удовольствием, потому что по-русски я пою лучше, чем говорю.

— Ну и превосходно.

Гриша Усиевич подзывал еще нескольких певцов, и все они, скопившись около купе Ленина, начинали петь:

Эх, тучки, тучки понависли,
На море пал туман,
Скажи, о чем задумался,
Скажи, наш атаман...

Они знали: Ильич любит хоровое пение, он не усидит в купе и обязательно выйдет в коридор.

Он действительно появился и подхватил припев.

Одной песней дело, конечно, не ограничилось. Владимир Ильич запел «Нелюдимо наше море». Особую удаль и задор он вкладывал в призывные слова:

Смело, братья, бурей полный
Прям и крепок парус мой!

Наконец, поезд подошел к последнему немецкому городу Засниц. Здесь у порта пассажиров пересчитали. И поезд с пристани въехал в трюм огромного шведского парома.

На пароме пассажиры «микста» обрели право покинуть свои места и поселиться в каютах. На шведском судне немецкие власти уже не могли распоряжаться. Все же русским были розданы анкеты с вопросами, очень похожими на вопросы при аресте.

«Не собираются ли они нас задержать? — встревожился Ильич. — От немцев всего можно ожидать. Сами пропустили, а шведскую полицию подговорили арестовать».

В одной из кают спешно был собран совет. Владимир Ильич предупредил о возможности всяческих каверз со стороны полиции и печати, потребовал, чтобы никто из едущих ни под каким видом ни на какие вопросы не отвечал.

— За всех позвольте разговаривать мне, — предложил он.

— Ну, конечно, какие могут быть возражения! — послышалось с разных сторон.

Паром, вышедший в открытое море, начало раскачивать. Лица у некоторых пассажиров покрылись болезненной желтизной. Многих одолевала морская болезнь.

— Выходите наверх,— предложил Ленин.— На свежем воздухе будет легче.

Он тоже поднялся на верхнюю палубу и стал смотреть на неспокойное, покрытое пенистыми гребнями море.

Через несколько часов паром отдал швартовы на пристани Троллеборга.

Ганецкий, прибывший из Стокгольма, встретил товарищей со слезами на глазах. Он переволновался за них. По его расчетам, ленинская группа должна была прибыть на два дня раньше.

Из Троллеборга местный поезд перебросил русских в Мальме. С этой станции шли прямые поезда в Стокгольм.

В ресторане, находившемся невдалеке от станции, пассажиров ждал обед. Ганецкий успел его заказать по телефону из порта.

Приведя себя в порядок, проголодавшиеся путешественники впервые за четыре дня поели горячего супа.

После обеда сразу же пошли занимать места в вагоне, заказанном Ганецким. Владимир Ильич не хотел терять ни одной минуты; в тот же день они выехали в Стокгольм.

Закрывшись в своем купе, Ленин сказал Ганецкому, что в Скандинавии необходимо создать новое заграничное бюро Центрального Комитета.

— Я буду добиваться, чтобы в него вошли вы и Воровский,— говорил он.— В Россию не спешите, здесь вы нужней. Будете осуществлять связь со всем миром. Кроме того, нам сейчас придется оставить в Швеции важнейшие документы. Вы их перешлете в Россию позже с надежным человеком. Особенно берегите мою синюю тетрадь с выписками.

Они еще долго разговаривали о делах в России. Владимир Ильич вздремнул лишь в четвертом часу ночи. Но выспаться ему не удалось: в вагон ворвалась ватага репортеров, выехавших из Стокгольма. Стремясь опередить коллег, ожидавших русских в столице Швеции, они принялись стучать в окна, в двери купе. На выходивших в коридор заспанных пассажиров набрасывались по два-три человека. Журналистам не терпелось скорей взять интервью у смельчаков, проехавших во время войны через враждующую страну. Это же сенсация, материал для первых полос!

Но русские эмигранты, вспомнив строгий наказ Ильича, вели себя, как глухонемые, и делали вид, что ничего не понимают. Они даже не говорили ни «да», ни «нет», на каком бы языке к ним ни обращались, а только смущенно пожимали плечами. Лишь некоторые жестами показывали на предпоследнее купе: обратитесь, мол, туда.

Нетерпеливые репортеры кинулись к купе, в котором находился Ленин. Они принялись стучать в запертую дверь и на разных языках взывать к руководителю группы выйти к ним хоть на минуту. Но Владимир Ильич наотрез отказался принимать эту шумную братию в вагоне. К репортерам вышел Ганецкий и попросил всех покинуть вагон.

В Стокгольм поезд пришел утром. На перроне русских радушно встретил мэр города со своими товарищами — левыми социал-демократами: они проводили русских до гостиницы.

Гостиница «Регина» оказалась комфортабельной. В уютных и теплых номерах приятно было отдохнуть с дороги хоть несколько дней. Кстати, об этом просили и шведы, рассчитывавшие подискутировать с Владимиром Ильичем, но тот оставался непреклонным.

— Мы здесь пробудем только до вечера. Нам задерживаться нельзя, — сказал он. — Дорога́ каждая минута.

Шведы пригласили русских на торжественный прием, устраиваемый в честь их приезда.

Многие эмигранты за годы скитаний на чужбине так обносились, что имели весьма непрезентабельный вид. И у Владимира Ильича костюм, выгоревший на швейцарском солнце, обрел рыжеватый оттенок. Сукно лоснилось на протертых локтях и вздувалось на коленях. В таком виде не только нельзя было явиться на банкет, но и показываться в России.

К счастью, в Стокгольме оказалось отделение русского общества вспомоществования революционерам имени Веры Фигнер, которое прежде помогало товарищам, прибывавшим из ссылок. Оно-то и помогло всем эмигрантам приобрести в магазинах необходимую одежду.

Вымывшись с дороги и надев новые костюмы, русские во главе с Лениным явились в большой зал гостиницы. Здесь их вновь встретил мэр города. Зал был празднично украшен. У задней стены висело большое красное знамя.

Первым делом было составлено и подписано «коммюнике», в котором подробно объяснялось, почему, на каких условиях и как русские революционеры проехали через Германию. И только после этого начались торжественные тосты.

Пиршество длилось недолго: поезд в Финляндию уходил в семь часов вечера, а Владимиру Ильичу еще нужно было переговорить с товарищами, оставшимися в Стокгольме. Все пришлось делать впопыхах, на ходу.

На вокзале провожающих собралось много. Некоторые пришли с цветами. Шведы оказались на удивление приветливыми хозяевами, жаль было с ними расставаться. Но что поделаешь? Революция звала вперед.

На рассвете поезд привез русских эмигрантов в небольшой рыбацкий городок Хапаранда. Здесь еще была зима. Холод пощипывал щеки.

Перенеся свои чемоданы и узлы к дому для приезжих, путешественники с волнением стали всматриваться через залив в противоположный берег. Там в полумгле был виден финский городок Торнео, там начиналась территория Российской империи.

Когда чуть посветлело, над зданием вокзала многие приметили флаг, не трехцветный николаевский, а красный! От одного вида этого стяга революции перехватывало дыхание, к горлу подступал комок. Сколько пролито крови, перенесено лишений и страданий, чтобы этот флаг так свободно реял над землей!

Там свои, там русские солдаты. Вот они бродят в серых папахах и серых шинелях. Скорей бы увидеться с ними!

— А нужно ли спешить? — останавливал голос благоразумия.— Свои-то свои, а по приказу подойдут с винтовками, арестуют и в тюрьму отведут.

В доме для приезжих за небольшую плату можно было согреться чашкой кофе и получить бутерброд с яйцом и соленой рыбой. Но завтракать никому не хотелось. Эмигранты стали допытываться у рыжебородого буфетчика, каким путем отсюда добираются до Торнео.

— В такую пору лучше всего по льду. Самый близкий путь,— сказал тот.— В Хапаранде извозчики водятся. Сколько вам надо саней?

— На тридцать с лишним человек.

— Найдем,— заверил буфетчик.— В такую пору лишний заработок и рыбаку не помешает. Пейте не спеша кофе, а я сейчас потревожу лежебок.

Пропадал он более часа. Затем к крыльцу стали подъезжать санки с впряженными в них лохматыми крестьянскими лошаденками.

В сани помещались два-три человека с багажом. За посадкой следил сам Владимир Ильич, заботясь, чтобы женщины и дети были хорошо укутаны.

Вскоре на заснеженном льду выстроилась длинная вереница саней. Гриша Усиевич заметил:

— Не хватает красного флага.

Тут же он взял у жены алый платок и, прикрепив двумя концами к альпинистской палке, захваченной из Швейцарии, передал древко Владимиру Ильичу, объезжавшему по обочине всю колонну.

Выкатив вперед, Ильич поднял самодельный флаг. И за ним двинулись по заливу полтора десятка саней.

Встреча

По случаю праздника святого воскресения в вокзальном буфете Торнео продавались раскрашенные яйца, куски кулича и творожная пасха. Солдаты-пограничники толпились у буфета и на перроне. Кто-то из них, приметив на льду залива вереницу мчавшихся саней, крикнул:

— Братцы, никак к нам гости катят! А ну, кто горазд христосоваться, выходи, встречай!

Когда передние санки подкатили к вокзалу, на перроне уже собралась порядочная толпа любопытных. Солдаты сперва молча разглядывали приезжих, а услышав, что они говорят по-русски, оживились, гостеприимно стали приветствовать:

— Добро пожаловать!

Эмигранты в радости готовы были перецеловать всех солдат. А те, не понимая их восторженности, недоуменно спрашивали:

— Откуда такие? По разговору будто бы русские, а по одежде не признаешь — вроде бы не свои.

— Из Швейцарии мы. При царе домой вернуться не могли, а теперь вот пробились. Ну, как тут у вас жизнь? Что в Питере?

Эмигранты хотели скорей узнать последние новости. Но что могли сказать им малограмотные солдаты? Они сами ничего путного не знали, да и в революции слабо разбирались.

Владимир Ильич, не надеясь на осведомленность солдат, раздобыл пачку нераспроданных столичных газет. Отойдя в сторонку, он с особым интересом принялся читать большевистскую «Правду». Его внимание привлекли статьи Каменева. В большевистской газете черным по белому говорилось:

«Когда армия стоит против армии, самой нелепой политикой была бы та, которая предложила бы одной из них сложить оружие и разойтись по домам. Эта политика была бы не политикой мира, а политикой рабства, политикой, которую с негодованием отверг бы свободный народ. Нет, он будет стойко стоять на своем посту, на пулю отвечать пулей, на снаряд снарядом. Это непреложно».

«Неужели «Правда» не получила моих «Писем из далека»? — недоумевал Ленин.— Это же не позиция большевиков! А может, мои статьи не по вкусу таким «незыблемым» борцам, как Каменев?»

На границе ждали и другие неприятности. В Торнео хозяйствовали представители Антанты — английские жандармы. Видя, как принимают русские солдаты неожиданно появившихся противников войны, они, не скрывая злобы, устроили унизительный обыск, заставляя мужчин раздеваться догола и так проходить таможенный досмотр.

Миха Цхакая и еще несколько горячих голов решили скандалить.

— Не будем раздеваться перед жандармами. Беззаконие!

Владимир Ильич рассердился на них.

— Вы что, готовы клюнуть на примитивную удочку?— спросил он.— Они же провоцируют! Советую выполнять все формальные требования. Этим нас не унизят.

Английские жандармы, надеявшиеся найти что-либо компрометирующее эмигрантов, были разочарованы. Ничего запретного они не обнаружили ни в чемоданах, ни в одежде. Они только смогли задержать Фрица Платтена и Карла Радека, как подданных других стран.

Расставаясь с Платтеном, Владимир Ильич сказал:

— Большое спасибо за все. Прошу не огорчаться.

На прощание они крепко пожали друг другу руки и обнялись.

Перейдя на другую сторону перрона к русскому вагону третьего класса, Владимир Ильич помог Цхакая взобраться по ступенькам на площадку и сказал:

— На чужбине, товарищ Миха, наши испытания кончились. Мы теперь на своей земле.

Поздно вечером поезд вкатил под длинный навес Финляндского вокзала в Петрограде. Весь перрон был заполнен встречающими. Посреди двумя шеренгами стояли рабочие с винтовками, солдаты и матросы в черных бушлатах.

— Неужели почетный караул?— удивился Гриша Усиевич.— Владимир Ильич, выходите первым.

Застегнув пальто на все пуговицы, Ленин вышел на площадку. Стоило ему показаться, как оркестр заиграл «встречу», а матросы взяли винтовки «на караул».

Прямо из вагона Владимир Ильич попал в объятия родных и друзей. Вместе с ними он направился вдоль почетного караула.

Звонко выкрикнув «смирно», путь ему преградил молодой флотский офицер. Владимир Ильич невольно поднял руку под козырек.

Доложив, что в почетном карауле выстроены матросы Второго Балтийского флотского экипажа и назвав свою фамилию, начальник караула вдруг закатил приветственную речь. Чего только не нагородил этот не искушенный в политике человек!

После мощного троекратного «ура» Владимира Ильича и его спутников провели в бывшую «царскую комнату», где их ждали официальные представители Петроградского Совета.

Здесь Владимира Ильича встретил сам председатель исполкома — седобородый меньшевик Чхеидзе. По-грузински красноречиво он поздравил с приездом и тут же с видом заслуженного ветерана революции выразил надежду, что Ленин учтет обстановку и... ради сплочения революционных сил будет благоразумен...

Владимир Ильич, насмешливо сузив глаза, несколько минут слушал менторские поучения, затем, воспользовавшись моментом, когда Чхеидзе, задохнувшись, сделал паузу, шагнул к группе рабочих, стоявших тут же, и сказал:

— Дорогие товарищи, я счастлив приветствовать в вашем лице передовой отряд всемирной и пролетарской армии...

Он говорил недолго и сразу же направился мимо растерявшихся меньшевиков к выходу.

Привокзальная площадь и прилегающие улицы были заполнены народом. В колеблющемся свете факелов и прожекторов виднелись красные знамена и приветственные плакаты. Оркестр играл «Интернационал». И опять со всех сторон послышались крики «ура». Десятки рук подхватили Ильича и помогли ему подняться на броневик.

Стоя на скользкой броне автомобиля, Владимир Ильич поднял руку, прося тишины. Но разве утихомиришь такую уйму народа?

Прожектора, полоснув снопами света небо, осветили Ленина с ног до головы. С броневика Ильич говорил недолго и закончил речь словами:

— Да здравствует социалистическая революция!

Матросы помогли Ленину спуститься на землю и усадили в броневик рядом с шофером.

Машина малой скоростью двинулась по узкому проходу, образованному цепями солдат и матросов.

Багрово-красные языки чадящих факелов, трепещущий и тревожный свет прожекторов, скользивших то в высоте по облакам, то по стеклам каменных домов, то по движущимся толпам народа, волновали своей грандиозностью и какой-то необычайной торжественностью.

— Смотрите, товарищ Ленин, как вас уважают... сколько народу пришло!— сказал потрясенный солдат-шофер.

— Я сам поражен,— признался Владимир Ильич смущенно.

По пути то и дело приходилось притормаживать ход, чтобы не задавить кого-нибудь. Порой броневик попадал в такой густой людской поток, что приходилось останавливаться. Тогда Владимир Ильич выступал с броневика, как с подвижной трибуны, стоя на подножке и держась за открытую дверцу.

Машина с трудом пробиралась среди демонстрантов. Короткий путь с Выборгской стороны на Петроградскую занял больше часа.

В ярко освещенном мраморном особняке балерины Кшесинской, захваченном после Февральской революции большевиками, в честь прибывших устроили... не банкет, нет, а самое обыкновенное чаепитие.

В большом зале на столах стояли самовары, фаянсовые чайники с заваркой, подносы со стаканами и блюдечками. В вазочках виднелось монпансье и мелко наколотый сахар.

Горячий чай был очень кстати. Владимир Ильич, почти потерявший голос на уличных выступлениях с броневика, озябшими руками взял наполненный стакан и, согревая пальцы, с наслаждением отпивал крепкий чай маленькими глотками.

Питерцы собирались устроить чествование Ленину, но он, не любивший пышных речей и приветствий,

сумел быстро перевести разговор на то, что больше всего его интересовало. Он заговорил о тактике, которой нужно придерживаться большевикам.

Все притихли, ловя каждое его слово. Это была продуманная, научно обоснованная программа действий коммунистов, отвергающая многое из того, что еще вчера считалось политикой партии. Неужели окончилось время шатаний и разноголосицы? Да, да, надо делать выбор: либо соглашаться с Лениным и действовать по-новому, либо отвергать предлагаемое и откатываться к меньшевикам.

На многих выступление Ильича произвело ошеломляющее впечатление, и в то же время у них осталось ощущение, что высказаны их собственные, самые смелые чаяния, ради которых следовало бороться.

Когда участники собрания под утро вышли из душного помещения в парк, то холодный воздух показался необыкновенно чистым и бодрящим. Многие решили идти домой пешком.

У цирка «Модерн» Усиевичи увидели на стене и щите одинаковые плакаты. Крупными буквами было написано: «Ленина и компанию — обратно в Германию».

— И вот так нас встречают враги,— сказал Гриша, показывая на плакат.— Завидная быстрота! Несмотря на святую пасху, успели, гадины, отпечатать и расклеить!

Первый день

Из особняка Кшесинской вместе с мужем сестры Анны — Марком Тимофеевичем Елизаровым — Владимир Ильич поехал на Широкую улицу. Там ему и Надежде Константиновне была приготовлена отдельная комната.

Спать легли сразу. Но сон был непродолжительным, каких-то три-четыре часа. Все же Владимир Ильич чувствовал себя отдохнувшим и бодрым.

Еще лежа в постели, он подумал, что начинающийся день будет нелегким. Многое нужно сделать сегодня в Петрограде. Но куда же сначала? Первым долгом, конечно, на могилу матери, и лишь после — все остальное. Пешком — уйдет уйма времени. Надо позвонить Бончам, они обещали легковой автомобиль.

Одевшись, Владимир Ильич позвонил по телефону Владимиру Дмитриевичу Бонч-Бруевичу. Тот, оказывается, уже сам собрался выехать к Ленину.

— Поспешите с завтраком,— попросил он.— К двенадцати нас ждут в Таврическом дворце. Времени в обрез.

Не успели обитатели елизаровской квартиры позавтракать, как к ним заглянул старший дворник. Потребовав паспорта, он уселся за стол и, раскрыв домовую книгу, стал записывать имена новых жильцов. Дойдя до графы «Род занятий», дворник поинтересовался:

— На какие доходы будете жить?

— А действительно, на какие?— обратился Владимир Ильич к жене.

— Думаю... на литературные гонорары,— ответила Надежда Константиновна.

— А чего такое «гонорары»?— не понял дворник.

— А как у вас обычно пишут?— стал любопытствовать Владимир Ильич.

— Ну, как? Обнакновенно... с доходов по торговой части альбо по чиновной, а то и просто — с капиталу.

— О! Последнее, кажется, больше всего нам подходит!— воскликнул Владимир Ильич.

Надежда Константиновна заметила, как в его глазах сверкнули озорные огоньки.

— «Занимается капиталом» — лучше не скажешь. Так и запишите,— предложил он дворнику.

Тот своим корявым почерком не спеша вывел на странице домовой книги только одно слово «капиталом», затем рядом вписал, откуда прибыли новые жильцы, и, получив с них рубль, ушел. Прописка была закончена.

Вскоре на тарахтящем автомобиле к дому подкатил Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич. Он был давним другом семьи Ульяновых. Он знал, где похоронена Мария Александровна, и взялся проводить Владимира Ильича и Надежду Константиновну к могиле.

По пути он им рассказал, как восьмидесятилетняя Мария Александровна во время войны тревожилась за своих детей.

В последний раз она позвонила ему по телефону и с горестью сказала: «Пропала Маня, не знаю, как ее разыскать». А Владимир Дмитриевич только что получил от жены из фронтового госпиталя письмо, в котором та сообщала, что видела Марию Ильиничну и разговаривала с ней. «Это вы, наверное, чтобы успокоить меня,— не поверила старушка.— От Мани давно нет вестей». Пришлось поехать к ней, показать письмо и почтовые штемпеля. Только после этого Мария Александровна успокоилась и призналась: «Мне во сне померещилось, что с ней беда. Простите старую».

— Умерла она на руках Анны. Прощаться пришло немного народу. Гроб с ее телом был таким легким, что мы вместе с Марком Тимофеевичем вдвоем подняли его и без всякого напряжения донесли до могилы,— сказал Бонч-Бруевич.

На Волковом кладбище еще лежал снег. По узкой тропинке Владимир Дмитриевич провел Ленина и Надежду Константиновну к двум белым холмикам. Здесь в промерзшей земле лежали мать и сестра Ольга, умершая более двадцати пяти лет назад.

Ольга в детстве стала наиболее близка Владимиру Ильичу. Разница в годах была небольшая, поэтому они имели общую компанию ровесников, вместе готовили уроки, делились своими секретами и никогда не подводили друг друга.

Ленин обнажил голову и, как-то сгорбившись, застыл у дорогих ему могил.

На кладбище шум большого города почти не доносился, слышалось лишь громкое чириканье воробьев, возбужденных весенней капелью и теплым ветром.

Таким сутулым и скорбным Надежда Константиновна еще не видела мужа. Стоя позади него, она вспоминала, с какой нежностью он любил свою мать. Только в письмах к ней Владимир Ильич позволял себе уменьшительные слова: «Милая мамочка», «Целую тебя крепко, моя дорогая». Другим он никогда так не писал, только ей, матери!

По-иному к Марии Александровне и нельзя было относиться. Сколько горя она вынесла за долгую жизнь!

Мария Александровна рано потеряла мужа. Ей одной пришлось растить шестерых детей. Едва оправилась после похорон, как обрушилась новая беда: в Петербурге был арестован старший сын, Александр, готовивший покушение на царя. Она поехала выручать его, но... добилась лишь свидания в

тюрьме. Александра казнили. Третий удар — смерть от тифа дочери Ольги. Она была одаренной девочкой. Могла бы многого добиться и в науке и в музыке, но не доучилась — умерла студенткой. Теперь Мария Александровна лежит рядом с нею.

Удар за ударом обрушивались на ее поседевшую голову: то арест Ани, то Володи, то Маняши или Дмитрия. Она понимала своих детей, сильно страдала, но никогда не останавливала их. В самые трудные дни Мария Александровна старалась быть ближе к тому из детей, кому в данный момент было труднее, чем другим. И боролась, пока были силы.

И вот ее нет в живых. Владимир Ильич не смог ни проститься, ни проводить ее в последний путь.

Надежда Константиновна вспомнила свою мать, такую же самоотверженную, готовую на подвиг. Без колебания мать поехала с нею в ссылку в гиблые места — в далекое село Шушенское. Какой это был трудный и мучительный путь! Много сотен верст они ехали на перекладных к Владимиру Ильичу.

Мать всюду скиталась с ними, безропотно переживала нужду и невзгоды, освобождая их от всяких хозяйственных хлопот. А год назад она так же неожиданно угасла на чужой, швейцарской земле.

«Бедные наши матери!»— думала Надежда Константиновна, и слезы текли по ее щекам. Она умела свое горе переживать молча.

Владимир Ильич постоял еще некоторое время, затем, не говоря ни слова, натянул на голову кепку и, повернувшись, зашагал по тропинке к выходу. Надежда Константиновна и Владимир Дмитриевич поспешили за ним.

Воробьи, поднявшие неистовый щебет, прыгали почти у ног на подтаявшей дорожке. Солнце уже светило по-весеннему.

В Таврический дворец, где еще недавно заседала Дума, съезжались делегаты на Всероссийскую конференцию Советов.

Для фракции большевиков в Таврическом дворце было отведено с думских времен самое неудобное помещение — буфет на хорах. Сюда в это утро поднимались приезжие и питерские большевики.

Владимир Ильич приехал с запозданием. Поздоровавшись со всеми, он вытащил из кармана несколько листков и стал зачитывать и разъяснять пункт за пунктом свои Апрельские тезисы.

Некоторых делегатов тезисы смутили: не слишком ли все обострил Ленин? Не рано ли говорить о социалистической революции? Но многие радовались: наконец-то у большевиков появилась новая, ясная программа действий! Давно пора кончать с разноголосицей. Ура Ленину!

Бурная овация в буфетной разожгла любопытство меньшевиков, собиравшихся внизу. Некоторые из них поднялись наверх и, узнав, что происходит, стали требовать, чтобы Ленин, если ему нечего скрывать, прочитал свои тезисы в общем зале.

Владимир Ильич охотно согласился. Пусть не все в зале станут его сторонниками — на это сейчас нельзя рассчитывать,— но он сумеет посеять зерна сомнения. То, что он предложит, многим будет по душе. Солдаты рады вернуться к своим семьям, крестьяне — получить землю, рабочие — фабрики и заводы, а все вместе — Советскую власть, чтобы жить по-человечески. Делегаты разнесут по всей России суть большевистской программы, а некоторые станут ее горячими сторонниками.

В большой зал Таврического дворца набилось много народу. Владимир Ильич поднялся на трибуну и стал говорить.

Лидеры меньшевиков, усевшиеся в первых рядах, пытались сбить его насмешливыми репликами, но он не обращал на них внимания.

Шум все же мешал сидящим в задних рядах, они стали требовать:

— Перестаньте изощряться... дайте слушать!

Делегаты, прибывшие с дальних окраин, жадно ловили слова Ленина. Все, что он говорил, ошеломляло новизной и кровно трогало каждого, а особенно солдат. Какой-то взвинченный фронтовик, не поняв, почему нужно брататься с немцами, вдруг завопил «Стой!», вскочил с места и подошел ближе к трибуне.

— Не позволим! Я тебе дам брататься!— закричал он, грозясь кулаком.— Ты, видно, крови не проливал, а я два раза по госпиталям до пролежней мучился. Вовек немцу не прощу! А он — брататься! За что мы столько лет вшей в окопах кормили, жен и детей не видели, если не сможем отомстить?

— С врагами брататься? За что ж воевали?— понеслось с разных концов зала.

Председательствующий принялся звонить, требуя, чтобы фронтовик вернулся на место.

Когда зал несколько утих, Владимир Ильич сказал, что он очень понимает солдата, хотя тот и накричал на него, и очень сочувствует его друзьям-фронтовикам. Действительно, как здесь не закричишь, когда все страдания были напрасны! От этой мысли с ума сойдешь. Солдатам все время внушали, что они воюют за народ и отечество. А на самом-то деле их подло обманули. Солдаты сражаются и гибнут за чуждые им интересы. Какая корысть русскому рабочему или крестьянину от того, что главный враг его — капиталист, выиграв войну, сможет угнетать не только его, а еще трудящегося другой страны? И мстить простому немцу не за что. Он так же подло обманут. Вот в чем трагедия нашего времени!

Потом Владимир Ильич стал объяснять, почему нельзя поддерживать Временное правительство. Меньшевики принялись выкрикивать: «Это самое демократическое правительство в России!», «Мы на него влияем, значит, мы пособники империалистов?!».

— Да, весьма старательные и покладистые!— вдруг ответил Ленин.

Это вызвало в левой стороне бурные аплодисменты, а в середине зала — вопли негодования. Несколько минут зал не мог утихомириться.

Владимир Ильич спокойно смотрел на крикунов. Протесты меньшевиков его не волновали, он собирался нанести еще более сокрушительные удары, а это следовало делать хладнокровно и расчетливо.

Его прерывали несколько раз, но наивысшего накала шум в зале достиг, когда в конце он заговорил о том, что для большевиков наступило время переменить старое название партии, так как западноевропейские социал-демократы, да и свои, русские, опозорили и загрязнили его соглашательством и подлой изменой социализму.

— Пора сбросить грязное белье социал-демократов. Мы назовем свою партию коммунистической. Это название наиболее полно выразит наши конечные стремления.

В зал словно бросили несколько бомб. Первая развороти ла середину: меньшевики, неистово вопя, принялись свистеть, грохотать откидными краями столиков. Вторая — всколыхнула левую сторону: большевики поднялись с мест и устроили овацию бесстрашному Ильичу. Третья не оставила безучастными остальных слушателей: беспартийные и эсеры на разные голоса выражали либо возмущение, либо восторги.

Противники пускают в ход клевету

Буржуазные газеты вышли со статьями, в которых на разные лады высказывалось недоумение: почему-де Петроградский Совет устроил пышную встречу Ленину?

— А действительно, по какой причине была устроена столь помпезная встреча?— допытывались и меньшевики у Чхеидзе.

Обозленный председатель Петросовета вызвал Ленина на заседание исполкома для объяснений. Он умышленно продержал его в комнате ожидания почти три часа. Этим Чхеидзе давал понять, что с радушием и приветственными речами покончено, что к скандалистам теперь отнесутся со всей строгостью. Довольно церемониться!

Тактику предисполкома нетрудно было разгадать. Владимир Ильич решил не выступать первым.

По последнему вопросу повестки дня Чхеидзе выпустил интернационалиста Зурабова с сообщением «О положении швейцарской эмиграции», полагая, что рядом с людьми, стремящимися попасть на родину законным путем, Ленин будет выглядеть неприглядно. Но получилось не так, как хотелось председателю исполкома. Рассказав о бедственном положении русских в Швейцарии, Зурабов стал с возмущением говорить о том, что революционеров пропускают в Россию по старым спискам посольства, составленным охранкой и жандармами Антанты, что на телеграфные просьбы ни Керенский, ни Чхеидзе не откликнулись, что сам он приехал только потому, что смилостивился Милюков.

— А это безобразие,— заключил Зурабов.— Нам не к лицу выпрашивать визы у политических противников. Мои товарищи, оставшиеся в Швейцарии, настаивают, чтобы Петросовет оказал давление на Временное правительство и заставил его повести переговоры о пропуске всех эмигрантов через Германию, в обмен на пленных.

После такого выступления нетрудно было объяснить, почему большевики были вынуждены пойти на риск и приехать через Германию.

Тут Чхеидзе пришлось оправдываться и объяснять, с какими трудностями встретился исполком.

Владимир Ильич осудил бездеятельность руководителей Петроградского Совета, бросивших эмигрантов на произвол судьбы.

— Создается впечатление,— сказал он,— что вы не заинтересованы в том, чтобы в Россию вернулись революционеры.

Побывав в редакции «Правды» на Мойке, Владимир Ильич понял, что он зря спешил отсылать из Швейцарии «Письма из далека». Напечатано было только одно из них, и то в урезанном виде: сократили критику Временного правительства.

И Апрельские тезисы редакторы «Правды» соглашались напечатать только с оговоркой, что они выражают личное мнение Ленина.

Владимиру Ильичу пришлось написать коротенькое вступление и сделать полемическую концовку.

Статья была опубликована под заголовком «Задачи пролетариата в данной революции».

На следующий же день в той же «Правде» появилась заметка, в которой Каменев, как бы защищая бюро Центрального Комитета, выступил против «личного мнения тов. Ленина» и заявил от имени ответственных руководителей, что они будут оберегать партию «как от разлагающего влияния «революционного оборончества», так и от критики тов. Ленина».

«Что касается общей схемы т. Ленина,— писал Каменев,— то она представляется нам неприемлемой, поскольку она исходит от признания буржуазно-демократической революции законченной и рассчитана на немедленное перерождение этой революции в революцию социалистическую».

Цель статейки нетрудно было разгадать: Каменев успокаивал не только своих сторонников, а и либералов, пришедших к власти.

Но кого из них могли обнадежить его заверения? Наиболее умные и дальновидные лидеры буржуазных партий с первых же дней поняли: Ленин для них—смертельно опасный враг. Он не меняет взглядов, не идет на компромиссы. Его высказывания скоро станут программой и тактикой большевиков. За Лениным устремятся обездоленные и измученные войной. Тогда прощай власть, имения и капиталы! Отчаявшаяся голытьба отнимет все. Надо во что бы то ни стало убрать Ленина. Но как? Подкупить его невозможно, значит, нейтрализовать придется, не стесняясь в средствах. Наибольшую ярость у солдат и доверчивых обывателей, конечно, вызовет обвинение в шпионаже. Почему бы не пустить подобный слух? Выдумывай и клевещи, что-нибудь да прилипнет!

Кампания лжи началась с намеков. Не только бульварные, но и солидные газеты то в статье, то в фельетоне или заметке, как бы недоумевая, спрашивали: почему ходят слухи, что Ленин — немецкий агент? Не следует ли проверить, по какой же причине он приехал из Германии в запломбированном вагоне? Правда ли, что вождь большевиков привез много денег? Для каких подкупов они предназначены?

Начав травлю, репортеры как бы забыли о других тридцати участниках поездки через Германию. На рынках, на вокзалах, в очередях у хлебопекарен стали появляться какие-то типы в потрепанных военных шинелях. Выдавая себя за инвалидов — страдальцев войны, они всюду нашептывали, что столица наводнена шпионами, что их пропускают из Германии в запломбированных вагонах.

— Братцы, да сколько можно терпеть?— собрав вокруг себя толпу, начинали взывать они.— Немцам все это на руку, а мы молчим. Неужто не найдется русского человека, который бросит бомбу в шпионское гнездо на Каменноостровском проспекте? Люди православные, спасайте Россию, пока не поздно!

Черносотенцы, расписывая в своих газетах эти «стихийно» возникшие митинги «православных людей», повторяли гнусные измышления.

А газеты так называемых социалистических партий умышленно отмалчивались. Пусть-де большевики сами отбиваются от клеветников.

— Посеяв ветер, они пожнут бурю,— говорили меньшевики.

Бонч-Бруевича, работавшего в редакции «Известий Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов», возмутили гнусные измышления. В ночное дежурство он написал статью против бесчестных распространителей отвратительной лжи и погромщиков, призывающих арестовать и убить Ленина, и на свой риск напечатал ее в «Известиях» без подписи.

На другой день, как только в Таврический дворец пришли газеты, почти поминутно из исполкома ста-

ли раздаваться телефонные звонки в редакцию. Грозные голоса спрашивали:

— Почему газета выступила в защиту Ленина? С кем статья согласована? Кто автор? Ах, Бонч-Бруевич? Тогда понятно! Он давно работает на большевиков.

Бонч-Бруевича вызвали на заседание исполкома и после допроса отстранили от работы в «Известиях».

Владимир Ильич мог рассчитывать только на большевистские газеты, но их было мало. К тому же некоторые правдисты настаивали на дискуссии, когда необходима была единая воля и единая тактика в быстро меняющейся и сложной обстановке.

Весенние митинги

На апрельской конференции большевики, съехавшиеся со всей России, несмотря на яростные возражения Каменева и Рыкова, одобрили программу действий, предложенную Лениным.

Возглавив Центральный Комитет, Владимир Ильич не имел ни минуты свободного времени. Надежда Константиновна не знала, где он бывает, когда обедает и ужинает. Впрочем, она и сама, уйдя утром в особняк Кшесинской, допоздна пропадала в секретариате ЦК.

Секретариатом ЦК руководила Елена Стасова. Она и ее помощницы были завалены работой. На помощь женщинам часто приходил новый секретарь Центрального Комитета — бледный, худощавый, с черной, чуть курчавящейся бородкой Яков Михайлович Свердлов. Он носил пенсне с толстыми стеклами, отчего глаза его казались какими-то пронзительными. Свердлов обладал громоподобным, рокочущим голосом и удивительной памятью. Достаточно было ему один раз переговорить с человеком — и он запоминал его надолго: знал имя, знал, что тот умеет делать, каким наделен характером.

Революция, втянувшая в борьбу массы не искушенных в политике людей, вызвала небывалую жажду к общению. Митинги возникали всюду: на площадях, на улицах, в чайных и во дворах домов.

Придя поздно вечером с какого-нибудь заседания домой, Надежда Константиновна распахивала окно во двор, надеясь подышать свежим воздухом и отдохнуть в тишине, но не тут-то было. Снизу доносились возбужденные голоса. Это во дворе спорили с дворниками и солдатом-инвалидом служанки и солдатки, которым не спалось в белые ночи. Около них обычно толпились подростки, порой поднимавшие на смех запутавшихся политиков.

Дворовые митинги часто затягивались допоздна, поэтому приходилось закрывать окно и спать в духоте.

На Путиловском заводе каждую неделю устраивались общезаводские митинги. На них обычно выступали виднейшие деятели разных партий.

На двенадцатое мая путиловские эсеры пригласили на митинг своего вновь испеченного министра земледелия Виктора Чернова.

Большевики, узнав об этом, послали делегатов к Ленину.

Митинг происходил между мартеновской и прокатной мастерскими, где переплетались железнодорожные пути. На него сошлось более двадцати тысяч человек. Люди густо облепили крыши цехов, штабеля чугунных и стальных болванок, заняли все возвышения и плотной толпой стояли вокруг деревянной трибуны.

Первым на митинг прибыл Чернов. Он начал речь со сказки о рыбаке и рыбке. Рассказывая о том, как жадная старуха требовала от золотой рыбки все большего и большего, он то по-стариковски сокрушенно разводил руками и потряхивал бородкой, то старушечьим голосом гнал рыбака к морю просить царства.

Актерские ужимки министра вывели из терпения слушателей, один из них сердито перебил:

— Не довольно ли нас сказками кормить? Не пора ли рыбку на стол выложить! Когда хлеба вволю будет?

— А я об этом и веду речь, — словно обрадовавшись, ответил Чернов.— Разве вы не заметили, что ненасытная старуха говорит голосом большевиков? Ведь им всего мало: и восьмичасового рабочего дня, и свободы, и власти.— Это он произносил уже голосом рассерженного министра. — Иди-ка им в услужение, золотая рыбка! Об опасности они не думают и тянут нас к разбитому корыту...

Потом он начал объяснять, почему Временное правительство не может прекратить войну.

— Мы связаны договорами с союзниками, — разглагольствовал министр. — Если ослабим фронт, то немцы разобьют Францию и Англию, а потом и нас. И Вильгельм опять посадит на трон царя. Поэтому мы требуем от вас обеспечить фронт всем необходимым, не вызывать возмущения промышленников и помочь командованию выйти из войны без позора.

— Ишь как страшно вам без буржуев обходиться! — насмешливо вставил стоявший у трибуны путиловец.

— А где земля, которую вы крестьянам обещали? — спросил другой.

— Землю мы действительно обещали,— ответил Чернов.— Но если крестьяне сейчас начнут отнимать ее у помещиков, то это нарушит порядок революции.

Он говорил более часа, на разные лады повторяя одно и то же: сейчас не время... надо подождать Учредительного собрания.

— Сколько ждать-то?

— Для кого революцию делали?

Чернов покосился на неблагодарных слушателей и поспешил закончить свою речь призывом помочь Временному правительству.

Эсеры захлопали и, толпой окружив министра, повели его к автомобилю. А с крыш и деревьев вслед ему раздавался свист.

Ленин прибыл на митинг, когда Чернов уже уехал с Путиловского завода. Рабочие, устроившиеся на крышах, издали увидели его. Они замахали шапками. А толпившиеся на площади стали подниматься на цыпочки, чтобы лучше разглядеть Ильича.

Вот он поднялся на трибуну, и все увидели невысокого, крепкого человека в рабочей кепке. Путиловцы встретили его приветственными аплодисментами.

Владимир Ильич выждал несколько минут, когда площадь затихнет, и заговорил, чуть картавя, голосом отчетливым и внятным.

Он высказал сожаление, что не застал министра. Но это ничего, поправимо. В общих чертах Владимир Ильич представлял, что мог сказать Чернов. Министр, конечно, уверял всех, что большевики, а с ними и рабочие своими справедливыми требованиями

губят революцию. Что еще мог придумать эсер? У соглашателей одна песня: войну невозможно закончить, а с землей и рабочим контролем на заводах надо подождать...

— Угадал, точно говорит, будто сам слышал Чернова,— удивлялись рабочие и придвигались к трибуне.

Когда Владимир Ильич кончил, от мощного взрыва аплодисментов задребезжали стекла окон в цехах. Тысячи путиловцев на всем пространстве огромного двора и на крышах бурно били в ладоши.

В деревне Нейвола

Белые ночи с их мерцающим зеленовато-голубым светом вызывали бессонницу. В часы забытья Владимиру Ильичу мерещилось, что он все еще мчится в «миксте» мимо зеленых гор, бурных речек, черепичных крыш старинных городов и никак не может добраться до России.

Утром Ленин поднимался невыспавшимся, усталым, с гудящей головой. Яков Михайлович Свердлов, видя, как извелся и осунулся за последние дни Ильич, стал уговаривать:

— Вам обязательно надо выехать за город, подышать свежим воздухом, отоспаться. В Питере ничего особенного не произойдет. Мы обойдемся без вас.

Он слышал, как Владимира Ильича приглашал к себе на дачу Бонч-Бруевич.

— Поезжайте на Карельский перешеек к Бончам. Там сосны, озера, тишина. Побродите по лесу и будете спать как убитый,— уверял Яков Михайлович.— А в случае чего мы вас вызовем.

В один из особо душных дней Владимир Ильич, захватив с собой сестру Марию, выехал по Финляндской железной дороге в Мустамяки.

Сойдя с поезда, он подошел к старику извозчику, курившему короткую трубку, и спросил, не сможет ли тот отвезти в деревню Нейвола.

— Та, та, моку,— ответил извозчик.

Усадив пассажиров в скрипучую пролетку, старик дернул вожжи и, зачмокав на коня, повез их по пыльной и неровной дороге, вдоль которой росли сосны и тонкие березки.

В пути Мария Ильинична спросила извозчика: где живет поэт Демьян Бедный?

Старик уставился на нее непонимающими голубоватыми глазами.

— А что такая «поэта»? — спросил он.

— Ну, понимаете, человек, который пишет стихи... печатает их в газетах, книгах.

— А-а,— поняв, обрадовался финн.— Такая длинный... уса висит. Он был в пансионат Ланге.

— Вы, наверное, путаете с Максимом Горьким. Тот действительно худой, высокий, а Демьян Бедный, наоборот, толстый, белые зубы, много смеется.

— Знаю, возил такой,— заверил извозчик.

Больше финн ни о чем не говорил и не расспрашивал, но действительно привез к даче Демьяна Бедного.

Поэт, увидев Ильича с сестрой, обрадовался:

— Какими судьбами? От не ждал не гадал! Заходите, заходите, дорогие гости, не бойтесь, ни собак, ни кадетов во дворе не держим.

Владимир Ильич отпустил извозчика и, поздоровавшись с поэтом, спросил:

— Не ждали? Как всегда, гости не вовремя и некстати?

— Зачем же так? Очень кстати! Правда, обед прошел, но мы сейчас что-нибудь сообразим.

— Не надо соображать, — смеясь, сказал Ильич. — Мы только просим проводить нас к Бонч-Бруевичам. Они далеко отсюда?

— Версты полторы, не больше, — уверил Демьян Бедный. — А по тропке и того не будет.

Напоив гостей холодным хлебным квасом, Бедный надел свежую рубашку с украинской вышивкой и повел их в другой конец деревни.

Подойдя к даче, стоявшей на отшибе, невдалеке от озера, он провел Ульяновых в садик и, остановясь под балконом, просящим нищенским голосом пропел:

— Дорогая докторша Верочка Михайловна, пожалейте страждущих, животы болят! Подайте христа ради стопочку капелек для Демьяна Бедного.

— Если вы действительно такой бедный, прошу наверх, — отозвался веселый женский голос. — Чем-нибудь подлечим.

— За мной! — скомандовал Демьян, открыв дверь. — Здесь попусту слов не бросают.

Поднимаясь по деревянной лестнице, поэт продолжал балагурить:

— Я ведь не один... гляньте, странников каких веду. Нет, Верочка Михайловна, стопкой капелек от меня не отделаетесь, доставайте пузырек, да попузастей!

— Что за капли заведены в этом доме для Демьяна Бедного? Может, они и нам пригодятся? — спрашивал чуть картавый знакомый голос.

— Владимир Ильич! — не поверила своим ушам жена Бонч-Бруевича Вера Михайловна. Она вышла навстречу и, увидя за широкой спиной Демьяна Ульяновых, не без укоризны воскликнула: — Наконец-то надумали!

Целуя раскрасневшуюся от ходьбы Марию Ильиничну, она спросила:

— А где же Надежда Константиновна? Не захватили с собой? Ну как вам не стыдно!

— У нее все дела,— оправдывался Владимир Ильич.— Не может оторваться.

Вера Михайловна всмотрелась в него с придирчивостью врача.

— А вы мне не нравитесь, — призналась она. — И даже очень. Бессонница одолела? Бледный, морщин прибавилось... и глаза нехороши. Замотали себя! И головные боли вдобавок?.. Картина ясная! Капельки Демьяна Бедного вас, конечно, взбодрят, но навряд ли помогут.

Появился и Владимир Дмитриевич. В доме началась суета по устройству гостей.

— Не беспокойтесь, пожалуйста, — запротестовал Владимир Ильич.— Мы с Маняшей где-нибудь на балконе устроимся.

— Зачем же на балконе? — забасил хозяин. —Вас отдельные комнаты ждут. Правда, они полумансардные, небольшие, но зато вам никто мешать не будет.

— Давайте условимся, — предложила Вера Михайловна.— Вы не в гостях, а, скажем, в пансионате, где жильцам предоставлена полная свобода. Я здесь не хозяйка, а лишь наблюдающий врач. Мы завтракаем в восемь, обедаем в три, ужинаем от семи до восьми. Это наш режим. Остальное время каждый проводит по своему усмотрению. В помощи по хозяйству не нуждаемся. Наша няня — Ульяна Александровна — не любит, когда вмешиваются в ее дела.

Вам, Владимир Ильич, рекомендую забыть о существовании газет, чернил и перьев. Только прогулки и отдых.

— Вера Михайловна, нельзя же так сразу, — взмолился Владимир Ильич. — Ну, хоть одну газетку!

Но хозяйка была непреклонна.

— Никаких газет! Мы вам расскажем, если что-либо важное произойдет.

Владимир Ильич знал, что Вера Михайловна добрейший человек, но строгий доктор. Без возражений он занял отведенную ему наверху комнату и сознался, что любит иногда побыть в одиночестве.

Оставшись один, он потер ладонями виски... От этого в глазах потемнело. Владимир Ильич вобрал полную грудь воздуха и резкими рывками выдохнул его.

Когда в голове перестало шуметь, он снял пиджак, верхнюю и нижнюю рубашку. Остыв немного, взял полотенце и пошел мыться прямо к колодцу. Демьян Бедный черпал воду ковшом из колодезного ведра и обильными струями лил на его голову и плечи. Владимир Ильич фыркал и отдувался.

Холодная вода несколько взбодрила его, но томящая боль в голове не проходила, она гнездилась где-то в глубине.

Не помогла и стопка «капелек», выставленных на стол Демьяну Бедному.

Ужинали весело и оживленно, а когда ушел шумный поэт, наступила тишина.

Хозяева и гости, полулежа в плетеных креслах, молча наслаждались вечерней прохладой.

Большое солнце, окрасившее полнеба золотисто-пурпурными полосами и зажегшее бездымным пламенем край озера, вскоре скрылось за горизонтом. Яркие краски стали увядать и тускнеть, обретая прозрачность и серебристый блеск белой ночи.

Над озером поднялся легкий туман. Тонкой кисеей он колыхался над застывшей, неподвижной водой.

Из оцепенения вывел крик ночной птицы.

«Ки-ик, ки-ик!» — послышалось над камышами.

«У-гу-гу-гу-у!» — ответила сова из леса.

Владимир Ильич протер глаза и поднялся.

— Кажется, потянуло на сон, брежу наяву, — сознался он. — Удивительная ночь!

Видя его бледность, Вера Михайловна затаила невольный вздох.

— Вы должны отдохнуть, — сказала она. — Я дам снотворного.

Хозяйка ушла и вскоре вернулась на веранду с рюмкой мутной микстуры.

Владимир Ильич послушно выпил снотворное и, пожелав всем спокойной ночи, поднялся наверх.

Машинально раздевшись и вытянувшись на постели, он вдруг почувствовал, как неимоверно устал за последние дни.

Владимир Ильич проснулся под утро. В едва раскрытое окно доносились первые голоса птиц. Голова была тяжелой, и веки набрякли. Их словно засыпали песком. Видно, еще действовало снотворное.

Полежав немного с закрытыми глазами, он почувствовал облегчение: голова уже не была тяжелой.

Поднявшись с постели, он с удовольствием вымылся холодной водой, выпил стакан молока с черным хлебом и спросил, нет ли свежих газет.

— Газет в нашем доме не получите, — сказала Вера Михайловна. — Дайте хоть немного отдохнуть глазам и мозгу. Пошли бы лучше в лес.

— Ну что ж, подчинимся? — взглянув на Владимира Дмитриевича, спросил Ленин.

— Придется, — ответил тот. — Предложение разумное.

Они пошли вдоль озера.

День был теплый. Вода искрилась на солнце. Над расцветавшими белыми лилиями и кувшинками кружились изумрудные и синие стрекозы. Невидимые жаворонки сыпали трели из необъятной синевы неба. Владимир Ильич дотронулся рукой до воды.

— Ого! Да она теплая! — воскликнул он. — Может, выкупаемся?

— Я не прочь. Только учтите: здесь встречаются холодные течения, — предупредил Бонч-Бруевич. — Некоторые от неожиданности теряются и, испугавшись, тонут.

— Тонут, говорите? — как бы удивляясь, спросил Ильич. — Это, конечно, неприятно. Но, может, мы с вами постараемся плыть по нагретой части озера... А глубоко здесь?

— Очень, чрезмерно! Озеро вулканического происхождения. Во многих местах не достанешь дна.

— Архиинтересно! Надо проверить.

Не успел Бонч-Бруевич разуться, как Владимир Ильич, сбросив с себя одежду, разбежался, подпрыгнул и, вытянув вперед руки, головой ушел под воду.

«Ну и отчаянный, — подумал Владимир Дмитриевич. — Этак нырять на незнакомом озере! Но где же он? — забеспокоился Бонч-Бруевич. — Что-то долго не показывается...»

Прошло секунд двадцать... тридцать... сорок, а Ильича все не было. Владимир Дмитриевич вскочил, готовый позвать на помощь рыбаков, удивших рыбу с лодки. Но в это время услышал всплеск, фырканье и шумный вдох.

Владимир Ильич вынырнул далеко от него. Повернувшись лицом к берегу, он крикнул:

— Что же вы замешкались? Плывите сюда. Вода превосходная!

Он плавал и нырял свободно, без всяких усилий. Не зря же вырос на Волге!

Бонч-Бруевич не решился нырять, он осторожно вошел в воду, окунулся и лишь затем, плавно двигая руками, поплыл.

Поджидая его, Владимир Ильич повернулся на спину и стал смотреть в удивительно чистое небо, по которому одиноко плыло облачко, насквозь пронизанное светом.

В столице стрельба и волнения

На даче Бонч-Бруевичей еще все спали, когда посыльный Центрального Комитета партии осторожно постучал в окно.

Первым проснулся Владимир Дмитриевич. Увидев в саду под окном работника ЦК Савельева, он понял, что в Петрограде что-то случилось, иначе тот не приехал бы так рано. Будильник показывал шестой час. Владимир Дмитриевич, накинув на себя халат, вышел в сад.

— Что случилось? — спросил он шепотом.

— В городе революция, — возбужденно ответил Савельев. — Срочно вызывают Ильича.

«Какая такая может быть революция?» — недоуме-

вал. Бонч-Бруевич и стал выпытывать у Савельева подробности, а тот, потрясенный событиями, неохотно отвечал и торопил:

— Будите Ильича, некогда разговаривать.

Бонч-Бруевич поднялся наверх и заглянул в комнату Владимира Ильича. Он спал, посапывая. Жаль было будить. Ведь только наладился сон и почти прошли головные боли. И вот опять начнется кутерьма! Владимир Дмитриевич осторожно кашлянул в кулак.

Владимир Ильич мгновенно открыл глаза и поднял голову. Увидев перед собой хозяина дачи в халате, с растрепанной бородой, он почувствовал недоброе.

— В Питере что-то стряслось, — определил Ильич. — За мной прислали?

— Да, приехал Савельев. Говорит, что восстал первый пулеметный полк. Солдаты подбили рабочих выйти на улицы. В городе стрельба и демонстрации.

Владимир Ильич начал торопливо одеваться.

Бонч-Бруевич разбудил Марию Ильиничну и тоже стал готовиться к отъезду.

Ставить самовар было некогда. Все четверо выпили по кружке холодного молока с хлебом и помчались на вокзал.

В вагоне Владимир Ильич стал выспрашивать подробности волнений в столице.

— Вы, конечно, из газет знаете, что кадеты отозвали из правительства своих министров? — спросил Савельев.

— Нет, вчерашних газет я не видел. Рассказывайте все, что вам известно.

— На фронте за эти недели загублено более пятидесяти тысяч солдат, — продолжал Савельев. —Кадеты хотят свалить вину за провалившееся наступление на социалистов. А Керенский продолжает воевать: решил вывести из столицы первый пулеметный полк и отправить на фронт. Пулеметчики собрались на митинг и постановили: Временному правительству не подчиняться, выйти с оружием и потребовать всей власти Советам. В общем, взбунтовались, разослали делегатов по воинским частям и крупным заводам. К зданию Центрального Комитета пулеметчики пришли с оркестром и стали требовать, чтобы мы возглавили восстание.

— Наши сперва растерялись,— приглушенным голосом признался Савельев. — Пытались уговорить солдат. А те знай свое: «Долой! Хотим власти Советам». Тогда кто-то предложил выбрать делегатов и послать на заседание исполкома. Пулеметчиков это обрадовало. Прокричали «ура» и с музыкой двинулись к Таврическому дворцу. На Путиловском солдаты первого пулеметного полка собрали чуть ли не всю Нарвскую заставу — больше двадцати тысяч. А наши ораторы в это время были на общегородской конференции. Пришлось их перебрасывать на мотоциклах. Но страсти уже так накалились, что уговаривающих не хотели слушать, одобрением встречали только тех, кто требовал идти к Таврическому дворцу. И в двенадцатом часу ночи путиловцы хлынули на улицу и двинулись к центру города. По пути они снимали с работы ночные смены на фабриках, заводах и двигались дальше. Чтобы ввести стихию в русло, члены Центрального Комитета разослали ораторов по колоннам, а меня отправили за вами. Решено сегодня продолжить демонстрацию.

— С какой целью? — недоумевал Ленин.

Савельев ничего путного ответить не мог.

На станции Белоостров началась проверка документов. Солидную компанию Бонч-Бруевича милиционеры приняли за дачников, поэтому паспорта смотрели невнимательно.

— Второй волной по вагону пройдут шпики, — предупредил Владимир Дмитриевич. — Нам лучше выйти в буфет и выпить по чашке кофе. Вернемся после звонка.

В станционном буфете кофе не оказалось, зато в киоске продавали свежие столичные газеты. Бонч-Бруевич принес их товарищам. Те принялись искать сообщения о питерских событиях.

— Пока ничего опасного, — просмотрев статьи, сказал Владимир Ильич. — Но нам надо овладеть начавшимся движением и остановить его, если не хотим разгрома. Время для таких выступлений еще не наступило.

Вышедшие на перрон пассажиры всюду толпились группами. Они тоже обсуждали питерские события и громко поносили большевиков.

— Уйдем отсюда, — потребовал Бонч-Бруевич. — Если кто знает вас в лицо — не избежать скандала.

Они вернулись в вагон и сели так, чтобы Владимир Ильич оказался в затененном углу. Затем, пошире разворачивая газеты, стали заслонять его от взглядов пассажиров.

В душном вагоне у Ленина опять разболелась голова. Он прислонился к стенке и так сидел с закрытыми глазами до самого Петрограда.

В столице трамваи не ходили.

Бонч-Бруевич успел захватить извозчика. Усадив в пролетку Ульяновых, он предложил Савельеву сесть им прямо в ноги и охранять до самого дома. Но тут извозчик заартачился, заявив, что не повезет лишнего пассажира. Пришлось пообещать ему еще рубль.

Условились встретиться в буфетной Таврического дворца. Бонч-Бруевич пошагал к себе, на Пески, а пролетка с тремя пассажирами покатила на Петроградскую сторону. Извозчик ехал по тем улицам, по которым в апреле Владимира Ильича торжественно везли в броневике. Как тогда легко и весело было на душе! Сейчас же от головной боли не мил был дневной свет, и сердце сжимала тревога.

Гнать лошадь быстрей извозчик не мог: жители окраин шагали прямо по мостовой и на предупредительные крики «Эгей, поберегись!» не обращали внимания. Питерцы большими и малыми группами шли к центру города, возбужденно переговаривались между собой. Чувствовалось, что нарастают события, которые нелегко будет предотвратить.

Владимир Ильич решил не заезжать домой на Широкую улицу, а направил извозчика к зданию Центрального Комитета: хотелось скорей узнать у товарищей, что ими предпринято.

В особняке Кшесинской он застал Свердлова и Луначарского. Те обрадовались приезду Ильича и стали уверять, что особо беспокоиться нечего, демонстрация пройдет мирно.

Проверив, кто из работников куда послан, Владимир Ильич несколько успокоился. Выпив порошок от головной боли, он прилег на диване в соседней комнате, где было открыто окно в сад.

Вскоре у особняка Кшесинской показалась многотысячная колонна вооруженных кронштадтцев. Среди них были моряки, рабочие и солдаты. Они шли с двумя оркестрами, несли плакаты и знамена.

Кронштадтцев встретил Свердлов. Попросив их подтянуться поближе к балкону и уплотнить ряды, он предоставил слово Луначарскому. Анатолий Васильевич рассказал, что происходит на фронтах, в столице, и призвал моряков соблюдать порядок, выдержку. Они ответили ему дружным «Есть!» и захлопали в ладоши.

Луначарского кронштадтцы слышали не раз. Сегодня им хотелось увидеть Ильича.

— А где товарищ Ленин? — стали спрашивать они. — Почему он не показывается?

— Владимиру Ильичу нездоровится, товарищи! — ответил своим зычным басом Свердлов. — Надо пощадить его.

— Пусть хоть пару слов скажет! — не унимались моряки. — Позовите Ленина.

Несколько кронштадтцев кинулись в здание. Разыскав Владимира Ильича, они стали упрашивать его показаться демонстрантам.

— Я не могу громко говорить, голова болит, — пожаловался Ильич.

— Ну хоть выйдите на балкон и покажитесь нашим, иначе не уйдут отсюда.

Владимир Ильич встал с дивана, растер ладонями виски, вышел на балкон.

Кронштадтцы встретили его бурной овацией.

Говорить перед такой огромной толпой, стоявшей на улице, было трудно. Владимир Ильич, попросив извинения за то, что по болезни будет краток, передал привет от рабочих Питера, а затем выразил надежду, что требования кронштадтцев всей власти Советам в конце концов осуществятся.

Никаких призывов к свержению Временного правительства, конечно, не было. Наоборот, он просил моряков не горячиться, так как не наступило еще время для вооруженной борьбы. Владимир Ильич и предполагать не мог, что через сутки эта короткая речь будет объявлена призывом к восстанию.

Кронштадтцы горячо и дружно захлопали ему. Если бы они знали, что случится через час, то моряки тут же сказали бы Ильичу: «Уходи с нами на корабли, мы тебя грудью отстоим». Но в этот безмятежный теплый день такое и в голову никому не могло прийти. Прокричав «ура», кронштадтцы выстроились в походную колонну и под грохот оркестров двинулись через Троицкий мост и Марсово поле на Невский проспект.

Фланирующая публика, сбившись группками на панелях, с опаской поглядывала на вооруженных матросов. Завсегдатаи Невского меж собой возмущались:

— Это же бандиты! Как их из Кронштадта выпустили да еще с оружием? Они же напьются и начнут грабить!

— Что смотрят офицеры Главного штаба? Как позволяют? Это же игра с огнем! Неужто на них нет управы?

Духовые оркестры беспрерывно играли революционные песни. Колонна кронштадтцев растянулась почти на версту.

Пройдя по Невскому, кронштадтцы свернули на Литейный проспект. Здесь теснилась публика попроще. Девушки в белых кофточках что-то выкрикивали матросам, а те в ответ махали им бескозырками.

Неожиданно впереди колонны появился грузовик. На нем стоял пулемет «максим» и сидело несколько военных без фуражек. Зубоскаля, они что-то выкрикивали, словно были пьяными.

Видя, что эти пулеметчики не кронштадтского гарнизона, начальник колонны попросил их убраться.

— Что, клешники, струсили? — с насмешкой спросил юнкер, сидевший в кабине, и велел шоферу прибавить скорости.

Грузовик зачадил и умчался вперед.

Вдруг пришла весть, переданная связными, что на Невском только что был обстрелян хвост колонны. Есть раненые.

— Вот ведь растянулись, выстрелов не слышим,— заметил начальник колонны. — Подтянуться! — приказал он.

— Прибавить шагу... Подтянуться! — прокатилась по рядам команда.

Передние, несколько замедлив ход, продолжали двигаться. Голова колонны уже приближалась к Пантелеймоновской улице. Неожиданно раздались винтовочные выстрелы, защелкали пули.

Грузовик, укативший вперед, вдруг стал пятиться и открыл пальбу из пулемета не то по кронштадтцам, не то по раскрытым окнам домов.

Матросы, не понимая, откуда стреляют, ответили беспорядочной стрельбой.

— Ложись! — кричали одни.

— Стой! — требовали другие. — Без паники!

Все ряды смешались.

Израсходовав первые обоймы патронов, многие демонстранты попадали на мостовую, чтобы перезарядить винтовки. Остальные кинулись врассыпную к подъездам, под арки ворот, в подвальные магазины. Началась давка. А пальба продолжалась.

На проспект откуда-то выкатил броневик. Он стал водить стволом пулемета по этажам домов, как бы отыскивая цель.

Стрельба затихла. Послышались стоны раненых. Матросы подняли с мостовой окровавленного, с выбитыми глазами кронштадтского солдата и понесли на руках, чтобы все видели жертву обстрела.

— Лови подлецов... бей их!

Часть моряков кинулась к домам разыскивать провокаторов, стрелявших из окон, а остальные под грохот барабанов лавиной двинулись дальше.

Порядок уже невозможно было установить. Всюду мерещились притаившиеся враги. Винтовки уже не покоились на левом плече, а были взяты наизготовку. Даже любопытные обыватели вызывали подозрение. Озлобленные матросы брали их на прицел и зычными голосами кричали:

— Вон с балконов! Закрой окна... Стреляем без предупреждения!

Грозным и бурным потоком кронштадтцы двинулись к Таврическому дворцу, в котором второй день беспрерывно заседал Совет.

На Фурштадтской улице начальники колонны, чтобы поддержать престиж красного Кронштадта, отозвали матросские дозоры и подравняли ряды. К Таврическому дворцу моряки подошли с музыкой. Здесь вся улица была запружена народом. Послышались голоса:

— Матросы идут... пропустить кронштадтцев!

Толпа расступилась, освобождая проход. Матросы и солдаты, четко печатая шаг, прошли к железным воротам массивной решетки и остановились.

Таврический дворец охранялся вызванными юнкерами и казаками. Бронированные автомобили настороженно стояли по углам и угрожающе водили стволами пулеметов.

Представители кронштадтцев прошли во дворец, а оставшиеся на площади демонстранты, закрутив махорочные цигарки, стали ждать. От возбуждения они много курили. Над колонной заколыхалось облако табачного дыма.

Прошедшие во дворец кронштадтцы поднялись на второй этаж и там около буфетной неожиданно встретили Владимира Ильича. Он выглядел бодрей, чем утром, и даже был оживлен.

Узнав, что произошло с демонстрантами на Невском и Литейном проспектах, он обеспокоился и велел срочно собрать в комнате фракции всех работников Центрального Комитета, находившихся во дворце.

На заседание собралось человек двадцать. Здесь были представители и от солдат, ожидавших на улице решительных действий.

Выслушав их, Владимир Ильич сказал, что в создавшейся обстановке вооруженное выступление было бы безумием. Центральный Комитет правильно решил придать демонстрации мирный характер. Ведь солдаты и матросы пришли требовать всей власти Советам. И вдруг они же будут действовать против Всероссийского Исполнительного Комитета Советов и войск, вызванных им с фронта. В этой путанице не всякий разберется. Да и не назрело еще время. С восстанием играть нельзя.

Единодушно было решено демонстрацию объявить законченной и разослать агитаторов, чтобы те уговорили солдат вернуться в казармы, а матросов — мирно отправиться на Васильевский остров и Петроградскую сторону, где их ждет ужин и ночлег.

На всякий случай надумали часть матросов оставить в Петрограде. Мало ли что произойдет за ночь.

Секретарю кронштадтского комитета большевиков Семену Рошалю довольно быстро удалось уговорить уставших от похода, проголодавшихся моряков вернуться на корабли к ужину. Они построились в колонну и под оркестр покинули ощетинившийся пулеметами дворец.

С солдатами разговоров было больше. Они уселись перед дворцом прямо на мостовой и требовали к себе либо министров, либо Чхеидзе.

— Да их уже звали, — убеждали агитаторы, — не идут к вам. Видно, винтовок испугались.

— А вы штыком подгоните!

— Видите ли, на штык найдутся и у них штыки. Кровопролитие ничего не даст.

— Эх вы, струсили!

Трудно было вразумить солдат, решивших драться. Их долго пришлось разубеждать и уводить частями. Лишь поздно вечером улица перед дворцом заметно опустела.

В этот час дежурный по большевистской фракции, разыскав Ленина, вполголоса позвал:

— Владимир Ильич, вас срочно к телефону.

Пройдя в дежурную, Владимир Ильич взял телефонную трубку. На другом конце провода был Бонч-Бруевич. Волнуясь, Владимир Дмитриевич каким-то приглушенным голосом сообщил:

— Против вас готовится гнусная клевета. Хотят скомпрометировать политически... Обвинить в шпионаже в пользу Германии.

— Это они давно пытаются сделать.

— Но теперь официально... материалы готовит прокуратура.

Владимир Ильич помолчал некоторое время, затем не без горечи в голосе спросил: можно ли поверить человеку, сообщившему эту весть?

— Да, да, — ответил Бонч-Бруевич. — Источник вполне надежный. Можно сказать — первоисточник. Знает не по слухам, а после просмотра поступивших документов. Уходите скорей, — просил он.— Я чувствую, вам грозит большая опасность.

— Не волнуйтесь, я уже собираюсь.

— Поскорей бы!

— Уйду, не сомневайтесь. Если будет что новое— звоните Марку Тимофеевичу. До свидания.

Повесив телефонную трубку, Владимир Ильич в волнении зашагал по комнате.

«Ах, подлецы! Этого, конечно, нужно было ждать. Они отомстят за часы пережитого страха, — думал он. — И выбрали самое подлое: «Шпион»! Таким обвинением можно замарать кого угодно. Шпион не-

нистен каждому. Правда, на суде мы докажем, что они гнусные лжецы и клеветники. Но им важно выиграть время: скомпрометировать партию и отпугнуть солдат. Теперь надо быть осторожными, продумать каждый шаг. Первым делом — не дать схватить себя врасплох. Надо ко всему подготовиться. Да и они, наверное, не сразу решатся на столь рискованный ход. Палка ведь о двух концах. Можно и ответный удар получить».

Из Таврического дворца Владимир Ильич сперва заехал на Мойку. В редакции «Правды» просмотрел материал, идущий в номер, выправил передовую статью, потом очистил свой стол от бумаг и записей, которые не должны были попасть в чужие руки, и поздно ночью отправился на Петроградскую сторону.

Боя не принимать

Яков Михайлович Свердлов жил с семьей на Широкой улице, прямо против дома Елизаровых. Забежав рано утром к себе на квартиру, он сказал жене:

— Через несколько минут я опять исчезну и вернусь не скоро. Юнкера ночью разгромили «Правду». Чуть не захватили Ленина. Каким-то чудом он уехал раньше и ничего еще не знает. Надо предупредить, теперь всего можно ждать.

Схватив свой непромокаемый плащ, Яков Михайлович поцеловал жену, детей и умчался.

В самом конце Широкой улицы высился шестиэтажный дом с богатым парадным подъездом. Входная дверь была расположена в нише, над которой виднелись фигуры двух римлян, согнувшихся под тяжестью каменной гирлянды.

Свердлов пересек мостовую, подошел к парадной двери, посмотрел по сторонам: не следит ли кто? Убедившись, что на пустынной улице людей нет, он поднялся на третий этаж и позвонил Елизаровым. Дверь открыл Марк Тимофеевич и молча пропустил его в переднюю.

— Владимир Ильич у себя? — спросил Свердлов.

— Только что встал. Не знаю, когда этот человек спит.

Свердлов прошел к Ильичу. Тот уже был одет. Сообщив о случившемся в «Правде», Яков Михайлович предложил немедля покинуть дом.

Владимир Ильич казался спокойным.

— Может, позавтракаете со мной? — спросил он.

— Нельзя. Сюда могут нагрянуть в любую минуту.

Яков Михайлович набросил на Ильича свой плащ, нахлобучил на голову шляпу и потянул к двери.

Только когда они вышли на набережную реки Карповки, он решился рассказать, что в Комитете журналистов проходимец Алексинский во всеуслышание заявил, что он владеет материалом, подтверждающим шпионаж Ленина в пользу Германии.

— В это, конечно, никто не верит,— поспешил вставить Яков Михайлович.— Даже Чхеидзе и Церетели, зная подлость Алексинского, принялись названивать редакторам крупных газет, чтобы те не вздумали печатать вздорных измышлений. Но боюсь, найдутся газеты, падкие на сенсационный материал.

На набережной Карповки жила большевичка Мария Леонтьевна Сулимова. Свердлов знал, что вся ее семья на даче и квартира пустует. Только бы застать хозяйку дома. Он осторожно постучал в дверь.

На стук вышла хозяйка. Увидев ранних гостей, она смутилась:

— Прошу! Только у меня не прибрано.

— Пустяки... не имеет значения,— успокоил ее Яков Михайлович.— Просим извинить за вторжение... Владимиру Ильичу на некоторое время придется остаться у вас. Прошу никуда не отлучаться, быть начеку.

Видя недоумение на лице хозяйки, Владимир Ильич объяснил, почему в это утро им понадобилась ее квартира.

— Пожалуйста, живите сколько угодно,— поспешно сказала Мария Леонтьевна.— Буду рада помочь.

Пока Сулимова торопливо прибирала комнату, Ленин и Свердлов стали обдумывать: что же предпринять в первую очередь?

— Без газеты невозможно,— нахмурился Владимир Ильич.— Надо найти типографию, бумагу и срочно издать хотя бы листок «Правды». Я сейчас же сяду писать статью. Часа через два присылайте нарочного.

— А меня беспокоят наши документы,— сказал Яков Михайлович.— Не попали бы они в руки усмирителей,— новое дело состряпают.

— Да, документы надо немедля вывезти и спрятать в надежных местах. Похоже, что нам придется действовать полулегально. Подготовьтесь ко всему.

Когда Свердлов ушел, Владимир Ильич попросил Марию Леонтьевну сходить на улицу и купить всяких газет.

— Надеюсь, чернила и бумага в доме найдутся?

— Безусловно. Даже пишущая машинка есть.

— Расчудесно! Заприте меня на ключ и уходите.

Сулимова принесла ворох свежих газет. Все они под крупными заголовками сообщали об уличных боях и заговоре большевиков. На всех полосах репортеры расписывали «зверства» рабочих и матросов, якобы стремившихся силой оружия захватить столицу и заставить Совет объявить себя центральной властью.

Солидные газеты требовали расправы над «бандами» безответственных лиц и наведения железной рукой порядка в столице. Но ни в одной из них не было материалов, о которых говорили Бонч-Бруевич и Свердлов. Только в бульварном листке «Живое слово» Владимир Ильич наткнулся на заголовок: «Ленин, Ганецкий и К° — шпионы!».

Ниже печаталось письмо за двумя подписями — бывшего члена Второй Государственной думы от рабочей курии Петрограда Алексинского и эсера Панкратова, отсидевшего четырнадцать лет в Шлиссельбургской крепости. Панкратовская подпись, видимо, понадобилась для подкрепления слишком подмоченной репутации Алексинского. Выслуживающиеся карьеристы писали, что считают своим революционным долгом опубликовать часть только что полученных документов, и требовали немедленного расследования.

Самих документов в газете не было. В примечании сообщалось, что они будут опубликованы позже. Дальше шли бредовые выдумки — якобы выдержки из письма разведывательного отдела штаба верховного главнокомандующего. В них утверждалось, что бывший прапорщик 16-го сибирского стрелкового полка Ермоленко, попавший в плен к немцам, ставший агентом и заброшенный в тыл шестой русской армии, на допросе показал, что Ленин и председатель «Союза освобождения Украины» Скоропись-Колтуховский являются такими же агентами германского штаба, переброшенными в Россию для подрыва доверия народа к Временному правительству.

Для пущей убедительности в конце сообщалось, что деньги на агитацию большевики получают от немцев через своих агентов в Швеции — Ганецкого и Парвуса, а в Петрограде — через присяжного поверенного Козловского, на счету которого в Сибирском банке более двенадцати миллионов рублей. Цензурой установлен постоянный обмен телеграммами между германскими агентами и большевистскими лидерами.

— Глупейшая стряпня! — воскликнул Владимир Ильич.— Ее нетрудно будет разбить. Ложь и нелепости бьют в глаза. Ну какое отношение к нам имеют ренегат Парвус и махровый националист Скоропись-Колтуховский? В штабе, видно, никогда не читали моих статей, иначе придумали бы что-либо поумней.

Владимир Ильич придвинул к себе чернильницу и тут же принялся писать. Надо было немедля ответить — разоблачить гнусных клеветников.

Статьи, написанные Владимиром Ильичем для листка «Правды», Сулимова отпечатала на машинке и отнесла в Центральный Комитет. Она весь день связывала Ильича с внешним миром: ходила по поручениям, звонила по телефону, узнавала новости.

В Петроград прибывали вызванные с фронта войска. С утра столица походила на оккупированный город: по улицам, гремя, двигались повозки, походные кухни, легкая артиллерия, строем шагали пехотинцы со скатками, ранцами и винтовками за спиной.

Всюду разъезжали конные патрули.

В особняке Кшесинской под одной крышей размещались редакция газеты «Солдатская правда», секретариаты Центрального и Петроградского комитетов и «военка». Документов по всем организациям накопилось много, необходимо было хотя бы самые важные упаковать и вывезти в надежные места.

Пока работники комитетов и «военки» возились с архивами, моряки, ночевавшие здесь, принялись готовиться к обороне: у подъезда на площади выставили бронированный автомобиль, а в каменной беседке и на крыше — пулеметы.

Вскоре дозорные сообщили, что Петроградскую сторону оцепляют войска.

К вечеру стало известно, что эсеры, игравшие немалую роль в штабе военного округа, решили проучить застрявших в столице матросов.

Чтобы предотвратить бессмысленное кровопролитие, Центральный Комитет поручил секретарю кронштадтского комитета большевиков Семену Рошалю выступить перед матросами и уговорить их мирно покинуть столицу.

Среди матросов, размещавшихся в Морском корпусе, Дерябкинских казармах и Галерной гавани, долгих разговоров не пришлось вести. Они поняли, что силы будут неравными, и согласились морем вернуться в Кронштадт. В худшее положение попали матросы на Петроградской стороне. Они уже не могли пройти к пристани у взморья на Неве, так как мосты были разведены и охранялись вызванными войсками.

Оставшись в окружении, моряки решили занять Петропавловскую крепость и принять бой. Неужто их не поддержат родные корабли Балтийского флота?

Винтовок и пулеметов хватало. Хуже обстояло с пушками. Крепостные орудия устарели, износились и не имели прицелов. А без пушек разве долго продержишься? Решили позвонить на Морской полигон и попросить матросов привезти на грузовике несколько легких орудий. Но тут телефонистка городской станции заартачилась, сказала, что не соединит с полигоном.

— Мы объявили вам бойкот! — надменно сообщила она.— Бунтуете, потому что немцы заплатили.

— Чего, чего? Да ты никак, дуреха, белены объелась? Чья сорока эту брехню на хвосте принесла?

Телефонная «барышня» обозлилась: обозвав моряка шпионом и мерзавцем, рывком выключила телефон.

Ночью к Петропавловской крепости подошел паровой катер, он мог взять на борт лишь несколько человек. Но кто из матросов покинет товарищей в беде? Таких не оказалось.

— Если нападут, будем драться до последнего,— заявили они.— А вы там не забывайте нас. Сообщите в Гельсингфорс и сами готовьте десант.

— Есть, поддержим! — И катер ушел в Кронштадт.

На рассвете моряки увидели, как по дальним мостам двинулась пехота и казаки. Противник накапливал силы.

В особняке Кшесинской немедля объявили тревогу. Вскоре неожиданно зазвонил телефон. Подошедший дежурный услышал в трубке грозный приказ помощника командующего войсками Петроградского военного округа эсера Кузьмина:

— Если через три четверти часа оружие не сдадите,— откроем по особняку Кшесинской артиллерийский огонь.

Угроза никого не испугала. Нашлись даже отчаянные, требовавшие без предупреждения напасть на казаков и разогнать их.

— Зря спровадили боевых ребят в Кронштадт,— обвиняли они руководителей.— С ними нас было бы несколько тысяч! С рабочими мы здесь кого хочешь побьем.

— Товарищи, Петроград — не вся Россия. Мы будем выглядеть безумными бунтовщиками,— принялся урезонивать Рошаль.— Нельзя действовать разрозненно. Вызовем ненависть с двух сторон. Нас и так изображают озверевшими анархистами, а тут выйдет, что мы деремся с войсками Советов. Момент самый неподходящий. Бесславно погибнем при всеобщем презрении...

В разгар бурного митинга появились два кронштадтца, прибывшие на катере, с повелительным требованием к ВЦИКу: освободить всех моряков, арестованных за последние дни, и беспрепятственно пропустить на остров Котлин.

С таким требованием имело смысл отправиться в Таврический дворец. К парламентерам присоединились Семен Рошаль и еще несколько человек; всем остальным было приказано на всякий случай перебраться в Петропавловскую крепость. Парламентеры уселись на катер и умчались вверх по Неве к Таврическому дворцу, а матросы, поснимав пулеметы, малыми группами стали покидать особняк Кшесинской. Они огибали бульвар, пересекали Каменноостровский проспект, пробегали по деревянному мосту через Кронверкский канал и скрывались под аркой Иоанновских ворот крепости. Здесь, за толстыми стенами равелина, шла спешная подготовка к обороне: матросы прямо на валу устанавливали пулеметы и каменными плитами обкладывали гнезда.

Тем временем кронштадтский катер пристал к барже с дровами. Моряки вскарабкались на баржу, с нее перебрались по узким и гибким сходням на пустынную набережную и закоулками вышли на Шпалерную улицу прямо к Таврическому дворцу.

В помещении Совета заседала военная комиссия, обсуждавшая, каким способом следует обуздать матросов, застрявших в Петрограде.

К кронштадтцам вышел меньшевик Богданов. Узнав, чего они требуют, он пообещал выпустить арестованных, но при условии, если моряки, оставшиеся на свободе, немедля сдадут оружие.

— Оружие не отдадим,— сказали моряки.

Богданов с видом озабоченного друга принялся урезонивать:

— Имейте в виду... многие части гарнизона с ненавистью относятся к распоясавшейся матросне. Население тоже. Если пойдете с оружием, вызовете еще большее озлобление... кончится кровопролитием. Тогда уже мы ничего не сможем сделать.

— Не пугайте,— ответил Рошаль.— В Питере и у нас есть друзья. Неизвестно, кто кого осилит. Но мы готовы пойти на компромисс. Если вас пугают наши винтовки, мы их сложим... на подводы, которые отправятся с нами на пристань.

Богданова это предложение, видимо, устроило. Попросив подождать, он ушел.

Вскоре кронштадтцев пригласили на заседание. Комната, несмотря на высокий потолок, была мрачной. За столом, похожим на букву «П», сидели с видом инквизиторов меньшевики и эсеры. Некоторые из них были в офицерской форме. Дубовые стены, увешанные мечами, пиками, секирами и щитами, кресла с высокими спинками, тяжелые бронзовые подсвечники создавали впечатление средневекового судилища.

Выдержав паузу, председательствующий, меньшевик Либер, коротко объявил:

— Вы сдаете оружие без всяких условий. В вашем положении капитуляция — лучший выход.

— На капитуляцию у нас нет полномочий,— ответил парламентер.— Мы пришли не пощады просить, а требовать от имени кронштадтского Совета...

Но его не пожелали выслушать. Прервав кронштадтца, председательствующий ультимативно отчеканил:

— На размышления даем остаток дня и ночь. Если не будет ответа к десяти утра, пеняйте на себя.

Богданов молчал. Кронштадтцы взглянули друг на друга, повернулись и покинули заседание.

Не успели они добраться до вестибюля, как их нагнал молодой офицерик. Щелкнув каблуками, он доложил:

— Вас просят вернуться.

Видимо, у комиссии была прямая телефонная связь с военным округом, который не намерен был церемониться с моряками. Его не устраивало выжидание. Поэтому настроение изменилось и у членов комиссии.

— Срок ультиматума сокращен,— злорадствуя, сообщил Либер.— Вы получаете два часа на размышления.

— Но за два часа, как вы понимаете, мы не успеем ни с кем переговорить.

— Техника нас не интересует. Через два часа ждем определенного ответа.

— Такой срок мы расцениваем как явное издевательство.

— Расценивайте как хотите, вы нам больше не нужны. Можете идти.

Выйдя, кронштадтцы стали совещаться, что им теперь предпринять. Было ясно: противники обнаглели потому, что чувствуют за собой силу. Вдруг дверь распахнулась, их в третий раз позвали на заседание.

— Срок ультиматума вовсе аннулирован,— смотря куда-то в сторону, жестким голосом сказал председательствующий.— Вы должны немедля ответить: складываете оружие или нет?

Он это спросил таким тоном, словно готов был считать до трех, а затем стрелять.

Наглость Либера обозлила Рошаля.

— Мы протестуем против ультимативного тона и отвергаем ваши домогательства,— сказал он.— Товарищам передадим, что здесь издеваются над парламентерами... поминутно меняют решения, словно марионетки, которых дергают за веревочки.

Войска Временного правительства, обойдя Петропавловскую крепость с востока и запада, стягивали кольцо.

Казаки подходили все ближе и ближе. Ими уже был занят парк, заполнены прилегающие улицы и проспекты.

Матросы сумрачно наблюдали за противником. Многие исподтишка поглядывали в сторону моря: не покажутся ли на Неве дымы кораблей, идущих на помощь. Но широкая река была пустынна, даже не виднелось яликов.

К Иоанновским воротам подошел парламентер. Размахивая белым флажком, он стал выкрикивать:

— Эй, в крепости! Вышлите для переговоров своих парламентеров. На размышления — полчаса.

Он повернулся кругом, звякнул шпорами и ушел.

Моряки выбрали для переговоров двух большевиков и одного анархиста. К выбранным парламентерам присоединились офицеры из гарнизона крепости. Они вместе прошли сквозь цепи войск в особняк Кшесинской, где уже хозяйничали штабисты округа.

Шкафы и сейфы были взломаны, ящики письменных столов выброшены. Документы валялись на полу, затаптывались в коридорах и на лестницах.

В большом зале парламентеров встретил штабс-капитан, захвативший особняк. С ним были его помощники и представители ВЦИК.

— Мы от вас требуем полного разоружения,— сказал штабс-капитан,— безоговорочной капитуляции.

— Капитуляции не будет,— ответили кронштадтцы и пригрозили: — К нам скоро подойдет помощь, тогда мы вам покажем такой ультиматум, что ног не унесете. Но, чтобы не проливать крови, мы согласны погрузить оружие на отдельное судно и отправиться на Котлин. Не пойдете на это — будем драться.

Тут вдруг вмешались офицеры Петропавловской крепости.

— Вы ведете себя... мягко говоря, неприлично,— возмутились они.— Находясь в гостях, затеваете какое-то сражение, которое мы не намерены поддерживать. Не забывайте — не вы, а мы хозяева крепости. И будет так, как гарнизон крепости пожелает.

Штабс-капитан как бы нехотя добавил:

— Переговоры ведете не одни вы. Есть договоренность с вашими руководителями. Вы сдаете оружие без всякого сопротивления. Здесь находится представитель Центрального Комитета большевиков, он может подтвердить.

И он показал на худощавого человека, стоявшего в стороне.

Один из моряков подошел к представителю ЦК вплотную и негромко спросил:

— Что же нам — сдаваться?

— Ничего больше не остается. Мы все взвесили. Надо соглашаться... для сохранения сил.

Матросы, сидевшие за пулеметами на валу Петропавловской крепости, вскоре увидели, что их парламентеры возвращаются назад хмурыми.

— Эхма, сдаваться! — определил один из них.— Невеселыми идут. С ними еще какие-то, видно, агитировать начнут.

Так и случилось. Моряков собрали около Меншикова бастиона. Первым перед ними выступил меньшевик Богданов. Он заверил, что прибыл сюда выразить «волю фронта и полномочного органа революции и демократии», которые требуют сложить оружие. Назвав кронштадтцев «поборниками интриг немцев», он принялся запугивать тем, что может произойти, если матросы ослушаются.

Угрозы обозлили моряков.

— Нас ненавидят, а вас любят? — спросил один из них.

— Недавно дрожали, а теперь расхрабрились! — выкрикнул другой.— Сам, смотри, в Неву не угоди!

— Жаль, что не разогнали вашу трусливую шайку! Не отдадим оружия!

Представителю ЦК большевиков пришлось успокаивать матросов. Он поблагодарил их за верность революции и попросил от имени партии большевиков не противиться: добровольно сдать оружие.

— Иного выхода нет,— заверил он.— Партия все взвесила и призывает вас отступить, не принимать боя.

Эти слова охладили матросов. Когда началось голосование, они почти все подняли руки.

— Подчинимся не ультиматуму, а партии большевиков.

Тотчас же во двор крепости въехали грузовики. В их кузова полетели винтовки, палаши, револьверы, пулеметные ленты.

Многие моряки бросали винтовки без затворов, а револьверы без барабанов, чтобы противники не могли ими воспользоваться. Оставшись безоружными, матросы посбрасывали с себя форменки, тельняшки и, улегшись на траву вала, подставляли спины теплым лучам солнца.

— Будем загорать в пользу революции! — шутили они.

Это делалось с умыслом: пусть противники видят — моряки не сломлены и не пали духом.

Солдаты гарнизона крепости оказались гостеприимней офицеров. Сочувствуя морякам, они вынесли на улицу несколько бачков с супом и котел каши.

— Давай, братцы матросы, наваливайся! — пригласил повар.— Отведайте нашей шрапнели.

Матросов долго уговаривать не пришлось. Все они сильно проголодались, поэтому мигом разобрали ложки и принялись за еду.

Вскоре в крепости появились какие-то штабисты и принялись переписывать всех матросов. Те, кого заносили в список, считались свободными, но за ворота их не выпускали.

— В чем дело? — заволновались матросы.

— Пойдете под конвоем,— объяснил штабист.— Иначе фронтовики самосудом порешат.

— А вы не беспокойтесь,— отвечали моряки.— Мы не арестованные, обойдемся без свечек. Тоже защитники нашлись!

Матросы собирались большими группами и выходили за ворота не толпой, а строем: «Пусть видят, признаем мы дисциплину или нет».

Солдаты, стоявшие у стен крепости, в парке и на площади, сбегались к мосту и с любопытством смотрели на моряков. А те, проходя мимо них, шутили:

— Чего глаза пялите? Своих не узнаете? Мы же из-за вас, дурней, бучу подняли!

— Ишь набежали! Надеетесь рога и копыта увидеть? А у нас за спинами — ангельские крылышки. В святые только что записались.

Солдаты, присланные для усмирения бунтовщиков, видя сплоченных и веселых моряков, удивлялись:

— Чего про них болтали! Какие это бандиты? Самые обыкновенные наши годки.

Пехотинцы расступались перед смело шагавшими матросами и говорили:

— Молодцы! Ничего не боятся. Вот и нам надо так держаться. Дружный народ!

Черносотенцы, а порой и обыкновенные обыватели, напуганные демонстрациями со стрельбой, мстили за свой страх: прямо на улицах ловили рабочих, сочувствующих большевикам, били их и тащили в подвалы Главного штаба. На Шпалерной улице был растерзан рабочий Воинов только за то, что вынес из типографии пачку листков «Правды».

Эсеры и меньшевики наконец решили взять власть, но не для того, чтобы передать ее Советам, а помочь контрреволюции расправиться с большевиками. Новое правительство возглавил Керенский. По его указу шли аресты, обыски по всему городу.

Во время налета на особняк Кшесинской юнкерам удалось захватить часть архива военной комиссии. Свердлов обеспокоился. Он знал, что Сулимова секретарствовала в «военке», поэтому зашел к ней и спросил:

— Там могут быть бумаги с вашей подписью?

— Да, непременно,— ответила Мария Леонтьевна.

— Тогда уже сегодня нужно ждать обыска,— предупредил Владимир Ильич.— Вас в худшем случае арестуют, а меня, если обнаружат, «подвесят»,— невесело шутил он.

Оставаться у Сулимовой было рискованно. Надежда Константиновна нашла квартиру на Выборгской стороне и вечером заехала за Владимиром Ильичем.

Чтобы походить на обыкновенного обывателя, вышедшего на прогулку, Ильич натянул на голову светлую панаму, взял трость и вышел с Надеждой Константиновной на набережную Карповки.

Застоявшаяся вода захламленной, почти не имевшей течения речки пузырилась и распространяла неприятный запах. Они прошли мост и повернули вправо. Шли не спеша по самым безлюдным, окраинным улицам.

На Выборгской стороне, под тополями у казарм Московского полка, их ждал пожилой рабочий Каюров. Передав ему Ильича, Надежда Константиновна свернула на другую улицу и ушла к подруге, жившей неподалеку.

Владимир Ильич хотел было поселиться в домике Каюрова, но передумал. У гостеприимного рабочего жить было небезопасно, так как к сыну хозяина приходили какие-то парни, связанные с анархистами. Они возились со взрывчаткой и бомбами. В любой момент могла нагрянуть милиция.

Узнав, что готовится всеобщая забастовка, Владимир Ильич попросил Каюрова проводить его в райком партии. Из райкома на легковой машине его отвезли в деревянный домишко, находившийся возле проходной завода «Русский Рено». Здесь собрались на тайное заседание члены исполнительной комиссии городского комитета большевиков.

Забастовка в наводненном войсками городе могла вызвать лишь ярость карателей. Партия обязана была действовать обдуманно и осторожно. Владимир Ильич решительно высказался против забастовки.

— Мы ничего не выиграем, а потеряем много,— сказал он.— Надо отступить организованно и сохранить силы для будущей борьбы.

Тут же он взялся писать листовку, призывающую рабочих выйти на работу.

На суд не являться

Двоевластие кончилось: страной управлял «социалист» Керенский, выдвинутый на пост премьер-министра эсерами и меньшевиками.

Поздно ночью правительство Керенского приняло решение арестовать Ленина, Зиновьева и Каменева якобы за измену и подстрекательство к мятежу против законной власти. Появились призывы к населению, требующие сообщать о месте пребывания «заговорщиков», содействовать их поимке и аресту.

В кулуарах Таврического дворца распространились самые невероятные слухи. Кто-то выдумал, что один из редакторов большевистской «Правды», бывший член Государственной думы — питерский рабочий Николай Полетаев,— был сотрудником царской охранки.

Услышав это от меньшевика, славившегося умением раздувать небылицы, вспыльчивый грузин Серго Орджоникидзе обозвал болтуна мерзавцем и пообещал, если услышит еще раз что-либо подобное, набить физиономию. Но когда разобиженный распространитель слухов поспешил уйти подальше от него, Серго все же встревожился. Он знал, что в этот день Владимир Ильич должен был перейти к Полетаевым.

Орджоникидзе немедля разыскал на втором этаже Сталина, рассказал ему об услышанной клевете и спросил:

— Что будем делать, Коба? Сейчас поверят всякому слуху. Кому-нибудь взбредет арестовать Полетаева. А там Ленин. Надо предупредить и помочь перейти в другое место.

Вместе они пошли на Мытнинскую улицу к Полетаевым, где не раз находили приют сами. У Полетаевых очень развито было чувство товарищества, в самые опасные времена они гостеприимно укрывали «нелегалов».

Дверь в квартире Полетаевых сказалась запертой. На стук никто не отозвался.

«Как быть дальше? Может, Ильич находится здесь, но по конспиративным соображениям не подходит к двери».

Вскоре во дворе показалась жена Полетаева, Анастасия Степановна. Это была милая, удивительной души женщина, умевшая переносить все невзгоды семьи профессионального революционера и оставаться гостеприимной и веселой.

— Вы давно меня ждете? — спросила она.— Очень рада, товарищи, заходите. У меня есть бублики к чаю.

— Спасибо за приглашение, но мы не располагаем временем,— сказал Орджоникидзе.— Нам надо кое-что у вас узнать.

Пропустив их в квартиру, Анастасия Степановна закрыла дверь на крюк и спросила:

— Вы слышали, какую чушь про моего Николая распространяют?

— Как же, одному болтуну сегодня чуть физиономию не набил,— ответил Серго.

— Значит, не верите? — обрадовалась она.— А Николай переживает. Не хотел из дому уходить. «Пусть арестуют, я на суде докажу!» Но какой сейчас суд? Насилу вытолкала.

— А Владимира Ильича куда дели? — спросил Сталин.

— Он недалеко... к Аллилуевым перешел. Могу провести вас, товарищ Коба.

— Спасибо, дорогу к Аллилуевым знаю... даже жильцом у них числюсь. Только никак не соберусь в свою комнату окончательно перебраться.

Попрощавшись с Полетаевой, Сталин повел Серго на Десятую Рождественскую.

Перейдя на квартиру к Аллилуевым, Владимир Ильич решил больше не скитаться по городу: бессмысленно это да и не безопасно.

Обсудив свое положение, он пришел к выводу, что иного пути не осталось,— надо явиться в прокуратуру и потребовать, чтобы суд был гласным. О своем решении Владимир Ильич сообщил Марии Ильиничне и Надежде Константиновне, когда они пришли его проведать. Женщины были потрясены. Они обеспокоенно смотрели на Ильича, не зная, что ему ответить. Первой пришла в себя Мария Ильинична.

— Ни в коем случае! — воскликнула она.— Никому сейчас нельзя доверяться! Я собственными глазами видела, как гостинодворцы избивали мастерового только за то, что он усомнился в вашем шпионстве. Вас до суда не доведут, расправятся на улице.

— Но можно договориться так, что нас не поведут по улицам,— возразил Владимир Ильич.— Мы сами придем к ним и скажем: «Арестуйте нас».

— Все равно безумие! — твердила Мария Ильинична.— Вы же взрослые и умные люди, как не понимаете... Если вас не убьют, то обязательно сделают все, чтобы как можно дольше не выпускать из тюрьмы...

На глазах ее выступили слезы. Владимир Ильич пытался успокоить сестру:

— Маняша, я не узнаю тебя. Ну, как не стыдно! В тебе заговорила сестра, а не здравый политик. Меня же обвиняют в измене, пойми! Это — пятно на всю партию. Мы руководители. Мне нельзя прятаться. Я обязан выступить на суде и припереть клеветников к позорному столбу! Так большевики всегда делали, даже если грозила смерть.

— Я не знаю, какими словами тебя разубедить, но сердцем чувствую, что нельзя отдаваться на суд врагов, да еще разъяренных. Это глупость... самоубийство!

Владимир Ильич возражал сестре, но уже не так уверенно, как прежде.

Надежда Константиновна тоже не могла примириться с мыслью, что завтра он уже будет за решеткой. Но она понимала Ильича и не вмешивалась в спор, чтобы не повлиять на решение.

Когда пришли сперва москвич Ногин, а чуть позже — Сталин и Орджоникидзе, Владимир Ильич обратился к товарищам: а что же они по этому поводу скажут?

Первым заговорил Ногин:

— Мне думается, вам бы следовало явиться на суд. Иначе от нас многие отвернутся. Скажут: «Раз прячутся, значит, совесть нечиста». А наша совесть не запятнана. Кто же лучше вас, Владимир Ильич, сумеет снять обвинение с партии и дать бой на гласном суде?

— Все это логично,— вставил Сталин.— Но юнкера до тюрьмы не доведут, убьют по дороге.

— Я бы не явился,— сказал Орджоникидзе.

— И я об этом твержу,— продолжала свое Мария Ильинична.— Ведь ни за что нельзя ручаться.

Владимир Ильич в душе соглашался с сестрой, но его смущала логика Ногина.

— А вы уверены, что суд будет гласным? — спросил Ленин у Ногина.

— Надо надеяться,— уже теряясь, ответил Ногин.— Как же иначе? Мы будем требовать.

— Если так, то больше никаких разговоров не может быть! — заключил Владимир Ильич.— Идите и договаривайтесь, чтобы суд был гласным. Я этих подлецов выведу на чистую воду... Узнают, как пускать в ход клеветнические обвинения.

Больше он не желал слушать ни доводов сестры, ни товарищей, твердил только одно:

— Все решено: добровольно сажусь в тюрьму и... никаких разговоров!

Все умолкли. Наступила тягостная пауза.

— Надя,— вдруг обратился Владимир Ильич к жене.— Очень прошу... сходи к Каменеву и сообщи о нашем решении. Только пусть самостоятельно ничего не предпринимает. Надо все тщательно продумать.

Надежда Константиновна поднялась и стала собираться в путь. Вид у нее был такой несчастный, что Владимир Ильич невольно подумал: «Сколько она переносит из-за меня! Вот и сейчас может наткнуться на засаду, а идет безропотно».

— Надюша, я передумал: тебе не следует ходить. Мы пошлем кого-нибудь другого.

— Нет, нет... Зачем другого?

И Надежда Константиновна, словно боясь, что ее задержат, направилась к двери. Владимир Ильич не мог ее так отпустить. Задержав, он повернул ее лицом к себе и сказал:

— Давай попрощаемся, может, не увидимся уж.

Целуя жену, Владимир Ильич вдруг ощутил вкус соли. «Значит, плакала,— подумал он,— и постаралась сделать это незаметно».

В этот момент и у товарищей невольно сжались сердца: «Неужели партия останется без Ленина?» И это тоскливое чувство не проходило.

Когда Надежда Константиновна ушла, Ногин вызвался сходить в Таврический дворец и договориться о технике ареста и содержания в тюрьме.

— Буду разговаривать с Анисимовым, как член президиума с членом президиума,— пообещал Виктор Павлович.— Хоть Анисимов и меньшевик, но донбасский рабочий, с ним легче столковаться.

— Хорошо,— согласился Владимир Ильич,— добивайтесь, чтобы мы попали в Петропавловскую крепость. Ее гарнизон нам сочувствует. Солдаты не позволят юнкерам расправиться. В крайнем случае соглашайтесь на «Кресты», но требуйте абсолютной гарантии, что суд будет гласным.

Тут же договорились, что если Анисимов окажется покладистым человеком, то пусть вечером без всякого конвоя подъезжает на автомобиле к Восьмой Рождественской улице, заберет тех, кто будет с Лениным, и отвезет прямо в тюрьму.

Вместе с Ногиным на переговоры отправился и Серго Орджоникидзе. Придя в Таврический дворец, они вызвали в коридор Анисимова и по секрету сообщили ему о решении Ленина добровольно сдаться властям и сесть в Петропавловскую крепость. Тот нахмурился. Меньшевику явно не понравилось решение Ленина.

— С Петропавловской ничего не выйдет,— сказал он.— Там ваш Ленин всех к своим рукам приберет. Чего доброго, комендантом сделается... Останется под такой охраной, что к нему не подступишься. Не-ет, братцы, не выйдет, придется ему посидеть в «Крестах». Ну, а там, как положено, предпримем кой-какие меры для охраны.

— Что значит «кой-какие»? — возмутился Орджоникидзе.— Это Ленин! Понимаешь? Не простой арестованный. Если с ним что приключится, мы вас всех разнесем! Камня на камне не оставим! Сам первый в тебя стрелять буду.

— Ну, ну, не пугай,— остановил его Анисимов.— Я не из робких. Чего вы от меня хотите? Что я вам могу пообещать, когда не знаю, где к вечеру сам буду? Вишь, как офицерье озверело! Может, завтра за нас примутся.

Анисимов понимал, какая ответственность ложится на него, если арестуют Ленина. От волнения на лбу и носу донбассовца выступили росинки пота. Он то и дело облизывал пересыхавшие губы.

Почувствовав, что охваченный страхом меньшевик никаких гарантий дать не может, Орджоникидзе решительно сказал:

— Мне все ясно. Мы вам Ленина не отдадим!

В Таврическом дворце ему больше делать было нечего; оставив Ногина, Серго вышел на улицу и поспешил к Аллилуевым. Он был так расстроен, что не заметил идущего навстречу Луначарского. Тот остановил его.

— Серго, что с вами? Почему такой сердитый?

Негодуя, Орджоникидзе рассказал о переговорах с Анисимовым. Серго было известно, что Луначарский ратует за явку на суд, а тут он вдруг стал отговаривать:

— Скажите Владимиру Ильичу, чтобы ни в коем случае не попадался им в руки. Я уже был схвачен на Невском... побывал в подвалах Главного штаба. Знаю, что там творится. Они готовы над каждым из нас учинить самосуд. Меня спасли знакомства и мандат члена ЦИК. Но и он скоро не будет действовать. С Советами никто не считается. Контрреволюция входит в раж. Пусть Владимир Ильич немедля уходит в подполье.

— Спасибо, Анатолий Васильевич,— сжав его руку, поблагодарил Орджоникидзе.— Я тоже так думал. Обязательно все передам.

Надежда Константиновна тем временем выполняла поручение Владимира Ильича.

Поднявшись по лестнице на полутемную каменную площадку, она посмотрела вниз: не крадется ли кто следом? С улицы никто не входил, значит, не следят. Надежда Константиновна нажала кнопку звонка.

Дверь открыла непричесанная и очень бледная жена Каменева. Чувствовалось, что эта женщина не одну ночь провела в тревоге: глаза с покрасневшими веками горели сухим блеском. Пропустив нежданную гостью в переднюю, хозяйка не без опаски спросила:

— Никто не видел, что вы к нам прошли?

— Нет, я проверила. «Хвоста» за собой не веду, не волнуйтесь.

— Меня удивляет... как вы решились в такие дни прийти на квартиру? Это не очень конспиративно. Ведь Владимира Ильича, кроме всего, обвиняют в шпионаже. За вами усиленная слежка, а вы вот так свободно расхаживаете по городу.

Услышав голос Крупской, в прихожую выглянул Каменев. Он был без пиджака. Усы и борода не пушились по-обычному, а выглядели так, словно он только что поднялся с постели. Узнав, с каким поручением пришла Надежда Константиновна, Каменев недовольно сказал:

— Зря вас затрудняли. Я сам пришел к такому же выводу. Хорошо сделают, если явятся на суд. Но обо мне пусть не беспокоятся. Буду действовать самостоятельно.

Чувствовалось, что Каменев недоволен.

«Жена близка к истерии,— подумала Надежда Константиновна.— Но он-то ведь мужчина, как не

стыдно!» Но вслух она не высказала осуждения, а лишь холодно пообещала:

— Хорошо, я передам ваше желание.

Очутившись на улице, Надежда Константиновна решила не возвращаться к Аллилуевым. «А то действительно еще какого-нибудь шпика подцеплю». Найдя за углом извозчика, она поехала на Петроградскую сторону. Надо было предупредить Елизаровых и самой подготовиться к обыску.

Предчувствие не обмануло. Вечером явились офицеры контрразведки. Один отрекомендовался полковником, другой — длиннолицый и мокрогубый — молчал. Прежде чем приступить к обыску, полковник, пытливо глядя в глаза Крупской, спросил:

— А вы нам не скажете, где сейчас находится Ульянов-Ленин?

— Представления не имею,— честно ответила она, а про себя подумала: «Значит, он не объявился, иначе они бы не спрашивали».

Офицеры в елизаровские комнаты не пошли, обыскали только одну, забрали найденные в ящике стола записки, документы и ушли.

Утром Надежда Константиновна узнала, что товарищи убедили Владимира Ильича на время скрыться и дождаться решения съезда партии. Съезд будет недели через две, на нем и решат, как быть с явкой на суд. Это ее обрадовало и одновременно озаботило: подыщут ли они безопасное место?

На следующий день дом на Широкой улице окружили прибывшие на грузовиках юнкера. Они оравой ворвались в квартиру и потребовали выдать Ленина.

— Его нет дома,— сказала Анна Ильинична.

— А это кто? — указав на ее мужа, спросил офицер, руководивший юнкерами.

— Мой муж, Марк Тимофеевич Елизаров.

Юнкера не поверили ей. Схватив Марка Тимофеевича, охамевшие юнцы стали у Крупской допытываться, кто ими пойман. Ее ответ их не удовлетворил. Они позвали домашнюю работницу Аннушку, безграмотную деревенскую женщину. Но та сказала то же самое.

— Хитрит, подлюга! — сказал офицер.— Видно, из одной шайки. Обыскать кухню!

Юнкера рьяно кинулись обыскивать владения Аннушки. Они сунулись в кладовую, вытряхнули вещи из деревенского сундучка и проткнули штыком свернутую постель.

— В духовке посмотрите, может, он там сидит,— обозлясь, посоветовала им Аннушка.

— Ах, она еще издевается? Арестовать!

К полуночи, когда в квартире были разворошены постели, перевернута мебель, разбросаны книги и белье, юнкера вывели на улицу Марка Тимофеевича, Надежду Константиновну и Аннушку, усадили их в открытый грузовик и под усиленной охраной отвезли в Главный штаб.

В большом зале «арестантов» посадили на изрядном расстоянии друг от друга и около каждого поставили по часовому.

Увидев бородатого Елизарова, по штабу кто-то пустил слух, что привезли самого Ленина. В зал стали заглядывать любопытные. Вскоре здесь скопилось десятка три озлобленных офицеров. Всячески понося Марка Тимофеевича, они готовы были расправиться с ним самосудом. Хорошо, что в этот час появился полковник, который делал первый обыск в комнате Ленина. Он прикрикнул на расшумевшихся офицеров и, внимательно посмотрев на арестованных, с досадой сказал:

— Это не те люди, которые нам нужны. Кто их привез?

Но никому не хотелось сознаваться. Полковник выждал и заметил:

— Вот так привозят бог знает кого, поэтому все камеры битком набиты! Освободить арестованных и отправить туда, где взяли,— приказал он.

Юнкера, конечно, не стали возиться с ненужными арестованными. Они вывели их на Дворцовую площадь, походившую в эту ночь на военный лагерь, провели через цепь часовых и у здания Адмиралтейства отпустили.

Дворцовый мост через Неву уже был разведен. Елизарову пришлось найти всем более спокойное место на набережной и на гранитной скамейке у спуска к реке дождаться рассвета.

Пьяный поезд

К слесарю Сестрорецкого оружейного завода Емельянову под вечер зашел секретарь райкома Вячеслав Иванович Зоф. Покурив с хозяином во дворе, латыш, словно любопытствуя, спросил:

— Николай Александрович, дом-то у тебя по наследству или у владельца снимаешь?

— Где теперь такой дом снимешь? Собственными руками выстроил,— ответил Емельянов.— Болото здесь было. Бывало, приду с работы, впряжемся вместе с женой в тачку и всю ночь песок да землю возим. И сад сами разделывали. Березки вот такусенькими посажены, а теперь, гляди, какими вымахали! И кусты разрослись. Проредить бы надо, да все руки не дойдут.

Зелень действительно густо разрослась около дома и вдоль забора. Она хорошо прикрывала двор от постороннего глаза.

Секретарь райкома прошелся по «владениям» Емельянова, заглянул в сарай, приспособленный под жилье, в баньку, постоял в раздумье около пруда. Емельяновский двор имел два выхода: один на улицу, другой — на пруд, подходивший к самому забору. Здесь стояли на привязи две лодки. В случае надобности можно было взять одну из них, по пруду добраться до протоки, соединяющей с озером Разлив, и уплыть в сторону леса, видневшегося вдали.

— Детей у тебя много? — допытывался Зоф.

— Пожаловаться не могу. Хватает. Жена одежонку не успевает шить. Хорошо, лето сейчас: обуви не надо.

— Она ведь у тебя член партии?

— А будто ты не знаешь? Кондратьевной называл, когда литературу прятали. Лучше давай не крути, Вячеслав Иванович, выкладывай прямо: зачем пожаловал?

— С очень серьезным делом... Центральный Комитет поручает тебе укрыть Ленина. Он, возможно, будет не один. Справишься с таким делом?

Предложение было неожиданным. Емельянов растерялся, но долго не раздумывал и сказал:

— Раз надо, так надо. Постараюсь.

— А где ты его укроешь?

— Еще не знаю, но найду место... Не сомневайтесь.

— Обдумай хорошенько. Ведь жизнь Ленина будешь оберегать. Часа через два-три скажешь мне, что и как. Только чтоб, кроме жены, никто не знал.

— Понятно, не первый год на подпольной.

Когда секретарь райкома ушел, Емельянов задумался: куда же ему спрятать Ленина? Дом, как на грех, ремонтируется — стены обшарпаны и полы разобраны. Поселить в сарае, где сам с семьей разместился, тесновато будет да и неудобно...

Николай Александрович заглянул в баньку, в которой жена стирала белье. Рассказав ей о предложении Зофа, он горестно развел руками.

— Пообещал, а девать вроде некуда. В баньку эту, что ли?

— Ну, что ты, Николай! Куда она годится? — возразила Надежда Кондратьевна.— Да и вообще в нашем дворе не очень-то удобно: дачники вокруг, да и соседи чужих людей приметят. Лучше бы в лес куда-нибудь, за озеро. Намедни Валерка со своим покосом набивался. Место у него глухое, кустарником заросло...

Многие сестрорецкие рабочие еще с петровских времен имели за озером свои покосы, переходившие по наследству от отцов. Некоторые бобыли, вроде Валерия Игнатьева, давно не обкашивали свои луга, а за небольшие деньги сдавали в аренду.

— Верно,— обрадовался Николай Александрович,— свезу туда косы, шалаш построю, а если кто спросит, скажем, что чухон наняли. Молодчина ты у меня, сообразила.

Все, что придумали Емельяновы, секретарь райкома одобрил. Возник только вопрос: как безопасней перевезти Ильича из Петрограда в Разлив?

— Лучше всего на последнем поезде,— предложил Емельянов.— Он идет во втором часу ночи, всегда переполнен подгулявшими пассажирами. Не зря же его называют пьяным! В таком легче проехать незаметно.

Собираясь в Разлив, Владимир Ильич вспомнил о Каменеве и послал к нему с запиской жену Аллилуева Ольгу Евгеньевну. У Каменевых Аллилуеву встретили настороженно. Сперва даже не хотели впускать, разговаривали через приоткрытую дверь, которая была на цепочке. А узнав, что незнакомая женщина пришла с запиской от Ленина, жена Каменева рывком втянула ее в прихожую, закрыла дверь на крюк и с явным раздражением сказала:

— Мы же просили никого не присылать... Хотя бы на эти дни избавил нас от своего внимания!

Нехотя взяв записку, она ушла куда-то в комнаты и, вернувшись через несколько минут, с каким-то торжеством сообщила:

— Лев Борисович не поедет. И вообще... обойдемся без учителей. Письменного ответа не будет.— Затем она приоткрыла дверь, выглянула на лестничную площадку и, убедившись, что там никого нет, сделала жест, предлагающий быстрей покинуть квартиру.

Вернувшись домой, Аллилуева с обидой рассказала, как ее приняла Каменева. Владимир Ильич смущенно развел руками.

— Дорогая Ольга Евгеньевна, простите, никогда не думал, что она столь несдержанна. И он тоже хорош — не мог сам выйти. Ну, что ж, не хочет, так не хочет! А нам надо сегодня же выбраться из города. Сергей Яковлевич! — обратился Ленин к хозяину квартиры.— Где карта города? Нам следовало бы внимательней изучить маршрут.

— Не беспокойтесь, я пойду с вами... Проведу по самым безопасным улицам,— пообещал Аллилуев.

— Охотно верю,— согласился Владимир Ильич.— Но ничего не могу поделать с застарелой привычкой конспиратора: все должен знать сам. Вдруг нас в пути разъединят? Что же, будем плутать по ночным улицам и расспрашивать?

— Пожалуйста, карту я раздобыл.

Аллилуев работал на электростанции. Он не раз в ночную пору с далеких окраин пешком возвращался домой. Развернув на столе план столицы, Сергей Яковлевич карандашом прочертил путь к Новой Деревне, где в те времена находился Приморский вокзал.

Владимир Ильич стал внимательно изучать маршрут, стараясь запоминать названия улиц, переулков и набережных.

Вечером из Таврического дворца пришел Сталин. Все собрались в его комнате и стали обдумывать: как изменить вид отъезжающих, чтобы они не выделялись в толпе? Ольга Евгеньевна предложила забинтовать Владимиру Ильичу лицо, так как усы и борода могли выдать его. Она работала сестрой в военном госпитале, за войну наловчилась накладывать хорошие повязки. Взяв широкий бинт, Аллилуева посадила Ильича к зеркалу и стала так забинтовывать лоб, подбородок и лицо, что оставались лишь узкие щели для глаз, носа и рта.

— Нет, не годится,— запротестовал Владимир Ильич,— привлеку внимание. «Откуда этакое чудище идет? — спросит каждый.— Не участвовал ли он в перестрелке на Садовой?» Лучше усы и бороду сбрить.

Ольга Евгеньевна и сами видела, что с повязкой Ленин стал похож на уэллсовского человека-невидимку, поэтому немедля сняла бинт. Она пошла на кухню за кипятком, а Сергей Яковлевич принес машинку для стрижки волос и бритву.

С бритым лицом Владимир Ильич стал не похож на себя.

У Аллилуевых нашлась ему и подходящая одежда. Синяя косоворотка, рабочая куртка и старое, порыжевшее пальто хозяина пришлись ему впору. Он надвинул на лоб поношенную кепку и спросил:

— Ну, чем не обрусевший финн?

— Прямо чухна,— смеясь, заверила Ольга Евгеньевна.

Решено было ни трамваем, ни извозчиком не пользоваться, а весь длинный путь пройти пешком.

На улицу выбрались не все сразу. Сперва вышел Аллилуев. Он огляделся по сторонам, нет ли где поджидающих сыщиков, и не спеша зашагал по краю тротуара. За ним последовали и другие. Шли на небольшом расстоянии друг от друга по плохо вымощенным окраинным улицам и переулкам, куда редко заглядывали юнкера и офицеры. Но и тут, несмотря на поздний час, было людно: у пекарен и продуктовых лавок стояли длинные очереди, разъезжали конные патрули.

Спокойней стало, когда прошли Литейный мост и попали на Выборгскую сторону. Здесь путь проходил мимо работавших, освещенных электрическими огнями предприятий: завода «Старый Леснер», сладко пахнущего сахаром «Кенига», прядильной фабрики Воронина, дизельного завода Нобеля, снарядного — Парвиайнена, гильзового — Барановского. Сюда боялись заглядывать шпики Керенского и каратели Главного штаба. Рабочие не позволили бы арестовать кого-нибудь из своих.

Неподалеку от Строгановского моста на набережной Малой Невки в самом темном месте под тремя деревьями их ждал Емельянов. Впереди виднелась слабо освещенная площадь и вырисовывались очертания вокзала.

— Билеты я купил,— негромко сообщил Емельянов.— Но на вокзале показываться опасно: полно солдат. Они сейчас сотнями бегут с фронта. Мож-

но угодить в облаву на дезертиров. И на перроне толкаться не следует. Лучше я вас проведу через товарную станцию под вагонами. Выйдем прямо к нашему поезду. Я проверил.

— Очень хорошо, что вы проверили,— похвалил его Владимир Ильич.— С вами пойдем только мы вдвоем с Григорием. Меня прошу звать Николаем. Провожающие пусть пройдут через вокзал на перрон, наблюдают и больше к нам не подходят. Попрощаемся здесь.

Аллилуев хотел обняться, но Владимир Ильич заметил, что это не конспиративно, и коротким движением крепко пожал руку.

Емельянов повел их через ворота товарной станции. Они пробирались по запасным путям, пролезая под пустые вагоны, пахнувшие то известкой, то карболкой. Минут через пятнадцать наконец выбрались к дачному поезду, готовому к отправке. Поднявшись на переднюю площадку последнего вагона, они осмотрелись. Их товарищи, прошедшие через станцию, уже прохаживались по краю перрона. Какие-то типы с красными повязками на рукавах заслоном стояли посредине и всматривались в лица пробегавших пассажиров.

Раздался третий звонок. Владимир Ильич даже не решился помахать рукой провожающим, а простился с ними кивком головы.

Поезд не зря назывался пьяным. В вагоны набилось много подгулявших дачников и нетвердо стоявших на ногах жителей пригородов. Одни из них шумно разговаривали и смеялись, другие осоловело сидели на скамьях и покачивались.

Владимир Ильич внутрь вагона не прошел. Он уселся с левой стороны на край площадки и спустил ноги со ступеньки.

— В случае чего можно спрыгнуть,— сказал он при этом Емельянову,— поезд идет не очень быстро. Сделаем вид, что проветриваемся с похмелья.

— Не упасть бы вам,— забеспокоился Емельянов.

— Ничего, у меня руки цепкие.

Лахта славилась своим летним рестораном, в котором, несмотря на запрет, можно было за повышенную плату раздобыть спиртное. Сюда обычно прикатывали гулять переодетые в штатское офицеры, не желавшие попадаться на глаза строгому столичному коменданту.

В эту ночь на Лахтинском вокзале ожидала поезд большая компания гуляк. Все они ринулись к последним вагонам. Емельянов, боясь, что вся компания вобьется в один вагон и захватит площадку, умышленно растянулся поперек прохода, словно был смертельно пьян.

— Господа! Здесь какая-то пьяная рожа лежит,— предупредил вскочивший на подножку франт в белой манишке и котелке, сдвинутом набекрень.— Занимайте соседний ковчег... Тот как будто опрятней.

Гуляки с двух сторон стали подниматься в соседний вагон и проходить внутрь. На площадке никого не осталось. Из открытых окон доносились их громкие голоса и смех. Когда поезд тронулся с места и покатил дальше, послышалось нестройное пение:

С вином мы родились, с вином и помрем,
С вином похоронят и с пьяным попом...

— Не нравится мне эта компания,— поднявшись, сказал Емельянов.— Вы тут побудьте, а я пойду погляжу.

Он прошел в соседний вагон и, побыв там некоторое время, вернулся.

— Так и знал, переодетые офицеры,— сообщил он.— Едут куда-то догуливать.

Вскоре на открытой соседней площадке появился упившийся офицерик. В вагоне ему, видно, было душно. Рывком ослабив петлю галстука, он расстегнул ворот рубашки и, ухватившись за поручни, далеко высунулся, подставив голову под струю свежего воздуха. Придя в себя, переодетый офицерик вдруг решил навести порядок на соседней площадке.

— А там кто сидит на ступеньке? — стараясь перекричать стук колес, спросил он у Емельянова.— Кандидаты на тот свет?

Не слыша ответа, молодой офицерик свесился, стараясь заглянуть в лица сидящих. Емельянов, боясь, что он свалится, строго прикрикнул:

— Не безобразничайте, ваше благородие... стойте как следует, а то вывалитесь.

Офицер перестал свешиваться, но ему не понравился сердитый окрик рабочего. Опираясь спиной о стенку тамбура, он поднял палец и пригрозил:

— Но-но, не очень-то! Скоро мы вас этак...— Он взял конец галстука и показал, как будет вешать рабочих.— Понял?

В другое время Емельянов показал бы этому молокососу, как рабочий человек отвечает на угрозы, но сейчас рискованно было связываться с плюгавым гулякой. Когда офицер, покачиваясь, ушел в вагон, Николай Александрович обеспокоился:

— Сейчас вернется с кем-нибудь и начнут задирать. На остановке надо будет сойти.

В Раздельной вдруг вся лахтинская компания высыпала из вагона. Оказывается, где-то здесь неподалеку размещался женский «батальон смерти». Офицеры, захватив из ресторана закуски и выпивку, прикатили к воинственным девицам прощаться с белыми ночами.

Дальше поезд потащился без этой шумной компании. Но Емельянов был настороже: он стал спиной к своим спутникам и приготовился дать отпор каждому, кто выйдет на площадку и вздумает поинтересоваться пассажирами, сидящими на подножке. Зиновьев сидел беспокойно, то и дело озирался, а «Николай», прислонясь головой к поручню, глядел на бегущую землю и вдыхал запахи сосен, морских дюн.

— Сейчас будет Разлив. Слезайте со своей стороны,— предложил Емельянов.

Спрыгнув на испачканную мазутом землю, они пошли по улице, на которой ноги утопали в желтом сыпучем песке. По пути Емельянов объяснил, что первое время гостям придется ютиться на сеновале, а потом он их перебросит на покосы.

— Как зовут вашу жену? — спросил Владимир Ильич.

— Кондратьевной,— ответил Емельянов.— Она у меня тоже партийная.

— Это хорошо. Но на всякий случай предупредите, чтобы о нас никому ни слова. Даже если будут говорить гадости про меня, пусть не заступается.

— Скажу, но она и без меня знает. Пережила многое, привыкла язык за зубами держать.

Надежда Кондратьевна не спала. Встретила ночных гостей приветливо:

— Прошу поужинать... а может, верней-то будет — позавтракать. Скоро светать начнет.

— Спасибо, мы ужинали,— поблагодарил ее Владимир Ильич.— А вот от горячего чая не отказались бы. Продуло на подножке.

— Только у нас с сахарком плоховато,— преду-

предила Надежда Кондратьевна.— Вприкуску придется.

— А мы сахар захватили,—сказал Владимир Ильич и передал объемистый сверток, полученный от Аллилуевых.

В свертке, кроме кускового сахара, оказались пряники, галеты, банка консервов и два кулечка с крупой.

Усадив гостей за накрытый стол, хозяйка ушла к плите, где тонко попискивал большой чайник.

Сарай, обжитый Емельяновыми, походил на просторную кухню, стены которой были оклеены дешевыми обоями. В дальнем углу виднелась широкая кровать и детская люлька. Емельяновские мальчишки, спавшие на сеновале, услышав незнакомые голоса, стали один за другим спускаться по узкой лесенке вниз и выстраиваться вдоль стены.

— Сколько же их у вас? — суховато спросил Зиновьев.

— Семь ртов,— ответил Николай Александрович.— Рабочий человек только ребятишками и богат.

— Что же нам не сказали, что у вас столько детей?

— Видно, не знали. Но вы не огорчайтесь. Они вам не помешают, ребята послушные,— стал уверять хозяин.

Владимир Ильич с укоризной взглянул на Зиновьева и пригласил мальчишек к столу.

— Ну, друзья, давайте знакомиться,— сказал он.— Тебя как зовут?

— Лева,— ответил малыш.— А это мой братик Толя.

Пожимая парнишкам руки, Владимир Ильич спрашивал имена, точно стараясь запомнить, повторял:

— Николай, Сергей, Александр... значит, самый маленький Лева?

— Нет, самый махонький Гоша, он еще в люльке качается,— поправил хозяин.

— А седьмой куда пропал? — поинтересовался Ильич.

— Седьмого Кондратием зовут. От рук он у нас отбился: в анархисты записался. Теперь по ночам колобродит,— пожаловался Николай Александрович.

— Как же так, у родителей-марксистов... сын анархист?

— В коммерческое училище его отдали, думали, человеком будет, а там парням головы задурили. Какие-то «безначальцы» объявились, на сборища свои заманивают.

— Хм, это не очень приятно. А он не проговорится... не скажет, что мы у вас остановились?

— Нет, такое не позволит... все же он мой сын,— уверенно сказал Емельянов.— Ребята у нас приучены, знают: если с отцом беда приключится, то им плохо будет. Только вот Кондратий шалый. Поговорили бы вы с ним, Владимир... то бишь, простите, Николай, может, вас послушается.

— Хорошо, попробую. Обязательно познакомьте меня с ним. Только прошу не забывать моего нового имени.

Малыши, получив по прянику, вновь убрались на сеновал, а старшие ребята, Александр и Сергей, попив с гостями чаю, стали помогать матери мыть посуду и убирать со стола.

Уже начало светать. Где-то у соседей пропел петух. Хозяин предложил гостям свою кровать, но те предпочли спать на сеновале. Постель им устроили не в том углу, где располагались ребята, а в противоположном. Улегшись на сухое прошлогоднее сено, источавшее едва уловимый запах осоки и мяты, Зиновьев недовольно сказал:

— Ну и подобрали же нам нелегальную квартиру! Если бы знал, что здесь такая орава, никогда бы не поехал.

— А на что вы рассчитывали? — поинтересовался Владимир Ильич.

— Поселиться на какой-нибудь пустующей даче... на худой конец в доме малосемейного лесника.

— Мне думается, что появление таинственных жильцов в пустующей даче или в лесу скорей бы привлекло внимание ищеек. Нам ведь надо питаться, получать газеты, отсылать письма и статьи, принимать связных. Только здесь, в рабочем поселке, это будет выглядеть естественно. Хозяйка может запасать еду ребятишкам, газеты для оклейки стен ремонтируемого дома. Меня смущает другое: мы же навлекаем смертельную опасность на них. Поражает самоотверженность Емельяновых: они же рискуют жизнью детей.

(Окончание следует.)

СТИХИ

Бронислав Кежун

Дворец и крепость

Здесь город взял свое начало,
Поставлен волею Петра...
Летя с причала до причала,
Перекликаются ветра.

Дворцов громады по равнине
Плывут, как в море корабли,
А возле туч, в небесной сини,
Перекликаются шпили.

Им хорошо, ведь небо рядом!
Они остры и высоки,
Они блестят над Ленинградом,
Как Красной гвардии штыки.

Они как мачты и как пики!
А на заре, а на заре
Их золотящиеся блики
Подобны точкам и тире.

Ведут беседу незаметно,
Над утренней подъяты мглой,
Шпиль Петропавловки — с заветной
Адмиралтейскою иглой.

Прислушайся — и память снова,
Минуя весен рубежи,
Как свет фонарика ночного,
По стенам камер побежит.

О Петропавловская крепость!
Черным-черна, черным-черна
Твоих тюремщиков свирепость
И казематов тишина.

Два века, днями и ночами,
Через Неву глядела ты,
А Зимний окнами-очами
Смотрел на старые форты.

Здесь, где в наручники свободу
Царь запирал из года в год,
Во дни семнадцатого года
Вооруженный встал народ.

И крепость — страж былой России,
Оплот двуглавого орла,
В своей истории впервые
На Зимний дула навела.

Тот миг — как щелканье затвора...
Он словно тьму с высот согнал,—
Сигнал над крейсером «Аврора»,
Над Петропавловкой — сигнал!

И был суров, как свод законов
И как пришествие конца,
Огонь, хлеставший с бастионов
По стеклам Зимнего дворца.

Вспышками огня неопалима,
Дрогнула рокочущая высь —
И тогда на тонких стеблях дыма,
Как цветы, ракеты поднялись.

Будто, приоткрыв свои тычинки,
Вырос белых лилий целый лес,
Будто всплыли желтые кувшинки
В темно-синем озере небес.

Астрами, купавами-цветками —
За букетом сыпался букет,
Синими, как море, васильками,
Красными тюльпанами ракет.

Радугой, что много раз приснится,
Сказочной жар-птицею в ночи...
Лишь мигали длинные ресницы —
Медленно плывущие лучи...

Так цветным кипящим звездопадом
В 22 часа 00 минут
Над смотрящим в небо Ленинградом
Праздничный рассыпался салют.

Долго-долго над Невой широкой
Он переливался и не гас,
Отраженный тысячами окон,
Повторенный тысячами глаз.

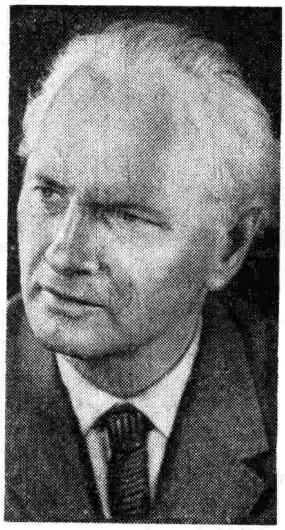
На острова пришла весна:
За шагом шаг, от сада к саду,
Передвигается она
По солнечному Ленинграду.
Она берет свои права,
Куда мы только взгляд ни бросим:
На поле Марсовом трава
Зазеленела, словно озимь.
По скверам у Невы-реки,
Чтоб не терять ни дня, ни ночки,
Проклевываются листки
Сквозь набухающие почки.
Скворцы щебечут о весне
За Охтой, там, где берег правый,
На Петроградской стороне
И за Московскою заставой...
Весь город смотрит веселей —
И видит поутру прохожий,
Что стали кроны тополей
На одуванчики похожи.

Надпись на обелиске

Потомок, знай! В суровые года,
Верны народу, долгу и Отчизне,
Через торосы ладожского льда
Отсюда мы вели «Дорогу жизни»,
Чтоб жизнь не умирала никогда.

Ладога, Вагановский спуск.

Степан Щипачев



☆

Пусть утверждают иные (не верьте!),
будто всему на земле свой срок.
Пушкин — уже не боится смерти,
Лермонтов — не боится смерти.
Больше она не нажмет на курок.

Ленин... Твердит о склерозе кто-то.
Я отшатнусь от такой строки.
Ленина мозг и сегодня работает,
сотрясая материки.

19 июля 1967 г.

Камышлов

Моему земляку Ф. И. Голикову, Маршалу Советского Союза

Камышло́в, Камышло́в,
два слова в одном:
«камыш», «лов».
Кого там ловили, не скажут века.
Не скажет про то и Пышма-река,
не скажет, кто крался тогда, шурша,
в ее
камышах,
кто первый кондовые ставил срубы,
пропахшее духом сосновым жилье
и пил из ладоней грубых
прозрачную воду ее.
Не скажет она, как острог вырастал
и что́ ей в ту пору камыш нашептал...
Все так же под кручей Пышма-река
играет волной... Но сменялись века,
и вижу я не слободу, не острог,
а город в узле зауральских дорог:
заводы, крестами антенны на крышах,
у Дома культуры витрины в афишах,
облезлые луковицы собора,
окраина — в стену соседнего бора.
Вы, может быть, спросите, что в нем такое,
чтоб так вот о нем —
строку за строкою!
Отвечу:
в том городе — в стужу и зной —
все улочки были исхожены мной.
Поди, и сейчас — по-ребячьи легки —
он, может быть, помнит мои шаги.
Чтоб тратил я долгую жизнь не напрасно,
держаться в сторонке не норовил,
тот город
меня
под знаменем красным
в дорогу нелегкую благословил.

Июнь 1967 г.

Торопим не время

А дни все короче, короче!
Это
к концу приближается
лето.
Кричать бы,
чтоб не торопилось оно,
но нижутся дни
за звеном звено.
Еще не окончено
столько работы!
Земля же накручивает
обороты.
Уж листья на кленах
краснее меди...
Успеет страна
юбилеи отметить:
и этот, что близко,
и те, что гореть
в столетиях будут
зарей ноябрей.
Их встретит страна.
Вместе с ней и планета...
Поля отпылали
зарницами лета.
Листва позолотою
тронула тропы...
Пусть кто-то твердит,
что мы время торопим.
Не верьте ему!
Мы в любую погоду
торопим не время —
работу.

1 августа 1967 г.

В общежитии артшколы

Мы,
чтоб Советскую власть
отстоять,
прошли сквозь огонь, сквозь
тиф и голод.
Красная Армия — кровь моя,
моя биография, моя школа.
Сижу за столом, от январских вьюг
окно
побелело.
Бумага, чернила.
И тень на стене голову свою,
чубастую голову наклонила.
У гимнастерки расстегнут
ворот.
Стоит за плечами день
строевой.
В огнях и в снегу за окнами
город.
В парке — орудия и часовой.
Пусть годы давно по фронтам прошли,
военные сводки давно отшумели,
железный цвет артиллерийских петлиц
я гордо ношу на шинели.

1929 г.

Иосиф Герасимов

ПЯТЬ ДНЕЙ ОТДЫХА

ПОВЕСТЬ

Рисунки И. Бронникова.

1

В белые ночи приходит бессонница; как я ни зашториваю окна — заснуть не могу: бессловесный зов улицы начинает звучать в комнате, сначала он слабый, и ему можно сопротивляться, потом он заполняет все пространство, пытаясь вытолкнуть меня из четырех стен, и я сдаюсь, я шагаю, сам не зная куда, лишь бы увидеть людей. Даже в дождливую погоду кто-нибудь ходит по тротуарам, очумевший от холодного света и призрачной глубины проспектов и площадей. Все предметы лишены теней, стелется дурман влажного асфальта, листвы и цветов. Я брожу до первого троллейбуса и, уставший, продрогший, возвращаюсь в гостиничный номер, но и усталость не помогает — снова ворочаюсь на кровати, на которой до меня лежало много разных людей, и многие из них видели свои сны, но никто не оставил для меня ни одного. Дождавшись, когда в коридоре начинают хлопать двери, я встаю, спускаюсь на третий этаж — там можно выпить с семи утра крепкий черный кофе. Я знаю, что в течение дня мне придется несколько раз пить этот кофе — только так смогу работать, поддерживая в себе искусственную бодрость.

И все-таки я поехал. Зимой или осенью мне всегда хорошо в Ленинграде, я совсем забываю, что в этом городе бывают белые ночи, но сейчас я приехал летом и опять попал в тот же самый переплет.

Гостиница «Октябрьская» далеко не лучшая в городе: есть такие прославленные, как «Астория», «Европейская», «Балтийская»,— но мне нравится именно «Октябрьская», длинная и неуклюжая: здесь шумно днем под окнами, которые выходят на Лиговку, где гремят трамваи и натруженно пыхтят грузовики, или на привокзальную площадь Восстания, на которой почему-то у всех машин начинают скрипеть тормоза; в «Октябрьской» нет той чванливой роскоши, как в «Астории» или «Европейской», здесь шлепают по коридорам в тапочках озабоченные бессмыслием вечеров командированные товарищи или в небольших холлах шумно разговаривают с горничными, и женщины здесь не носят на себе печати загадочности, а все те же, каких встречаешь после работы на улицах Москвы, когда они очень спешат, размахивая набитыми сумками, чтобы успеть на электричку. А иногда в кафе на третьем этаже можешь встретить старого знакомого из любого города, и тогда у тебя обеспечен вечер, и не надо искать новых знакомств или звонить по старым адресам.

В этот приезд я заранее боялся наступления тишины, я знал, что опять побреду белой ночью и мне будет сниться сон, который всегда снится, когда я начинаю вот так бродить, и хотя я вижу дома, улицы, мостовые, незажженные фонари и рекламы, он все равно мне снится — это, как по телевидению, если накладывают один кадр на другой: мраморные цоколи домов покрыты, как крупной солью, инеем, и на них отпечатки ладоней и сползающие вниз следы пальцев; стоит посмотреть на тротуар, как можно увидеть и тех, кто оставил эти следы,— скрюченные, синие трупы, почти мальчишеские фигуры; но вниз я стараюсь не смотреть и поэтому вижу только отпечатки ладоней на заиндевелом мраморе.

Этот сон жил во мне давно, еще со времен блокады, но видел я его только в белые ночи, словно расплывчатое, витавшее где-то рядом со мной видение, попадая в питательную среду, сразу материализовалось. Утром я начинал думать: надо бы написать рассказ про этот сон, но приезжал в Москву, садился за стол и... ничего не мог вспомнить. Но сейчас, как только пробило полночь, я вдруг понял, что мне нужно сделать, чтобы спастись от застарелой болезни. Да, подумал я, только в такую ночь, когда за окном серые тучи и серая тишина, когда внизу у подъезда, сидя, спят на чемоданах те, кому не досталось мест в гостинице, и, прислонившись к столбу, тоскует милиционер, и матово блестят успокоенные трамвайные рельсы, можно все это написать, а не при электрическом свете и не при ярком солнце, а только в белую ночь.

2

После всего, еле держась на ногах, мы увидели длинную кирпичную школу в один этаж, она была неистово красной — казалось, этот кирпич обожгли в беспощадной злобе морозные ветры. За школой были еще какие-то дома, а слева кладбищенская ограда, за ней урчал, нервно дергая стрелу, экскаватор, и выпускал черные клубы дыма.

— Прибыли,— сказал капитан и оглядел нас.— Батальон!..— отдал он было команду, но голос его сорвался, капитан махнул рукой и пошел первым к школе.

Я не знаю, можно ли еще было называть батальоном двадцать девять человек, но именно так мы числились в армейских сводках и приказах. А из роты нас осталось четверо: я, Шустов, Казанцев и Воеводин. Поэтому мы держались вместе.

Мы начали свой путь под пулеметным огнем, потом нас везла машина, пока не рассвело; мы въехали в город, тут нас выгрузили, и мы снова пошли пешком. Когда идешь так долго, то совсем не запоминаешь пути, только если остановишься—вдруг что-нибудь бросится в глаза и останется в памяти. Теперь, когда я увидел школу, то вспомнил площадь, где мы перекуривали, и трамвай. Небо было сухим и плоским, как лед над всем пространством площади, на стенах домов выступила соль инея — казалось, даже камни не выдерживали мороза, сжимались, как мышцы от напряжения, выдавливая из себя эту соль, и нигде не пахло дымом, город глухо кряхтел, как кряхтят люди от жгучего, замешенного на морских ветрах мороза. Трамвай стоял в центре площади, словно баржа, о которой забыли в конце навигации. Его изрешеченный осколками борт отражался во льду, и только это яркое пятно привлекало внимание, а остальное было белым, даже диван, который висел на третьем этаже дома с обвалившейся стеной. В трамвае сидели люди — двое, они сидели неподвижно.

Вот только это я и мог вспомнить из всего нашего пути, и то лишь потому, что увидел красную школу, которая тоже показалась мне продутой насквозь ветрами. Я бы не удивился, если бы там обнаружились замерзшие люди. Но я ошибся. Чем ближе мы подходили к длинному, одноэтажному зданию, тем отчетливей были видны следы обжитого: плотно утоптанный сапогами снег, стекла без морозных узоров и, наконец, сильный запах вареной пищи. Он был такой резкий, что я не смог сразу понять, чем это пахнет.

— Капуста,— сказал Шустов. Он потянул своим крепким, как у бульдога, носом и радостно сморщился.— Удивительно вкусная вонь. Это квашеная капуста. Она года три пролежала в бочке, и сейчас из нее варят щи.

Я давно убедился, что информацию, исходящую от Шустова, нельзя подвергать сомнениям, даже если она на первый взгляд покажется самой невероятной,— у этого невысокого, но с выдающимся носом и ушами парня исключительно тонко работали органы обоняния, слуха и зрения.

Мы все невольно ускорили шаг, предчувствуя близость обеда, но путь до него оказался не таким близким.

Возле школы нас встретил командир в полушубке без знаков различия, велел построиться, а это было не так-то легко сделать, потому что за полгода окопной жизни мы начисто отвыкли от строя; впрочем, мы и раньше к нему не очень привыкли, срок нашего армейского обучения исчислялся двумя месяцами. Потом командир потребовал, чтобы мы разрядили винтовки, и только тогда нас впустили в длинный, полутемный коридор, где было тепло и где каждый мог убедиться, как точен в определении запахов Шустов. Капустный смрад наполнял помещение, он тек из открытых дверей классов, где теперь не было парт, а сооружены двухэтажные нары, и там на этих нарах сидели желтолицые люди, с огромными глазницами, чавкали мягкими губами, скребли ложками по дну котелков, прижимая их к груди, и этот обеденный шум заставлял сглатывать слюну. Нам давно уже было не важно, что именно мы будем есть, а важно было, чтобы это была еда — кислая ли, сладкая, соленая или горькая, только бы еда, которой можно набить желудок и приглушить в себе змеино-сосущее чувство голода, а вкус и запах давно потеряли для нас какое-либо значение.

Мы прошли этим коридором, как сквозь мечту, которой жили с тех самых пор, как прошелестел по мерзлым окопам на берегу Невы слух, что нас отправят на отдых. Мы протопали коридором, ввалились в пустой класс, где на нарах валялись полосатые тюфяки, и, не дожидаясь команды, кинулись занимать места. Хорошо, что в нашей четверке был такой парень, как Воеводин, который всегда мог сказать, в какой стороне печка. Он сразу метнулся туда, захватил отличные места и, причмокивая пухлыми губами, промычал:

— Вторая, сюда.

«Вторая» — значит наша рота. В ней я был за старшего, потому что в отличие от других на моих петлицах торчали два треугольника, хотя всем нам четверым было по девятнадцать и все мы были до войны студентами, но, когда нас обучали два месяца, я громче всех отдавал команду и первым довольно сносно стал выполнять упражнение под названием «кру-гом!». Этого было достаточно, чтобы мне навесили два треугольника и сделали командиром отделения. Поэтому, как только мы устроились, наступило время проявить заботу о своих подчиненных. Я взял котелки и вместе с другим командным составом направился на кухню.

Шли тем же коридором, только в другую сторону.

— Минуточку!

Перед нами возник командир в полушубке, который встречал нас у входа.

— Объявите своим, капитан,— сказал он.— Соль, перец, горчицу употреблять запрещено. Поймаем, будем наказывать по военному времени. Понятно?

— Непонятно,— сказал капитан.

Командир посмотрел на него и вздохнул.

— Ладно, после поймете... Вон, посмотрите.

На нас шла небольшая процессия: четверо солдат несли носилки, на них лежал босой человек, и сначала мы увидели его синие ноги, потом укрытую мешковиной голову, и эти четверо пожилых с очень одинаковыми запавшими лицами несли его коридором, этой сумеречной дорогой, в ту сторону, где слабо белела дверная щель, и носилки проплыли мимо, покачиваясь, и уходили все дальше и дальше.

— Вот так каждый день,—сказал командир.—Жрут черт знает что, а потом или в госпиталь, или туда, за ограду.

— Куда за ограду? — спросил непонятливый наш капитан.

— На кладбище,— хмуро произнес командир и исчез, как и появился.

Потом я узнал, что тех, кто умирал здесь, в ка-

зарме, отвозили на кладбище, где работал старенький экскаватор немецкой фирмы «Демаг», который куплен был Внешторгом еще до войны и питался, как паровоз, каменным углем. Он рыл там траншеи для братских могил в мерзлой земле, сначала взорванной динамитом, и в эти траншеи свозили тех, кого подбирали на улицах, в разрушенных или оледенелых домах: началась очистка города, ведь вот-вот могла наступить оттепель, а потом весна, и медики боялись, что в этом городе могут начаться эпидемии, как начинались они в средневековых осажденных городах.

Я принес своим капустного варева, по кусочку сахару и полкило хлеба — ком, похожий на влажную глину. Это было все, что полагалось нам. Трое смотрели на меня выжидающе, думая, что у меня еще сохранился какой-то запас дешевого юмора, и я так скверно пошутил, а сейчас вытащу откуда-нибудь из-за пазухи мешок с сухарями.

— Все! — сказал я.— Здесь второй эшелон. Сто пятьдесят граммов хлеба в зубы и по сухарю утром. Будем делить.

Тогда они поняли, что теперь действительно не на фронте, а в тылу, и им предстоит не воевать, а отдыхать, а для этого достаточно и такой нормы, потому что в этой школе на нарах есть даже тюфяки, и хорошо топят, и не свистят пули. Они поняли это сразу и приняли безропотно, только Воеводин расстроился и посожалел:

— Нечем, извиняюсь, и на двор сходить будет.

Мы поделили хлеб старым солдатским способом, разрезали его на равные кусочки, потом собрали крошки, распределили их по пайкам, посадили к ним спиной Казанцева, и я, тыкая пальцем в пайки, кричал: «Кому?» — а он называл фамилии. Это самый честный способ, много раз описанный в военной литературе, но о нем не грех лишний раз вспомнить, потому что он являет собой точный пример равенства в выборе. Здесь совершенно невозможно смухлевать, правда если только не попадется в компании такой тип, как Шустов, который благодаря своему невероятному чутью может угадать больший кусок, если даже сидит к нему спиной. Мы один раз в этом убедились и больше никогда ему не доверяли и чаще всего поручали это дело Казанцеву, самому тихому рыжему парню с очень синими глазами. Он выполнял это поручение, словно извиняясь заранее перед тем, кому достанется пайка чуть поменьше, хотя всегда они были однаковыми, так точно научились мы их делить.

Мы выскребли и вылизали свои котелки, выкурили по папиросе «Красная звезда», которые выдали нам еще там, на передовой, и блаженно растянулись на нарах, давая отдых всему телу. Мы были сейчас — четверо ребят — одним целым организмом, у которого одно дыхание, одни нервные клетки и одно кровообращение; нас нельзя было разъединить, иначе каждый в отдельности сразу бы оказался на пороге смерти, как это случается с муравьями, если их отторгнуть от муравейника. Мы очень долго были вместе, нас призвали за два месяца до войны, и потом мы отступали от эстонской границы, пока не пришли в Ленинград, и вот теперь из нашей роты осталось только четверо. Я размышлял, почему именно мы остались в живых и дожили до этого дня, когда нам дали отдых, а других таких же ребят, которым было восемнадцать и девятнадцать, нет в живых: кто остался под Кингисеппом, кто на дорогах, а больше всех там, у Невы, возле переправы, где каждый день снаряды крошили лед и выплескивали на берег воду, которая тут же замерзала. Почему мы, четверо?

Вот этот плотный ширококостный Шустов с бульдожьим носом и оттопыренными, как паруса, ушами; красавчик Воеводин, с таким лицом, как будто он всю жизнь питался только сладким; рыжий, с белой болезненной кожей Казанцев и я. Четверо. А ведь мы все, как и другие ребята, ходили в атаку, и все у нас было так же, как у других, не лучше и не хуже. И я не мог найти ответа на это п о ч е м у. Чтобы найти его, нужно было поверить или в то, что на тебе с рождения есть какое-то чудодейственное клеймо, или хранит тебя от смерти нечто потустороннее, недоступное твоему сознанию.

— Младший! — кто-то дергал меня за ногу.

Видимо, я все-таки задремал. Увидел нашего капитана и вскочил с нар.

— Принимай к себе двоих в отделение,— сказал он.

Первое, что радостно отозвалось во мне,— это было слово «отделение». Значит, теперь мы не рота и даже не взвод, а всего лишь отделение, и нам еще кого-то дают. Потом я увидел этих двоих. Они стояли рядом, как в строю, в шинелях второго срока, с новенькими вещмешками: один плосколицый, с густыми бровями, лицо его в сумерках было голубым, с большими выступами под глазами, сморщенными и дряблыми, словно он долго держал на них свинцовые примочки.

— Рядовой Кошкин,— доложился он.

А второй был высокий, с массивным орлиным носом и крепким кадыком; как клин, выпирал этот кадык из-под яркого оранжевого шарфа, который был нелепо подоткнут под воротник шинели. Я посмотрел на шарф и подумал, что, наверное, на него смотрели многие командиры, и каждого подмывало сказать, что носить шарф не положено, но не говорили, наткнувшись на печальный взгляд этого человека, очень странный для такого величественного лица с седыми пучками волос на висках.

— Дальский,— совсем по-граждански назвался он.

— Устраивайтесь,— сказал я им, показав на нары. Больше я ничего не мог им сказать, потому что впервые видел перед собой в солдатских шинелях людей, которые в два раза, а может быть, и больше были старше меня и выглядели, пожалуй, более пожилыми, чем мой отец, а я еще не научился такими командовать. И ребята наши смотрели на них с удивленным почтением, видимо, только сейчас начиная понимать, что до сих пор война была уделом главным образом молодых.

Дальский сбросил с себя шинель, мы сдвинулись, уступая ему место, шарф он так и не снял и, слегка постанывая и покряхтывая, уместил свое длинное тело на тюфяке. Кошкин же не спешил; маленькие его глаза беспокойно шарили по нарам, он прижимал к себе мешок, словно прицеливался, куда бы лучше его пристроить, чтобы, не дай бог, кто-нибудь не свистнул.

— Давай, батя, сюда,— позвал его Шустов, освобождая место.

Но Кошкин не повернулся в его сторону, он так и не лег, а сел рядом с Дальским и положил мешок на колени, как это делают пугливые бабки на вокзалах.

— Боишься,— покачал головой Шустов.— У тебя же там один сухарь, а больше и нет ни шиша. Сунь его в карман, да и ложись.

Кошкин испуганно посмотрел в сторону Шустова, пальцы его быстро перебрали по мешку, нащупали что-то, и он успокоенно вздохнул, хотя продолжал ерзать на нарах.

— Разрешите,— наконец повернулся он ко мне.— Ненадолго.

Я молча кивнул, все еще чувствуя неловкость, что именно мне надо давать ему разрешение. Кошкин торопливо встал и засеменил к выходу, так и не выпуская мешка из обеих рук.

— Тип! — сказал Воеводин, вкусно причмокнув. Он вообще всегда произносил слова, по-особому смакуя их, поэтому, когда он даже ругался, эти слова срывались с его пухлых губ округло и вкусно, как обсосанный леденец.

Казанцев ткнул его в бок и показал на Дальского: мол, неудобно. Но Дальский дремал, прикрыв большие веки, и, видимо, не прислушивался к тому, что делалось вокруг. Я стал думать, что вот к нам четверым пришли еще двое, и эти двое сами по себе, каждый в отдельности, они не смогут слиться с нами, стать тем, чем были все время мы,— одним целым.

Прошло, наверное, полчаса, а Кошкин не возвращался.

— Не смылся ли этот тип? — сказал Воеводин.

— Куда? — спросил я.

Действительно, куда бы он мог смыться? Если бы мы были на передовой и он вот так бы исчез, тогда другое дело. Но зачем смываться отсюда?

— Ну, мало ли куда,— неопределенно сказал Воеводин.— А потом нам отвечать... Пойдем поглядим. К тому же в гальюн надо.

— И я с вами,— поднялся Казанцев.

Втроем мы прошли коридором и вышли из казармы. Снег вокруг сверкал голубоватым пламенем, а небо было белым с огромным, лишенным четких очертаний синим кругом луны. Там, в казарме, казалось, что за стенами стоит глухая, черная ночь — как только начало смеркаться, окна завесили маскировочной бумагой. Когда мы вышли, морозный свет улицы, который сгущался лишь в глубине пространства, был неожидан, и мы постояли, привыкая к нему, вдыхая горький и свежий запах, как едкий перец, обжигающий полость рта. Пока мы так стояли и делали свое дело, за углом школы послышались голоса. Это был нестройный гул, но в нем можно было различить то женский всхлип, то слабый выкрик. Наверное, мы услышали этот гул одновременно и переглянулись, словно проверяя, не померещилось ли нам.

— А ну пошли,— решительно сказал Воеводин.

Мы свернули за угол. Здесь вдоль забора стояли женщины, их черные фигуры хорошо были видны: в телогрейках, обмотанные платками и другим тряпьем, они были похожи на больших диковинных птиц, которые сбились в общую стаю, образуя нечто вроде круга, и прижимались друг к другу спинами; неровным кольцом окружали их люди в солдатских шинелях. Над этой массой колыхались рваные клубы пара. Женщины ели. Одни грызли сухари, другие слизывали с ладоней крошки, некоторые выскребали из котелков давешнюю капустную похлебку. В этой небольшой толпе мы увидели Кошкина. Одной рукой он держал вещмешок, а вторую протянул, подставив ладонь, чтоб женщина, которая стояла рядом с ним и грызла сухарь, не обронила крошек.

Мы стояли совсем близко от них, но они не обращали на нас внимания.

Я сразу понял, что происходило здесь. У всех ребят, кто был в нашем батальоне, отцы, матери, сестры жили далеко от этого города, а вот у тех, кого совсем недавно призвали и давали нам в пополнение, родные были тут же, и они приходили сюда к казарме, чтобы получить хоть кроху от солдатского пайка, потому что он побольше, чем гражданский.

Женщина, которая стояла рядом с Кошкиным, подняла голову, приоткрыв рот, и он бережно ссыпал ей с ладони все, что на нее попало. И когда она вот так откинула голову, мы хорошо увидели ее белое, немного вытянутое, с большими глазами лицо: оно было молодое, и если бы не эти глаза, совсем такое, как у мраморных греческих богинь, копии которых всегда стоят, стыдливо прикрыв груди, в каждом областном музее изобразительных искусств.

Казанцев слабо охнул.

— Ты что? — спросил Воеводин.

— Помнишь Афродиту?

— Дурак! — тихо сказал Воеводин и сделал головой знак, мол, нам лучше уйти. И мы пошли, стараясь ступать мягче и не скрипеть снегом.

Шустов что-то понял по нашим лицам, когда мы вернулись.

— Что там? — спросил он.

— Женщины,— ответил Воеводин, укладываясь.

— Интересно,— вздохнул Шустов.— Сто лет не видел женщин.

— А ты их никогда не видел,— ответил Воеводин.

Шустов вдруг обиделся, хрюкнул тяжелым носом:

— А ты видел?

— Я видел...

Все это была правда. Кроме Воеводина, никто из нас не знал женщин, потому что мы не успели, а если кто и успел, то такое нельзя было принять в счет, а вот у Воеводина была женщина старше его, и она его любила, хотя у нее был муж, и поэтому он больше всех имел право говорить на эту тему, хотя всем нам тоже хотелось говорить об этом.

— Все равно сейчас ты ничего не можешь. И все мы не можем от голодухи,— сказал Воеводин и повернулся на бок.

И это тоже была правда.

Кошкин вернулся вскоре, долго тер свои замерзшие руки и щеки, потом лег рядом с Дальским, аккуратно подложив под голову мешок, и заснул. И мы все заснули.

Так кончился первый день нашего отдыха, первый из пяти, которые предстояло провести здесь, в старой школе, ставшей казармой. А утром, когда я проснулся, то увидел крохотную женщину. Ее держал в длинных пальцах Дальский, сидя на нарах, и вращал передо мной, поправляя что-то на ней иголкой. Это была веселая женщина в красной юбке, с курносым носом,— из какой-то далекой и очень простой сказки, может быть, Гофмана, а может быть, братьев Гримм. Она кокетливо поддерживала обеими руками юбку, словно собиралась пуститься в пляс. Она была сделана из проволочек, ярких лоскутов материи и глины. Дальский, заметив мой взгляд, бережно поставил куклу на полку над нарами, на которой обычно в казармах кладут вещмешки, но она всегда пустует, потому что лучше всего их класть себе под голову.

— С добрым утром,— вежливо сказал Дальский.

3

Я отодвинул от себя машинку, подошел к окну. Холодность света над домами была нарушена, серые облака, которые медленно плыли над крышами, теперь окрасились по краям в желтое, и трамвайные рельсы внизу пожелтели, но ночь еще продолжалась, и мне видно было с высоты пятого этажа, как спят у подъезда на чемоданах приезжие,

а по другой стороне улицы шли двое — он и она, их шаги звучали по всей невообразимо тихой Лиговке, и голоса тоже, хотя они говорили негромко, и звуки отталкивались от стен нахмуренных домов, как полые шарики, поднимались вверх и даже залетали в мое окно.

— Ты, честное слово, это сказал?

— Я, честное слово, это сказал.

— И ты можешь повторить?

— Я все могу повторить...

Они шли к станции метро, торчащей тяжелым куполом на краю площади, и там, у станции, тоже стояли двое и целовались: она тянулась на носках, словно вот так хотела оторваться от земли, подняться выше его, и при белом свете белели ее крепкие икры. Я посмотрел в сторону Московского вокзала, и там по всей Лиговке шли или стояли и целовались пары. По всей Лиговке и, наверное, по всем улицам бессонного города. И тут я увидел, что погасли желтые отсветы на облаках, и сами облака погасли, и по улице побежала черная, как пена бурлящей нефти, тень и стала закрывать дома, оставляя только слабые контуры их, которые начинали фосфоресцировать тусклым зеленым мерцанием; и я услышал характерный лопающийся треск, какой бывает, когда самолет преодолевает звуковой барьер, и после этого вокруг уже была ночь, насыщенная влагой и морозом, и только одно лицо в той стороне, где был виден контур купола метро, было освещено, белое, оледенелое, как мрамор, и на нем большие глаза, застывшие в полубезумном безразличии, потерявшие все признаки мысли, кроме одной — хлеба, хлеба, хлеба.

Я отошел от окна и быстро сел за машинку.

«Что же там было дальше?» — подумал я.

4

— Понимаешь, она замороженная,— сказал мне Казанцев.—Это называется дистрофия.

Он сидел рядом со мной на нарах и, нервно подергивая узкими плечами, пытался отгрызть свой ноготь, а смотрел он на полку, где стояла кукла, сотворенная Дальским. Я еще не видел Казанцева таким возбужденным, он у нас был очень спокойный и очень надежный, ему всегда можно

было поручить все, что угодно, зная,— этот парень не подведет, его даже можно было оставить на посту в мороз на двенадцать часов, и он будет так стоять, никого не пропустит, даже не уйдет перекурить.

Я тоже посмотрел на куклу, потому что не понимал, о ком он говорит.

— Это — оледенение. Все медленно остывает: кровь, потом клетки — и полное безразличие. Сначала от человека остается только оболочка, будто его заморозили и сделали из него ходячий манекен. А потом смерть... Я знаю, ты меня слушай, я был на историческом.

— Плевать я хотел, где ты был,— сказал я ему; его свистящий шепот слишком начал мне действовать на нервы.— Ты можешь сказать хоть одно толковое слово: о чем твой бред?

Казанцев посмотрел на меня, округлив синие глаза, как младенец перед яркой игрушкой, и кивнул в ту сторону, где сидел согбенно Кошкин, собирал хорошо смазанный затвор винтовки. Делал он это ловко и тем вызывал мое уважение, потому что с самого начала ни к нему, ни к Дальскому у меня не было доверия как к военным — они для меня, отделенного, уже покомандовавшего ротой, были всего лишь новобранцами, прошедшими беглый курс военной подготовки. Когда Казанцев так кивнул, я понял, о ком он мне шепчет.

— Ну и что? — спросил я, хотя сам все утро вспоминал девичье лицо, белое, как снежная равнина, на котором застыли мутно-зеленым льдом глаза.

— Ее надо разморозить,— прошипел он, и тонкие губы его при этом упруго сломались на углах, как перезрелые, ржавые стручки гороха.

— Ну тебя к черту,— ответил я. А что я мог ему еще ответить? Отрывать от ребят хоть крошку из никчемной пайки? Я и без него знал, что такое дистрофия. Даже там, на передовой, где нам давали триста граммов хлеба в день и сто граммов ржаных сухарей и еще приварок, в котором иногда попадалось мясо, мы и то узнали, что это такое: несколько наших ребят, как раз те, что были здоровее всех на вид, отправились в госпиталь, у них начали опухать ноги, синели, можно было нажать на опухоль пальцем, и оставалась вмятина, как в тесте: потом начиналась такая слабость, что человек не мог проползти и пяти метров. А нам надо было жить на морозе, ползать на брюхе, стрелять и бросать гранаты.

Из этой казармы мы опять должны вернуться туда, к Неве, потому что за нас никто другой пойти не может, только мы и такие, как мы, иначе погибнет весь этот большой город. В то время мы уже знали слишком много, чтобы понять, что все это именно так. Мы видели Кингисепп и другие города, которые оставили на своем пути на восток, мы слышали о гитлеровском приказе стереть с лица земли Ленинград и читали в газетах такие дневниковые записи: «Я, Генрих Тивель, поставил себе цель истребить за эту войну 250 русских, евреев, украинцев — всех без разбора. Если каждый солдат убьет столько же, мы истребим Россию в один месяц и все достанется нам, немцам». Мы давно убедились, что это не пустые слова и не идиотские клятвы взбесившихся фанатиков, а твердая работа хорошо смазанной военной машины.

А если мы посидим на пайке второго эшелона несколько дней, да еще будем хоть что-то отрывать от нее, то кто же тогда пойдет за нас?

Я ничего не стал объяснять Казанцеву, он и сам это должен был отлично знать так же, как и Воеводин и Шустов.

— Значит, ты меня не понял,— сказал Казанцев.

— Я тебя отлично понял,— ответил я.— И могу опять совершенно осмысленно послать тебя ко всем чертям.

— Ну, хорошо! — Теперь он не прошептал, а почти выкрикнул.

«Перебесится»,— подумал я.

Но кто знал, что он такой упрямый, и, если что-нибудь втемяшится ему в башку, никакими силами невозможно переиначить!

То, что произошло дальше, я видел не все, знаю отчасти по рассказам ребят, по скупым ответам самого Казанцева. Но дело совсем не в этом. За четверть века я очень часто вспоминал блокадный город и стал думать о Казанцеве и других, кого встречал там, так, словно все, что происходило с ними, было и со мной, их мысли, чувства стали моими, время спрессовало их в одно целое, и я теперь не могу отделить пережитое мной, от того, что услышал или увидел. И я подумал, что имею право рассказывать не только от себя, но и от всех тех, кого знал, потому что они давно стали частицами меня самого...

5

Будем считать, что в этот день Казанцеву повезло. Кошкин получил наряд в караул, его отправили сторожить склад, который был в полутора километрах от школы. И еще, как это часто бывало в ту зиму, мороз внезапно ослаб, пошел снег, сначала колючий, потом все более мягкий и медленный, почти влажный — запахи моря опустились на город. Там, в окопах, мы боялись такой погоды: сразу после оттепели внезапно обрушивались морозы, особенно к ночи, и влажная шинель застывала, как панцирь, полы ее можно было отламывать, словно куски картона. Но здесь у нас была теплая казарма, где можно было обсушиться, и эта погода казалась хорошей и приятной.

Казанцев не мог знать наверняка, повторится ли нынче вечером то, что мы видели вчера за углом у забора. И все-таки, как только стемнело, он стал ждать. То приходил к этому месту, то вновь возвращался в казарму, сжимая в кармане оставленный с утренней выдачи ржаной сухарь — семьдесят пять граммов. Сухари эти ценились выше, чем хлеб; это были чистые солдатские сухари, без всяких примесей, а в хлеб замешивалось всего понемногу, даже опилки, его пекли тут, в блокадном городе, а сухари доставлялись из армейских запасов с Большой земли по льду Ладоги и на самолетах. У него был отличный запах, у этого сухаря, даже, если его подержать в руке, на пальцах оставалась сладкая горечь душистого, хорошо пропеченного хлеба, и во рту невольно набегала жесткая слюна.

Когда Казанцев вышел в седьмой или восьмой раз, то увидел женщин. Они появились все вместе и стояли, как вчера, сбившись в одну стаю. К ним от казармы пробирались люди в шинелях, погромыхивая котелками, покашливая, тяжело дыша. Ее он увидел и узнал сразу, она стояла ближе всех к школе, в черном пальто, которое неуклюже топорщилось в разные стороны, под ним было надето что-то еще, скорее всего телогрейка, а голова туго обмотана платком. Казанцев сумел составить свой план, заранее приготовил слова, которые должен был сказать ей, поэтому смело шел прямо на нее. Но его опередили. Высокая фигура заслонила от Казанцева девуш-

ку. Это был Дальский. Казанцев остановился, соображая, почему этот вытянутый, как жердь, человек с орлиным носом и крепким кадыком, торчащим над желтым шарфом, оказался здесь, и тут же решил, что скорее всего Кошкин, уходя в караул, поручил ему что-то передать дочери.

«Плевать»,— решил Казанцев и смело пошел к девушке, чтоб не нарушать своего заранее продуманного плана. Хотя сейчас и не было луны, но днем выпал свежий снег, поэтому сумерки были неплотными, и видно было довольно сносно. Казанцев опять остановился, теперь в каких-то двух шагах от нее, словно натолкнулся на невидимый барьер. Это лицо, как маска, как гипсовый слепок, на котором лишь слабо жили и дышали едва ощутимым теплом темные глаза; и еще губы, чуть приоткрытые в тревоге, маленькие, сухие губы вызвали в нем боль, смешанную с тоской по чему-то необратимо ушедшему, и он должен был так постоять с минуту, глотая воздух, чтобы снова обрести в себе мужество и сделать два шага.

Дальский смотрел на него с высоты своего роста, но Казанцев не замечал его.

— Вы дочь Кошкина? — сказал Казанцев погрубевшим голосом. Именно эту фразу и следующую, которую он произнес, Казанцев придумал заранее.

— Извините, пожалуйста, у меня к вам поручение.

Как только он выпалил эти слова, в лице девушки что-то изменилось: нет, не глаза, они были все такими же — темными и неподвижными, а губы, да, губы еще больше приоткрылись и вздрогнули раз, второй, как крылья птицы от сильного порыва ветра. И Казанцев сразу понял, что могла она подумать.

— Нет, нет,— чуть не закричал он.— С ним все в порядке... Он просил... Вот!

Казанцев торопливо стал вытаскивать сухарь, который застрял в разрезе кармана, и от волнения долго не мог с ним справиться.

Она посмотрела на сухарь, потом подняла руку в варежке, в ней был зажат точно такой же. Тогда Казанцев вспомнил о Дальском, огляделся, но Дальского нигде не было, только женщины шептали о своем солдатам, жевали, скребли ложками о борта и днища котелков.

Она взяла у Казанцева сухарь, поднесла его к лицу, как делают это очень близорукие люди, понюхала, прижала к груди и быстро спрятала под пальто.

— Вы ешьте,— сказал Казанцев.

Тогда она откусила от сухаря, захрустела зубами. Он смотрел, как она ест, невольно повторяя за ней движения ртом, словно сам жевал сухарь, и ощущал во рту блаженный ржаной запах, и больше ничего не видел, только ее шевелящиеся губы. Он даже не знал, видит ли она его или ее оледенелый взгляд обращен лишь внутрь самой себя, но он чувствовал, что сейчас она, отрешившись от всего и наслаждаясь вкусом хлеба, живет и получает свою, никем не разделяемую радость, и только он, Казанцев, тайный ее соучастник, поэтому он тоже испытывал радость.

Она доела сухарь, огляделась, отошла к забору, где снег был совсем не затоптан, зачерпнула его варежкой, слизнула несколько раз, подержав во рту, пока он растает.

— Я сейчас... воды принесу,— сказал он.

Она его не услышала, опять зачерпнула варежкой снега. Тогда он подумал, что, если пойдет за водой, она может уйти, и все на этом кончится, а он даже не услышал звука ее голоса, и вряд ли сам запомнился ей.

Он взял ее за локоть и сказал:

— Пойдемте отсюда... погуляем.

Более нелепого слова нельзя было придумать, но она не выказала ни удивления, ничего другого, а пошла рядом с ним мимо небольшой толпы женщин и солдат туда, куда он ее вел, подчинившись и доверившись ему. Они молчали, да он и не думал, что ему надо о чем-то говорить, ему просто приятно было идти с ней рядом, приминая сапогами податливый снег, пахнущий совсем молодой, росистой зеленью. Впереди была кладбищенская стена, а за ней опушенные снегом березы, свесившие свои отяжелевшие ветви, и над ними в черное небо выметывал из трубы оранжевые искры экскаватор.

По дороге прошла машина со своим печальным грузом и свернула в распахнутые ворота. Они пошли за ней; в глубине за деревьями горел костер, он высвечивал серые стены старенькой часовни, кресты и надгробья и еще какую-то темную массу, которую нельзя было различить на таком расстоянии. Они пришли сюда, не задумываясь над тем, что это за место, просто им больше некуда было идти, а белые деревья, осененные покоем, манили к себе.

Она повернулась в сторону костра, и он понял, что ей захотелось туда, к огню. Они вышли к стене часовни и увидели, что у костра сидят трое, один из них курит, а двое, наверное, ждут, когда он передаст цигарку следующему. Неподалеку стояла машина, та самая, что въехала в ворота, там тоже возился человек, гремя металлом; когда они подходили, он крикнул:

— Эй, гаврики, чего огонь развели? А патруль нагрянет?

— Они сюда не ходят.

— Ну, так немец на кумпол плюнет.

— На хрена мы ему. У тебя нет ли курнуть, мы тут по крохе собрали.

Тот, что возился у машины, вошел в желтый круг света, сел на поваленное бревно, достал жестяную коробку с табаком, бережно открыл ее.

— На одну пожертвую.

Все они были в военных теплых бушлатах, перепоясанные широкими ремнями, только один, который курил и сидел с краю, был в телогрейке и линялой меховой шапке. Можно было подойти к ним, сесть рядом, и они бы, наверное, не удивились, ничего бы не стали спрашивать. Они были при своем деле и теперь говорили о нем.

— Сегодня на Петроградской чистили,— сказал шофер.— Полон кузов... А Костя не приезжал?

— Еще не было,— ответил тот, что был в телогрейке.— И так класть некуда. Вон, Сорин метра три отрыл и шабашит.

— Машине тоже отдых нужен,— ответил другой. Руки его, протянутые к огню, были черны от угля и мазута.— Завтра со светом вообще стану. Смазка полагается.

— Ну вот. Твою разгрузим, а Костину не знаю куда и складывать.

— Ээ, а все люди,— вздохнул шофер.— Везет же мне в этой жизни. Ребята по Ладоге хлеб возят, а тут... Я их до войны боялся. Если какие похороны по городу, за квартал стороной обходил, а сейчас по полному кузову вожу.

— Ладно... Ты вот там не слыхал ли чего?

— Слыхал, что и вы: Федюнинский, кажись, наступает.

— Может, к весне раздыхаемся. Народ вон говорит, как прорвут, на особый паек посадят, санаторный, чтоб калорийность пищи была и витамины.

— Пей хвою, и весь тебе витамин.

— А все же для поправки здоровья должна быть особая жратва. Вот до войны у Елисея колбаса такая была...

— Ну, завел! На вот кури да пошли, разгружать надо.

Они поговорили еще о своем, докурили цигарки и поднялись, постанывая, разминая затекшие ноги, и пошли за деревья, туда, где была машина.

Костер еще горел, хоть и не так сильно; от него исходили свет и тепло. Казанцев взял опять девушку под локоть, подвел к освободившемуся бревну, и они сели на него спиной к машине, чтобы поменьше слышать шум работы.

Она сняла варежки, протянула руки к огню. У нее были тонкие и длинные пальцы, он не удержался, взял ее руку в свои ладони. Ему казалось, что эти пальцы должны быть холодными, но они были теплыми, чуть дрожали. Он погладил эти пальцы. Она смотрела только на огонь и тлеющие угли, которые то вспыхивали пронзительно красным, то покрывались чернотой. Он теперь не слышал шума работы, пространство вокруг них было пустым, оно освободилось от всего на свете, от снега и деревьев, от могильных холмов и часовни, там просто была пустота, а в центре ее был свет, тепло и они двое, только они, имеющие свое место и объем в этом опустевшем мире. Он чувствовал гладкую кожу ее худой руки, притихшую жилку пульса, и ему захотелось, чтобы она произнесла сейчас хоть слово.

— Расскажи мне что-нибудь,— попросил он.

Она не шевельнулась, словно и не слышала его.

— Ну, хорошо,— сказал он.— Тогда я расскажу тебе про этот огонь. Его похитил Прометей на Олимпе из горна Гефеста, чтобы отдать людям. Это все знают. Но, понимаешь, когда я про это думал, то решил: дело не только в Зевсе, который приказал приковать Прометея к горам Кавказа, тут дело в Гефесте. Он был хромоногим пьяницей, продавшим свое мастерство Зевсу за бочку вина, и ему всегда не нравился здоровый, лохматый Прометей, который мог лечить людей, дарить им надежды и учить их всяким знаниям и при этом плевать на то, что подумает о нем Зевс. А Гефест был единственным на всю землю кузнецом, поэтому его и сделали богом, и он ни с кем не делился своим мастерством. А когда огонь украли, Гефест понял, что не сможет остаться богом, потому что появится очень много кузнецов. Он считался другом Прометея, но это он нашептал Зевсу о краже, и сам ковал цепи для Прометея, и приковывал великана к скале. Он ползал, этот хромой, по камням, плакал и слюнтяво говорил: «Я всегда тебя любил, Прометей». А сам вбивал железный штырь в грудь великана. Потом, чтобы погубить дело Прометея, он создал Пандору, которая разнесла по всей земле болезни и беды. Но ты понимаешь, какая чертовщина: несмотря на свое предательство, Гефест все-таки остался богом, и ему поклонялись те же кузнецы и все, кто занимался ремеслом. Никто, наверное, не задумывался над его жизнью, а только над тем, что он был первым кузнецом. Когда я все это обдумал, мне вообще захотелось узнать: кто такие боги и боги ли они?.. Ты не слушаешь?.. Наверное, тебе это не интересно. Тогда, знаешь, я расскажу тебе о своей маме. Она у нас рыженькая. Вот и я тоже, понимаешь, позолоченный. Она у нас веселая и ужасная хохотушка. У нее есть присказка, которую она часто повторяет: «Горе не беда». Ты не представляешь, как это у нее смешно всегда получается... В общем, о своих близких никогда интересно не расскажешь. Вот про богов можно интересно, а про близких нет, хотя они, может быть, получше этих богов... Не получилось у меня ничего,— опечаленно вздохнул он, чувствуя, что слова его поглощает лишь тлеющий огонь, а она или не слышит их, или не воспринимает, и они, попадая в нее, рассыпаются на мелкие, несвязанные капли, как дождь, не проникая сквозь резину, скатывается с нее.

«Неужели она ничего не слышит?» — подумал он и в тоске сжал ее руку так, что сам почувствовал боль в суставах пальцев. Она медленно повернулась к нему, смотрела долго, и пока она смотрела, он почувствовал, как снова наполнилось пространство вокруг.

Возникла мерзлая стена часовни; слабый звон обвешенных снегом деревьев; шум работы такой, как на мельничных складах, когда сбрасывают вниз тяжелые мешки с мукой; вялая ругань людей, творивших эту работу.

— Ты кто? — спросила она.

Он обрадовался, что услышал ее голос: он был слабым и мягким, как дыхание уставшего человека, в нем было свое тепло, какое бывает у проталины на крепком синем льду.

— Боец,— ответил он.

— А-а,— тихо протянула она.

— Казанцев,— сказал он,— Алексей Казанцев.

Она отняла свою руку, быстро полезла за отворот пальто, вынула сухарь. Она сжимала его в пальцах, и при отблеске костра он казался густо-бордовым, вспухшим, словно впитал в себя этот свет.

— На,— сказала она, протягивая сухарь Казанцеву.

— Ты что? — отшатнулся он, мгновенно подумав, что она все поняла и только сейчас решилась выказать это.

— Отдай отцу,— попросила она.

— Нет,— покачал он головой.— Это тебе... А он... Утром нам еще дадут. Нам каждое утро дают. Понимаешь?

Она смотрела на сухарь. Он чувствовал, что в ней шла борьба, и он должен был в нее вмешаться.

— В армии, понимаешь, легче,— сказал он.

— Он слабый,— тихо сказала она,— у него — сердце...

— У нас мировые ребята. Последним поделятся. Понимаешь? Так что ты забирай и не сомневайся.

Он отодвинул от себя ее руку. Эта рука вздрогнула и медленно двинулась к отвороту пальто, пока не исчезла за ним.

— Ты скажи: я завтра не приеду,— вздохнула она.

— Хорошо, я передам.

— Ты скажи, я не смогу.

— Обязательно. Я же обещал.

За спиной смолк шум работы. Треснул раз, другой, потом уж затарахтел в полную силу грузовик. Он обогнул часовню. Черной тенью, без зажженных фар, промелькнул за ворота, и слышно было, как сразу остановился.

— Эй, бабы, здесь? — раздался голос шофера.

Ему ответили нестройным гулом, словно всплеснула вода под обвалившейся глыбой.

— Все тут?

— Все!

— Ну, давай, бабоньки, давай.— Голос шофера сейчас был веселым, совсем таким, каким он говорил у костра.— С гостей ехать веселей, шевелись!

Услышав все это, она поднялась с дерева, торопливо стала надевать варежки, губы ее, как тогда у забора, приоткрылись и вздрогнули. Казанцев крикнул в сторону ворот:

— Эй!

Тут же женский голос спохватился:

— А Оли нет... Кошкиной,— и закричал призывно: — О-Оля!

— Здесь она! — выкрикнул Казанцев.— Идем!

Он опять взял ее под локоть и, слегка подталкивая вперед, словно боясь, что она не сможет идти быстро, повел к воротам.

В грузовике, тесно прижавшись друг к другу, сидели те женщины, что приходили к казарме. Видимо, они всегда добирались в город на этих машинах. Несколько рук перевесилось через борт. Девушка протянула им свои, Казанцев подсадил ее, помогая встать на колеса.

Едва она перешагнула борт машины и присела, как тотчас растворилась среди других, став частицей общей черной массы, и он уж не мог разглядеть ее отдельно.

Машина сорвалась с места, обдав его снежным крошевом, черным комом покатилась по дороге, уменьшаясь и расплываясь в очертаниях. Он подождал, пока замолк ее шум, обернулся в ту сторону, где желтело пятно костра. Ему не захотелось идти сейчас в казарму, а потянуло туда, назад к огню, было такое чувство, словно там, где они сидели, что-то еще осталось, может быть, ее дыхание, а может быть, тень, и он медленно побрел на костер.

Он подошел к наполовину угасшим головешкам, над которыми нет-нет да еще взвивались синие язычки угарного пламени. «Гефест,— вспомнил он.— Бог-предатель...» И увидел по ту сторону костра, как на стене часовни то вздымались вверх, то падали вниз две тени: одна, высокая, горбатая, и другая, низкая, округлая.

Он инстинктивно потянулся к плечу, думая нащупать карабин, но вспомнил, что не взял его из казармы. Он еще раз вгляделся в колеблющиеся тени, услышал их голоса: один был хриплый, мужской, второй старушечий, плаксивый.

— Вы, мамаша, извините, но не можем. Отдельную копать при такой мерзлости грунта силы надо, как у Поддубного, иметь. А у нас паек, как у всех, по норме...— хрипел мужской.

— Я же, миленький, не задаром. Вот же с брильянтом... колье,— шепелявил женский.— Тут и отец его и братья, как же ему в общей, славный ты мой. У него книг одних, почитай, сорок вышло. На могилку-то люди приходить будут.

— Это мы понимаем...

— Ну и вот, ну и хорошо. Берите колье, бог уж с ним, и сделайте милость... Вот там, где семейный наш.

— Да нет, мамаша, нам эти камушки ваши ни к чему. Не понимаем мы в них. Да и нет им сейчас никакой цены. Если копать, так и поесть надо. Хлеба... вот.

— Сколько же хлебца-то, миленький?

— Пятьсот граммов. Норма.

— Да где ж я возьму. Сама-то... Ведь не рабочую получаю. Да это брильянт настоящий, вы за него .. Ну вот, господи, ну не уходите, вот тут есть у меня... это все, до корочки.

— Да что вы, мамаша, тут и двухсот граммов не будет...

Казанцев понял, что происходило там, быстро перешел на другую сторону костра и увидел того, в телогрейке и линялой шапке,— у него было оплывшее, большеглазое лицо с резкими морщинами, как трещины, куда въелась черная гарь,— и рядом с ним в меховой дошке старуху и рявкнул:

— Отдай!

Большеглазый быстро откинул руку с хлебом за спину.

Казанцев кинулся к нему, но тот сумел отскочить, и в левой руке его блеснул металл.

— Фу ты,— вдруг облегченно вздохнул он, видимо, успел разглядеть, что Казанцев без оружия.— Чего кидаешься? Смажу ведь по башке.

— Отдай! — опять рявкнул Казанцев, показывая на старуху.

Тогда большеглазый вывел руку из-за спины, разжал ладонь, на которой лежало два ломтика хлеба, и протянул их старухе.

— Держите, мамаша,— со вздохом обиженного человека сказал он.— Видите сами, как связываться. Тут еще жизни решишься,— говорил он, косясь в сторону Казанцева и сжимая в кулаке железную занозу.

А Казанцев еще готов был кинуться на него, его била мелкая сильная дрожь.

— Сволочь! — выкрикнул Казанцев.

— Ну, ну, тише,— покачал головой тот.— Сам, небось, к хлебу кинулся... А у нас свой был разговор, и все... Нате, вот, мамаша, ваши корочки. А мы не можем. Не положено. — И он сунул старухе в ее дрожащие руки хлеб.

Старуха посмотрела на эти ломтики, подняла на Казанцева влажные, горестные глаза и сказала укоризненно:

— Что же вы, молодой человек, как же нехорошо... Что же мне теперь? — И с глухим, безграничным отчаянием вздохнула.

Этот ее взгляд сдавил Казанцеву горло. Он понял, что уже ничего не сможет сделать, и от жестокой беспомощности своей качнулся в сторону, закусив губы, но тут же увидел лицо с черными морщинами, сказал:

— Ладно. Я завтра приду и застрелю тебя, как сволочь и мародера.

И пошел, покачиваясь, к воротам.

6

В это же время в казарме мы собирались ко сну, наступал час отбоя. Все знали о том, что Казанцев ушел с девушкой в сторону кладбища, известие это принес совсем не Дальский, а Шустов, бог весть какими путями разведав даже подробности.

— Псих,— сказал он о Казанцеве.— Верный кандидат в дистрофики.

Воеводин сморщил пухлые губы в презрительную гримасу и смачно сплюнул, показывая этим свое отношение к происшедшему.

Больше об этом не говорили. Молчали и когда пришел Казанцев, стал укладываться, нервно вздрагивая узкими плечами, а глаза его неестественно, возбужденно горели потемневшей синевой. Не знаю почему, я почувствовал к нему брезгливость, будто этот парень вернулся из какого-то места, вроде лепрозория, и лучше всего избегать здороваться с ним за руку.

Я не могу даже сейчас объяснить этого чувства, но оно было именно таким.

Когда все улеглись, я осмотрел ребят и подумал: что-то изменилось за эти два дня в них, пока мы жили в казарме: они стали молчаливыми и более угрюмыми, и каждый как бы старался отъединиться от другого, не было того ощущения цельного, оно где-то сломалось. Может быть, это случилось

потому, что теперь каждый, получив свою пайку, старался забиться в угол и там колдовал с ней, а раньше, когда было немного побольше хлеба и еще приварок, ели иногда из одного котелка, деликатно ожидая, чтоб каждый зачерпнул свою ложку, и если оставалось варево на дне, его уступали тому, кто был больше всех голоден. А может быть, все это произошло по другой причине, хотя бы по той, что у нас не было дела, как там, в окопах, и его заменил не очень строгий распорядок дня, не имеющий той большой цели, какая была у нас возле Невы. Так или иначе, я ощущал все это и не мог не беспокоиться и долго не спал, взбудораженный этими мыслями.

Утром, когда прозвучал сигнал подъема, я по привычке рывком сел на нарах и при тусклом свете коптящей лампы, изготовленной из снарядной гильзы, увидел на полке прямо перед собой рядом с той веселой куклой еще двух: девчонку в беленьком платьице и кавалера с короткой шпагой, в штанах луковицами и бархатном камзольчике с беленьким воротником — словно они сошли с оперной сцены, эти Ромео и Джульетта, катастрофически уменьшившись в размерах. Дальский сидел рядом и, сопя трубным носом, прикрыв большие, выпуклые веки, как голубые полушария глобуса, натягивал сапоги. И меня вдруг взбесило его невозмутимое лицо и эти изящные игрушки, которые выглядели как бы насмешкой над всей нашей жизнью здесь, и я крикнул в полный голос:

— Убрать!

Дальский вскинул веки, посмотрел на меня печальными, как у бродячей собаки, глазами и долго тянул воздух носом.

— Убрать, к ядреной матери! — уж не мог я остановиться.— Тут вам казарма, а не балаган! Ясно?!

— Ясно,— тоскливо ответил Дальский, потянулся к полке и стал бережно снимать куклы.

7

Дышали белым теплом булки с марципаном, булки с маком, булки с запеченными котлетами, лоснились калачи, словно облитые тончайшей яичной скорлупой, потело ледяное масло, слезились сыры, и шлепались на тарелки разбухшие сосиски.

— Для вас, товарищ?

— Чашку двойного кофе и рюмку коньяку.

— И еще яичницу с ветчиной?

— Правильно,— сказал я.

Очередь шуршала газетами, блестела свежестью побритых щек, улыбалась розовой помадой; она была терпелива и спокойна. Семь утра.

Я взял свой поднос, сел к шаткому треугольному столику с многоцветной пластмассовой крышкой. Прежде чем прийти сюда, я полчаса стоял под холодным душем, думая таким способом привести себя в порядок, но самые скверные сны — наяву: они изматывают, как долгая болезнь, сухо во рту, в голове ватные хлопья, и даже холодная вода не дает бодрости.

Семь утра. Солнце бьет по окнам. И голоса, голоса со всех сторон:

— Иди к нему, медали на лацкан и бей авторитетом.

— Двух закадрили, в восемь у Барклая.

— Звонил! Семь баллов, черт знает что!

— Это вы о Ташкенте? Извините, не слышали, как у экскаваторного? Понимаете, они только мебель купили. Можно, я к вам подсяду? Очень хорошую мебель... А жертвы есть?

— Пять медалистов на место, ужас, что делают с детьми!

— Бухгалтера нашего балкой по заднице тюкнуло.

— Ну зачем же так? Я ведь серьезно... Только мебель купили — и землетрясение.

— Колбасы куплю палки три, сыру — голову, апельсинов разных, пусть от ленинградского продукта наслаждение имеют, а то год на консервах, без всякого витамина.

— ...ионизаторы надо ставить, какая шахта без ионизатора.

— ...стимул под названием «На-ка, выкуси».

— Первый эшелон — московское мороженое. И надпись: «Москва—Ташкент».

— Значит, у Барклая?

— В восемь!

— Не хотим быть паштетом, помогите Ташкенту!

— Бей авторитетом!

Их становилось все больше и больше, этих голосов, они ускоряли свое вращение, сталкивались и расщеплялись на звуки, превращаясь в гул, где были теперь только обломки слов.

Кажется, я задремал тут же за столиком и увидел горы и очень чистое небо. «Где это было?» — стал вспоминать я. И вспомнил: весной я жил два месяца в Саянах. На вершине сопки, особенно вечерами, стояла неправдоподобная тишина. Топилась печь в деревянном домике, а за стеной сонно работали счетчики, отмеряя количество невидимых частиц, несущихся из космоса на нашу планету. Мы жили вдвоем с приятелем, пили чай, курили, слушали транзистор и опять пили чай, но самое главное было в полночь: мы выходили из нашей бревенчатой избушки, надев валенки и полушубки, оглядывали сначала крохотный поселок обсерватории, потом горы, синие снежные вершины. Ровный голубой свет растекался над всем пространством, а внизу, в ущельях и долинах, была глубокая темнота ночи, без огней, без мельчайшей искры, и только один звук, скользящий и мягкий, с удивительно тонкой нотой, какой бывает иногда, когда крутишь ручку приемника, только этот звук висел над землей не прерываясь, у него не было эха, оно не отдавалось в горах, как от других звуков днем, и мне начинало казаться, что я слышу вращение земли, шелест ее движения вокруг невидимой оси, я боялся в этом признаться и вызвать насмешки моего друга-астрофизика, но порой мне чудилось: и он чувствует нечто подобное и потому стоит со мной рядом, настроив уши, как локаторы, и ловит, ловит этот звук.

Под ногами была скалистая твердость породы, на которой рос только карликовый багульник, но чем дольше мы стояли, тем больше казалось, что Земля отделяется от нас, а звезды и Луна становятся крупнее, и теперь не только слышно, но и видно вращение горных вершин; мы были над планетой, она двигалась под нами в скрещении магнитных бурь, опаленная солнечным ветром, и хвост светящейся пыли, как у огромной кометы, тянулся за ней, но она была не пустым телом, дышала испарением водных просторов и теплом биосферы, составляя единое, нерасчлененное целое; это ощущение длилось недолго, оно разрушалось само, тогда мы возвращались в свой домик к теплой печке и к чаю и становились каждый сам по себе мельчайшими былинками той же биосферы и в то же время целыми галактиками, отличными друг от друга. Так на какое-то мгновение, приняв в себя жизнь богов, мы, успокоен-

ные от дневных забот, засыпали, чтобы с восходом бежать к телескопу, где на белый экран тысячекратно уменьшенное ложилось Солнце, как больной на операционный стол.

Я увидел все это в одно мгновение и подумал, что, наверное, бывают в жизни людей минуты, когда они могут ощутить под своими подошвами всю планету. Бывают. Но... для этого вовсе не обязательно забираться так высоко в горы. Это может случиться и на асфальте, и на снежной дороге, и в окопе...

В кафе все еще клокотали голоса. Я съел остывшую яичницу, выпил остывший кофе, но в номер не вернулся: мне нужно было поехать за Финляндский вокзал, в то место, где стояла красная кирпичная школа и где я не был двадцать пять лет. И я поехал, сначала в метро, затем автобусом, потом шел пешком, и, когда я вот так двигался, со мной происходило нечто близкое тому, что испытывал я в полуночный час на одной из Саянских сопок — словно я не спускался под землю и не занимал троллейбусное кресло, а прошел по крышам домов и с этой высоты увидел пронизанный солнцем город. Он был окружен со всех сторон, как сторожевыми башнями, высокими точечными домами и многоэтажными глыбами других домов; они охватывали полукольцом, прижимая к центру, где блестела в граните Нева, многообразие крыш, сверкающих шпилей, чугунных решеток, словно пытаясь сломать их извечный строгий порядок, но он еще держался, был нерушим, отделяя себя все той же границей, но для людей, что двигались тротуарами, ехали в забитых автобусах и троллейбусах, глотали бульоны в пирожковых, вливались в заводские проходные, этой границы не существовало, а было одно цельное пространство города, которое жило в настоящем измерении, а граница была только для домов, мостовых, оград, и они обороняли ее — я увидел все это с высоты своего движения, мне нужно было это увидеть, чтобы найти в огромном мире жилых и рабочих площадей одну маленькую точку — одноэтажную кирпичную школу.

Вот и каменная кладбищенская ограда, за ней скопище лип, их черные тела осенены свежей зеленью, как ниспадающей влагой водопада, пронзенного солнцем, и колючая трава внизу, у камней, и белый асфальт дороги, но школы нет, а справа — дома, желтые, синие, белые дома и стеклянное кафе, а потом магазин, тоже весь из стекла, и молодые липы, и клумбы с цветами, а школы нет. Все-таки я был убежден: ее не могли снести.

Я недолго блуждал лабиринтом асфальтовых дорожек. Здание старой кирпичной кладки, закопченное временем, ютилось во дворе и похоже было скорее на гараж, нежели на школу, и на нем вывеска — «Комбинат бытового обслуживания». Стекла вздрагивали от бойкой работы швейных машин и ударов молотков, пахло кожей и клеем. Я вошел и очутился в современном холле с низкой и тонконогой мебелью, разноцветными стенами и цилиндрическими абажурами, спущенными на длинных проводах. Сидели в очереди женщины, положив на колени свертки с обувью и одеждой, и я тоже сел на свободный стул.

Ничто не напоминало здесь о прежнем, в этом старом здании все было новым: и люди, и стены, и порядок...

Порядок. У нас тоже был свой порядок: был подъем и отбой, были политзанятия и занятия с оружием, дневальство, наряды, и я, как отделенный, проверял, хорошо ли вычищены и смазаны винтовки, нет ли раковин в каналах стволов. Была и баня, после которой нам выдали свежие портянки, белье из санпропускника, гимнастерки, хотя и не новые, но получше наших, которые совсем истлели: мы не меняли их несколько месяцев. И даже приезжал один раз профессор, читал нам лекцию о Некрасове. Мне хорошо запомнилось, как стоял он в черной выходной тройке, сунув узенькие ладошки в кармашки жилета и выставив вперед настоящую профессорскую бородку клинышком, и глаза его в красных веках беспощадно пылали. Мы его хорошо слушали потому, что совсем недавно были студентами, и у нас сохранилось почтительное отношение к профессорско-преподавательскому составу, и еще потому, что от этой лекции веяло мирной жизнью, о которой мы начали забывать. Правда, во время лекции произошла маленькая неприятность. Профессор увлекся, вынул ладошку из жилетного кармана, сжал ее в кулак и крикнул:

— Бойцы, не забывайте, что по этому городу ходил молодой Некрасов и, нищенствуя, тайком собирал хлеб с трактирных столов!

И здесь Шустов допустил настоящую бестактность.

— А хлеб был белый? — спросил он очень заинтересованно.

Профессор так распалился, что не мог остановиться, и, не поняв, о чем его спрашивают, крикнул:

— Белый!

— Хорошо,— вожделенно вздохнул Шустов.

За это он получил от меня наряд вне очереди. Конечно, этот пример можно приводить как наглядное доказательство тому, что надо учитывать при лекциях аудиторию, но тогда мы об этом не думали, очень уважительно отнеслись к старичку, проводили его аплодисментами, он ушел довольный, и мы тоже были довольны, потому что знали: профессор состоит при своем деле и честно его делает.

Порядок есть порядок. И в этом огромном городе, осажденном и блокированном со всех сторон, где почти три миллиона человек были заперты немцами в ловушку, он имел свой особый смысл и предназначение, и все, от мальчишки из бытового отряда до огромных воинских частей, были подчинены ему, зная, что только в этом и есть настоящее спасение. Мы не могли выйти из его орбиты, даже если нас привели на отдых и мы заслужили его. Наша казарма была одним из крохотных островков огромного архипелага, и даже когда мы покидали этот островок с увольнительной в кармане, то оставались во власти тех законов, которые действовали на островке, как и на всем архипелаге...

Но казармы не было, а был этот современный холл, запах кожи, женщины в очереди и веселое дрожание стекол.

«Боже мой,— подумал я.— Неужели каждый поворот планеты вокруг оси невозвратимо уносит все, что творится в этот миг? Но это так же нелепо, как если бы Земля вдруг начала обращаться в другую сторону, и время бы поползло вспять, и исчезли бы все эти светлые дома, полукольцом окружившие город, и здесь бы все исчезло, а осталось бы снежное поле, а на нем красная казарма. Даже если бы планета начала вращаться в иную сторону, ничего бы не вернулось. Но ведь невозможно движение только в один конец, а если невозможно, то и минувшее не может быть только минувшим, все, что свершается, должно оставаться, обретая свое равновесие, ну пусть хотя бы в смене формы...»

8

Если бывают добрые черти, то, наверное, им и был Дальский. Во всяком случае, все, что произошло позднее, находилось в прямой зависимости от его козней. Он утащил Казанцева в угол коридора и молча, с чисто бесовской лихостью вынул из своего толстого, изрядно затертого бумажника два розовых билета. В сумерках Казанцев с трудом прочел на них: «Театр музыкальной комедии», сегодняшнее число и время начала спектакля — шестнадцать ноль-ноль. Дальский подмигнул, словно хотел сказать этим: «Смотрите, не опаздывайте, молодой человек»,— и удалился.

Всякий другой на месте Казанцева немало бы удивился и этим билетам и тому, что сейчас можно пойти в театр, да еще музыкальной комедии, или бы посчитал это скверной шуткой, но Казанцев привык принимать все всерьез, спокойно сунул розовые бумажки в карман гимнастерки, рядом с комсомольским билетом и солдатской книжкой, и направился ко мне. Козырнув по всей форме, он сказал:

— Разрешите обратиться.

Мне это не понравилось, и я буркнул:

— Ну, чего тебе?

— Увольнительную в город. Имею билеты в театр.

Я стал внимательно изучать его бледное лицо с веснушками на переносице, темневшими, как ржавые шляпки надежно вколоченных гвоздей, понял, что с мозгами у него все в порядке, и тут же догадался, для чего ему понадобилась увольнительная.

— А адрес Кошкина тебе не нужен?— зло спросил я.

— Нужен,— невозмутимо ответил он.

Наверное, у меня тогда все-таки очень плохо обстояло дело с нервной системой, и я, взбесившись, стал материться и, пока матерился, понял, что добуду этому синеглазому архангелу и увольнительную и дам ему адрес Кошкина — пусть он валится ко всем чертям.

Через два часа он получил свой дневной паек, который, собранный воедино, выглядел шикарно: сухарь, пайка хлеба, два кусочка сахару и сто граммов водки. Эту водку нам выдавали регулярно: она была синяя, как денатурат, но вкусная и крепкая, как настоящая водка. Выбритый и умытый, туго подпоясанный ремнем, хотя шинель на нем торчала коробом, Казанцев вышел из казармы и, как это полагалось по тем временам, взял карабин. Прямым ходом он направился на кладбище. Пошел он туда не только в надежде подцепить попутную машину, но еще и потому, что у него там было дело.

Он шел легко, чувствуя хорошую, злую бодрость во всем теле, и снег повизгивал под его сапогами. Экскаватор кряхтел за оградой, выпуская кольца черного дыма, синяя стрела его лязгала зубчатым ковшом, с которого неопрятно сыпались комья земли. Человека в телогрейке и линялой шапке он увидел сразу, как только вошел в ворота кладбища. Тот стоял возле часовни, черный лицом, поросшим щетиной и покрытым слоем копоти, только большие глаза ледяно темнели на нем. За кустами шла работа, и там переговаривались люди. А этот стоял здесь, застегивал ширинку, видимо, только что справившись со своей малой нуждой.

Казанцев подошел к нему, скинул с плеча карабин и, помня о железной занозе, сказал:

— Руки!

Могильщик не удивился, он словно ждал Казанцева, вынул из кармана рукавицы, надел их и поднял руки. Рукавицы были кожаные, хоть и потертые на ладонях, но крепкие и, видимо, меховые.

Казанцев посмотрел на рукавицы, щелкнул затвором, загоняя патрон. Ему надо было убить этого человека, он твердо решил так еще вчера и свыкся с этим решением, словно это было не его собственное решение, а приказ, исходящий свыше, который он не мог, не имел права не выполнить, и поэтому, хоть в нем и приглохла вчерашняя злость, ее сменило другое — необходимость и обязанность, а они уж требовали холодной четкости действий.

— Становись спиной,— сказал Казанцев.

Пока тот неуклюже поворачивался в стоптанных валенках, за кустами что-то начали кричать, скребущий стон экскаватора прервался. Казанцев подумал, что нехорошо тревожить тех людей выстрелом, представил, как они все сбегутся сюда. Нужно было найти другое место.

— Вперед,— сказал Казанцев.

Могильщик споткнулся, потом выпрямился и, держа руки над головой, пошел за угол часовни.

Деревянные резные двери были приоткрыты. «Туда»,— решил Казанцев и скомандовал.

— Заходи!

Они вошли, один впереди, мягко ступая по каменным плитам, второй позади, с карабином наперевес, подкованные сапоги его ударили гулко, и звук этот, как от лопнувшего льда, взлетел под своды. Казанцев взглянул вверх и увидел бородатого бога с раскрытой книгой, его лицо и золотое сияние вокруг головы были покрыты инеем, и на стенах часовни иней. Здесь было пусто, только в углу стояли ящики.

Могильщик с поднятыми руками прошел в угол, потом медленно повернулся к Казанцеву и, словно забыв о нем, сел на ящик, сложил рукавицы на колени, потер ладони, дуя на них и составив при этом черные, потрескавшиеся губы трубочкой.

— За что ты меня? — спросил он.

— За то, что ты сволочь и мародер,— сказал Казанцев.

— За старуху, что ли?

— За хлеб.

— Ну и дурак,— устало сказал могильщик.

— Ладно,— сказал Казанцев.— Мне с тобой некогда. Я пришел тебя убить и убью. Становись!

— Мне-то что,— вздохнул тот.— Убивай. Лучше уж сидя, не так ноги ломит. У тебя-то, небось, не пухнут... Ну, стреляй, чего ты?

Казанцев держал карабин стволом вниз. Он ни в кого так еще не стрелял, раньше он это делал, когда на него бежали и тоже стреляли или когда он сам бежал, ничего не видя перед собой. А этот человек в стоптанных валенках сидел, сложив по-домашнему руки на коленях, уныло смотрел на него большими, холодными глазами. И все-таки Казанцев чувствовал, что выстрелить надо, иначе он уйдет отсюда, не выполнив приказа, а он привык к тому, что приказ надо выполнять во что бы то ни стало.

— А ты кто такой? — спросил Казанцев.

— А хрен его знает,— вздохнул могильщик.— Тебе чего, автобиография нужна?

— Ну?

— Интересное собрание,— покачал тот головой.— Слесарь я. С оптико-механического. Слыхал?

— Нет.

— Ну, понятно. Эвакуировались они все. А меня вот, видишь, на эту должность мобилизовали.

— Зачем у старухи хлеб требовал?

— Жрать я что должен? Ты покопай отдельную, я на тебя погляжу.

— Не слесарь ты,— сказал Казанцев.— Ты червь могильный. Ублюдок — вот ты кто.

— Ты убивай. А то ящиком тебя как по башке дерну! — вдруг взвился могильщик.— Пришел тут мне мозги вправлять. Ты троих покорми, как я, а потом уж нотации читай. Я твоего хлеба суток трое не видал. На одной дуранде сижу... Ну, чего стоишь, рыжий. Бей!.. Только адресок мой возьми. Там баба и пацанов двое, каждому в рот положи,— внезапно замолк, слабо охнул, прижал рукавицу к глазам и так сидел долго, словно вслушиваясь во что-то внутри себя.

Казанцев стоял против него. Ствол его карабина совсем опустился вниз. Он нащупал под шинелью флягу, отстегнул ее, отвинтил пробку, подошел к могильщику, отнял его руку от лица.

— На-ка, только глоток.

Могильщик посмотрел на него, потом на флягу, припал к ней черными губами, глотнул, и, тут же поперхнувшись, закашлялся, и кашлял долго, пока его безволосые веки не стали красными и на глазах не навернулись слезы.

— И-о-ох,— тяжело вздохнул он, отер слезы рукавицей, сказал тихо: — У тебя нет ли чего курнуть?

Казанцев достал неполную пачку «Красной звезды», дал ему папиросу, взял себе, потом чиркнул спичкой. Они закурили.

— Хорош табак,— сказал могильщик.— На Урицкого всегда табак хороший был.

Казанцев покурил, спрятал флягу, где у него было граммов триста водки, которую он скопил за несколько дней, и сказал:

— Ладно, я тебя, понимаешь, убивать сегодня не буду. Но если ты, сволочь, еще хоть раз...

— До чего же табак хорош! — вздохнул могильщик, с сожалением отрывая от губ окурок.

— Ты понял?! — прикрикнул Казанцев.

Могильщик поправил шапку, надел рукавицы и, покряхтывая, стал подниматься с ящика.

— Приходи,— сказал он.— Куда я денусь? Если не помру, тут буду...

Казанцев вскинул карабин на ремень и пошел из часовни. У выхода он остановился, посмотрел вверх на бога с книгой, хотел прочесть, что у него там написано, но из-за инея прочесть не смог.

Он отыскал грузовик у котлована. Шофер сидел в кабине, собираясь отъезжать. Это был другой шофер, не вчерашний, а с седыми короткими усами под жилистым красным носом с впалыми щеками, но тоже, как и тот, в военной ушанке и теплом ватном бушлате. В кабине рядом с ним место было свободно, и Казанцев открыл дверцу, сел рядом.

— В город? — спросил он.

— Раз сел, чего спрашиваешь,— сказал шофер, и они поехали.

9

Машина часто вздрагивала, хотя дорога была ровной, без колдобин, и внутри у нее жалобно стонало при этом, и этот тягучий звук держался долго. «Может быть, я его зря пожалел? — думал Казанцев.— Ведь опять начнет обирать старух». Он повернулся к шоферу и спросил:

— Извините, пожалуйста, вы знаете этого, в шапке, в телогрейке, могильщика?

Шофер смотрел на дорогу, они въехали в улицу, по обеим сторонам которой стояли квадратные серые дома, возле них нанесло сугробов, и только в нескольких местах видны были тропинки к дверям. Дома эти были новыми, наверное, их построили незадолго до войны, улица впереди тянулась далеко, вилась по снегу одинокая колея от колес грузовиков.

— Ну, знаю,— ответил шофер.

— Он плохой человек?

Шофер посмотрел на Казанцева очень внимательно и спросил:

— Он что, тебя обидел?

— Просто я хотел его убить, дал, понимаете, слово, а вот не убил.

— Это за что же?

Тогда Казанцев рассказал ему, как было дело: и про старуху, и про два ломтика хлеба, и про колье.

— Понятно,— сказал шофер.— В восемнадцатом мы за это шлепали.

— А сейчас?

— А сейчас хватит своих шлепать, немца надо бить.

— Вы так думаете? — вежливо спросил Казанцев.

— Я еще и не так думаю,— сказал шофер.— Я еще тут в гражданскую на осьмухе сидел, и с Кировым разговоры имел, и могу как хочу думать. Может, этот Гришка и скот, и, может, его за это очень даже шлепнуть нужно, но ведь тоже трое ртов и каждому дай. Человек с отчаяния всякую подкормку ищет. А вот ты мне скажи: почему Питер сам себя жевать должен?

— Война,— сказал Казанцев.

— Спасибо,— хмыкнул шофер.— А я и не знал. Ты мне еще про Бадаевские склады расскажи. Сгорели, мол, потому и пухнем. И до чего же у нас брехню любят, это же надо ей такое почтение! — Покрутил он своим красным носом с синими прожилками.— Война! — Он опять презрительно хмыкнул.— А об войне до войны надо думать... Все дерьмо, парень, любая монета, любой коленкор — все дерьмо перед живым, и что б тебе тут ни было, хоть война, хоть мир, все об живом надо думать, а не как его шлепнуть. Пока в нем живое — он человек, а как в землю ляжет — ничто: ни он тебе, ни ты ему. Пустошь. И ничем ее новым, братишка, не засеешь. Мне корешок из Смольного рассказывал: «Звонит генерал с фронта, Кузнецову звонит: «Не могу линию держать, потери большие, давай подмогу». А Кузнецов отвечает: «Знаешь, генерал, зачем мы саперов у тебя взяли? Они на Пискаревке братские могилы взрывчаткой отрывают. Приезжай погляди, сравни потери в бою с потерями среди населения. А ведь оно не ходит в атаки...» Вот такая война, парень.

Казанцев его слушал и думал: «Что я знаю про смерть? Я ничего про нее не знаю. Останавливается сердце, распадаются клетки? И все? И ничего не остается больше, все поглощает земля и никогда не отдает. И те ребята, что умерли под Кингисеппом, а потом на Неве, больше никогда не будут, они есть только в моем сознании и больше нигде. И если бы я убил сегодня этого могильщика, его тоже бы никогда больше не было, и он бы исчез в траншее вместе с теми, кого привез этот шофер. Неужели возможна такая несправедливая пустота в природе, как смерть?.. Я об этом никогда не думал, хотя каждую минуту тоже могу умереть... Но, может быть, не все клетки распадаются, может быть, хоть что-то остается, хотя бы там, в земле, и это что-то через кругооборот передается другим людям, и живет в них, и рождает такие же мысли и чувства, какие были у тех, кто умер... Может быть, так, а может быть, нет. Может быть, прав этот шофер: если смерть, то пустошь. И ничем не засеешь, и нового на том месте ничего не создашь... Так что я знаю про смерть?»

А шофер держался за руль и смотрел на дорогу, ему трудно было смотреть: глаза у него были слабые, они слабыми были у него еще до войны, он был тогда старым человеком, злым и ворчливым, как все одинокие старики, болеющие язвой желудка, он мучал своих соседей по квартире, стучался к ним по ночам и заставлял гасить свет в уборной, пугал их цитатами из газет, а когда началась война, у него прошла язва от голода, и он пошел работать шофером, так как до пенсии знал это дело, и ему поручили такую же старую, больную и одинокую машину, как он сам, и он возил на ней тех, кого подбирали остывшими на улицах, или в нетопленных домах, или в развалинах, он узнавал иногда среди них знакомых, а иногда он просто думал, что они были знакомыми, и после работы, когда засыпал у себя в комнатенке, укутавшись барахлом, они ему снились, каждый раз одинаково: будто они все пришли к нему домой пить чай, и он их угощает чаем таким, какой он только один умеет заваривать из трех разных сортов, и конфетами «Мишка на севере», а каждую ночь гостей становится все больше, и он все время беспокоится, хватит ли всем чаю и конфет. Шофер боялся этого сна, иногда думал о нем днем, и сейчас он тоже о нем думал:

«Этот солдатик мог сдуру шлепнуть Гришку, и тогда бы он пришел ко мне пить чай. Мне больше никого не надо, я больше никого не пущу. У меня и чашек-то осталось две. Все разбились... Когда война кончится, куплю себе сервиз. Пусть тогда все приходят. А «Мишки» — ерундовые конфеты. Я люблю батончики, соевые. Не в том дело, что дешевые. Их жевать мягче... Сволочь же, этот немец, эх и сволочь!»

И Казанцев думал:

«Я ничему не удивляюсь, потому что все это было: и голод, и морозы, и много смертей. Все это было, я отлично помню. И мне многие говорили, что тоже помнят, что это было раньше, много лет назад, когда их еще не было на свете. Тогда пайку называли осьмушкой, а все остальное было почти так же. Может быть, я тогда один раз жил, и во мне остались какие-то клетки, которые помнят... Кто это рассказывал о скрытниках? Ага, мама. Она у нас рыженькая и веселая... Она любит сказки. Это был град Китеж. Он ушел под землю, и над ним — озеро. Он ушел и не покорился татарам, этот град. А потом из него выходили люди. Это скрытники. Они живут среди сегодняшних людей, но все помнят, как было прежде. Может быть, мы тоже все скрытники. И потом, через много лет, появятся ребята из-под Кингисеппа и с Невы, и только они будут помнить, как все было...»

И шофер думал:

«Лучше пироги. Напечь хороших пирогов из крупчатки. Простого пшеничного помола не пойдет. Уж печь, так из крупчатки. И водки четверть. И чтоб женщины были... Ни черта я пить не умел до войны. Мерзавчик возьмешь и один, как сыч, сидишь, тя-

нешь. А надо, чтоб народ, как на свадьбе. И чтоб обязательно женщины, такие крали, какие были у нас в табачном ларьке...»

«А может быть, все это утешение, может, и скрытников придумали, чтоб была надежда, будто человек может еще раз жить, пусть в другую эпоху, но может. Но он ничего не может, если он умер. Вот поэтому самое бесценное только одно — живое. И поэтому самое главное — не дать ему погибнуть ни от пули, ни от голода, ни от чего...»

«А баб у меня не было. Вот когда был молодой, еще были, а потом не было. Попала одна стерва. По вредности характеров, что ли, сошлись... Насилу выгнал. Это когда же? В тридцатых. Заведу себе бабу, настоящую, куплю ей платьев в Гостином и шубу. Хорошую бабу заведу... Ох, и сволочь же немец!»

Так они ехали, сидя в одной кабине, мимо красных корпусов Арсенала, где медленно по накатанному снегу двигались черными тенями люди и тащили саночки, и дальше стояли разбитые бомбами дома, а потом мимо Финляндского вокзала, тоже разбитого бомбежкой, и перед ним на площади обледенелой сопкой высился укрытый от осколков памятник Ленину, и въехали на мост, по краям которого топтались часовые. Отсюда была видна Нева в искореженном торосистом льду, в корявые складки его набилась черная гарь, и только местами, как просветы в мрачном небе, блестели желтые накаты; стоял вмерзший дебаркадер, верхушка с мачтой его была сбита, и железо от нее валялось тут же на льду, а дерево, наверное, порубили на дрова — остались только совсем мелкие щепки. Туда, дальше, в глубь Невы, была Петропавловская крепость, как неподвижная серая льдина, и серое небо над ней окрасилось снизу розовым, предвещая мороз. А впереди, за мостом, чернел мрачный коридор Литейного проспекта, и там, в этом коридоре, что-то вспыхнуло, взметнулись вверх густой вороньей стаей черные комья, а потом еще раз и еще. Казанцев не услышал ни свиста снарядов, ни разрывов, а только увидел эти огненные вспышки и птичьи стаи.

— Куда тебе? — спросил шофер.

— На Лиговку,— сказал Казанцев и назвал номер.

— Ладно, довезу.

Они ехали еще недолго и остановились возле серо-желтого дома с облупившейся штукатуркой, из окон которого, местами заколоченных фанерой, торчали ржавые трубы. Они торчали не только в этом доме, а почти во всех домах, по всей улице, как согнутые в локте и воздетые вверх культяпки рук.

— Спасибо вам большое,— сказал Казанцев.

— Ладно, будь,— ответил шофер, недовольный остановкой, потому что она прервала его мысли. Он захлопнул дверцу и поехал дальше, думая о том, какую бы он выбрал для себя женщину, вспоминая всех своих знакомых, живых и теперь уж не живых, это ему помогало ехать и забыть о голоде и о том, что руки очень плохо слушаются, глаза видят слабо, а ему еще нужно сделать два рейса.

А Казанцев прошел через полукруглую арку, попал в глухой колодец двора, остановился возле старой двери, на которой висело объявление: «Товарищи жильцы! Горячий кипяток выдается по 0,5 литра на человека с 7 до 9 утра, а также с 19 до 21 часу. Цена 3 коп. Домоуправление». Он внимательно прочел это объявление и стал подниматься по лестнице на второй этаж.

10

Она лежала на кровати, укрывшись двумя одеялами и пальто, смотрела на потрескавшийся желтый потолок, где в центре согнулась в кольцо лепная женщина и держала в зубах бронзовую трубку, из которой торчал электрический провод, и к нему был подвешен оранжевый абажур. Эту женщину с темными, как две раны, глазами она знала с самого детства и по-разному относилась к ней в разные годы; бывало так, что даже забывала о ней; но в последнее время она ее возненавидела, потому что эта женщина мешала ей вспомнить что-то очень важное, без которого ей просто нельзя было умирать. А она знала, что умрет, может быть, сегодня, а может быть, завтра утром. Все, кто до этого умер, и соседи и в сберкассе, где она работала, все заранее знали, что скоро умрут. Сначала она в это не верила, а потом убедилась, что это так. Впервые такое случилось на работе. Пришел старший кассир Климов, он ей всегда нравился, он был веселым, рассказывал смешные анекдоты, научил ее считать деньги быстро и точно, а тут он пришел и сказал:

— Олечка, примите у меня всю документацию, я завтра умру.

Она его отругала, не захотела принимать документацию, он ушел с работы и утром действительно умер. А потом это было с соседкой, она пришла и сказала:

— О моих пацанах побеспокойся, Оленька, ведь продержусь только до завтра...

А потом такое было еще несколько раз, и она поняла, что люди могут заранее чувствовать, когда это с ними случится. И теперь она сама это чувствовала: во всем теле наступила странная легкость, ничего в нем не болело: ни отмороженные пальцы ног, ни плечо, которым она сильно ударилась, когда упала на улице, и не было того жадного огонька, который всегда горел внутри от голода, ничего этого не было. Все тело стало легким, будто его подняли над полом, и оно так висело в пространстве, успокоенное, тихое, без сердечного стука, и еще была темнота, где-то далеко, но была — не вода, не земля, не воздух, а просто темнота, в которую можно было прыгнуть и ничего не почувствовать, и в то же время прыгнуть было нельзя, а надо было только ждать, когда эта темнота надвинется ближе, тогда тело само уйдет в нее. Может быть, она могла бы прожить еще день, потому что у нее оставался сухарь, который вчера переслал ей отец с тем солдатом, и немного дров, которые она набрала в пустых комнатах соседей по квартире, но ей не хотелось больше есть, и топить печку не хотелось, единственное, чего она желала,— это вспомнить что-то очень важное, но ей мешала эта женщина. Если бы Оля могла, она бы просто сбила ее с потолка. Так она лежала, когда раздался стук в дверь.

Казанцев вошел и сразу увидел ее белеющее в сумерках угла лицо и большие глаза, обращенные к нему, и вежливо сказал:

— Добрый день!

Прежде чем попасть в эту комнату, он заглянул в две другие. Там ничего не было, кроме пустых кроватей, остывших железных печурок, ненужных домашних вещей: старых ботинок, потертых ученических сумок, разных бумаг. Он уж подумал, что вообще тут никто не живет, пока не открыл эту

дверь, увидел Олю, обрадовался, смутился, что застал ее так, лежащей в кровати, и поэтому сказал:

— Извините, пожалуйста, я выйду на минуточку. А вы одевайтесь.

Он вышел в коридор, достал папиросу, стал курить. Поглядел на часы: было четверть второго, и до начала спектакля еще оставалось время. Он курил не спеша, чтобы дать ей возможность привести себя в порядок.

Через некоторое время он снова постучался, ему не ответили, тогда он открыл дверь и увидел, что она, как лежала в кровати, так и лежит. Он подошел к ней, заглянул в глаза, в эти огромные, как толстый зеленый лед, глаза, увидел там, в их глубине, темноту, испугался, быстро пощупал ее лицо. Оно было теплым.

— Вы больны? — спросил он.

— Уйди,— сказала она, узнав в нем вчерашнего солдата, и не захотела, чтобы он был сейчас рядом.

— Я за тобой пришел,—сказал Казанцев.— У меня билеты в театр. Настоящих два билета.

— Не понимаешь,— тихо, с укоризной сказала она.— Я сегодня умру... Ты уйди.

— Чепуха,— сказал Казанцев.— Никуда я не пойду. И так не умирают... Ну, ладно. Не хочешь в театр, не надо. Я сейчас чего-нибудь соображу. Вот чаю... Ну, конечно, чаю. Ты пока лежи, а я все сварганю.

Он поставил карабин к стенке и сразу засуетился. На подоконнике стоял чайник, в нем было налито до половины воды, и стояли тут пустые стеклянные банки, чашки, тарелки. Он присел к печурке, растопил ее, она быстро загудела.

— Отлично,— потер он руки, радуясь, что так у него все хорошо выходит.— Сейчас вскипит.

Он нашел в углу тряпку, расстелил ее на полу возле печурки, как скатерть, достал весь свой дневной паек, разложил его в порядке, поставил чашки.

— Прошу к столу,— сказал он.

Она не смотрела в его сторону, глаза ее были обращены на эту изогнутую по-змеиному женщину на потолке.

— Ну, ну,— сказал Казанцев.— Хватит возлежать, поднимайся.

Он подошел к ней и решительно снял с нее пальто, потом одно одеяло, второе. Она лежала в синем кашемировом платье, очень похожем на те, в каких ходили школьницы, только больше расклешенном, и оттого, что она была в платье, а не в пальто или телогрейке, а именно в платье, как ходили женщины до войны, он почему-то сразу поверил, что сейчас поставит ее на ноги, и, обхватив ее за шею приподнял с подушки. Она села. Волосы у нее были длинные, очень мягкие, темно-пепельного цвета и падали ей на плечи.

— Вот так и сиди,— сказал он.— И будем пить чай.

От печурки тянуло жаром, ее стенки нагрелись быстро, и чайник кипел. Он налил в чашки кипятку, взял с тряпки сухарь.

— Мы сейчас его съедим, а хлеб оставим на потом,— сказал он.— Держи чашку.

Она взяла, прижала ее обеими ладонями, хотя чашка была горячей.

— Пей! — приказал он.

Она послушно поднесла чашку ко рту.

«Вот так с тобой,— торжествующе подумал он.— Ты у меня еще попляшешь».

Они сидели рядом и пили чай с сахаром.

— Замечательный чай,— говорил он, хотя кипяток отдавал железом.— Понимаешь, у меня мама почему-то такой чай без заварки называла генеральским. Правда смешно?.. Ну давай я тебе еще налью, тут осталось. И можешь взять этот кусочек сахару. Мне хватит.

От жара печурки и от кипятка лицо ее немного зарозовело, это было похоже на то пламя в небе, предвещавшее мороз, какое было над Невой, когда он ехал сюда. Она допила кипяток, вздохнула, как после тяжелой работы, и посмотрела на него.

— А ты зачем пришел? — спросила она.

Он теперь знал, что она не все слышит и ей надо иногда объяснять все с самого начала, как объясняешь ребенку, и быть при этом терпеливым.

— У нас есть один чудак,— сказал он.— Я не знаю толком, чем он занимается, но он здорово делает куклы. Их, наверное, можно выставлять в музее. Совершенно великолепные куклы. Этот чудак мне дал два билета в театр, на оперетту. Это очень смешная оперетта, хотя я ее не видел. Я до войны терпеть не мог оперетту, потому что больше любил драму. А сейчас я бы с удовольствием посмотрел. И я подумал, что ты тоже пойдешь со мной.

— Куда? — спросила она.

— Я же тебе сказал, в театр,— терпеливо ответил он.

«В театр»,— подумала она и посмотрела в потолок на гипсовую женщину, потому что вспомнила сон, который снился ей совсем недавно: женщина заставила ее танцевать, и они танцевали, летая над столами сберкассы, потом она увидела, что все сейфы открыты и пусты, там тоже танцуют гипсовые женщины, и она во сне поняла, почему: в городе сгорели все деньги, люди стали жить без них, теперь никому не нужны ни сейфы, ни сберкассы. «Что ты умеешь делать?» — спросила ее женщина. «Только считать деньги»,— ответила она и после этого проснулась. И когда проснулась, то почувствовала, что ничего у нее не болит, а где-то впереди есть темнота, от нее тянется тонкая струйка, как дым, только без запаха и тепла, холодная, темная струйка, и она впитывается порами тела, наполняя его легкостью и холодом. Тогда-то она поняла, что с ней будет. «В театр»,— вспомнила она.

— Если бы ты могла, мы бы пошли,— сказал он.

И тут ее словно кто-то подтолкнул изнутри и сказал властно и грубо: «Надо!»,— как говорил иногда отец, если очень сердился. «Надо!» Этот резкий окрик заставил ее вздрогнуть, она всегда пугалась, когда так говорил отец, он мог потерять над собой власть и ударить ее по щеке, а потом слезливо извиняться, и она не столько боялась его пощечины, а вот той минуты, когда у него обмякнет лицо и повлажнеют глаза. Теперь, вздрогнув от этого внутреннего крика, она увидела себя как бы со стороны лежащей не на кровати, а повисшей в воздухе, неподвижно, и подумала, что сейчас, если она встанет и пойдет, неважно куда — лишь бы встать и пойти, то, может быть, она уйдет от всего того, что было с ней до прихода этого рыженького солдата, и она сказала:

— Пойдем.

— А ты сможешь? — спросил Казанцев.

Она встала с кровати и еще раз сказала:

— Пойдем.

Казанцев вскочил, посмотрел на часы и кинулся подавать пальто.

— Мы еще успеем,— говорил он.— Еще целый час...

Она закинула волосы за спину, и он подумал, что сейчас она будет причесываться, ему почему-то очень захотелось, чтобы она стала причесываться, долго и обстоятельно, как делала это мама, но она только закинула волосы и укутала голову платком.

II

На улице воздух посинел, и дома вдали казались нагромождением огромных противотанковых надолб. Казанцев шел, придерживая одной рукой ремень карабина, другой взяв под руку Олю, и так они шли медленно, хрустя морозным снегом. Где-то слева и впереди тоже хрустели шаги — там видны были тени людей, их было немного, и нигде — ни огня, ни отблеска, только вверху над улицей светлело грязно-синее небо. Так они двигались долго, пока не вышли к решетке сада Отдыха, где излучали слабое сияние вершины пик, и в нише стоял в печальном карауле римский воин, и снег вокруг не просто хрустел, а трещал, будто впереди, в сквере, ходил по кругу огромный зверь. Часто мелькали тени, слышно было, как разговаривали люди. Одна из теней отделилась от решетки, приблизилась, стала моряком с автоматом.

— Братишки, нет ли лишненького? — прохрипел он.

Они прошли мимо него и влились в поток людей, которые двигались к темному подъезду театра.

Оранжевое пламя большой коптилки, похожей на факел, отражалось в зеркальных стеклах дверей, освещало низенькую круглую фигуру контролера, он был в ливрее, шитой галуном, стоял без шапки, седой, и на этой черной ливрее важно блестел георгиевский крест, а рядом стоял ящик с песком и ведро. Только когда они подошли к нему и Казанцев протянул контролеру билет, то понял, почему он такой толстый: под ливреей у него была надета телогрейка. Он оторвал от билета и сказал:

— Пожалуйте.

Он говорил так всем, и выходило это у него четко, как команда, и в то же время весело, словно он приглашал людей в большую столовую, где всех ждет огромный стол с самой настоящей едой. Казанцеву это понравилось, он ответил вежливо:

— Спасибо.

Тогда контролер неожиданно гаркнул:

— Здравия желаю!

Вокруг рассмеялись, Казанцев удивленно оглянулся, увидел солдат, моряков, их смеющиеся лица, освещенные оранжевым огнем, и понял, чему удивился: он слишком давно не слышал, как смеялись люди, и подумал о контролере, что он, наверное, очень хороший старик, а может быть, даже это актер и его специально поставили сюда, чтобы зрители приходили на оперетту веселыми.

Казанцев повел Олю к дверям, которые были раскрыты в зал, и, как только они переступили порог, невольно остановился, увидев все это почти забытое великолепие: в зале горела люстра, хоть и неярким, но самым настоящим электрическим светом. Тени качались на темно-бордовом бархатном занавесе, на красной обивке лож, на позолоченных белых креслах и белых выпуклых балконах, и все это уходило вверх, галерея за галереей, и было наполнено людьми, и стоял в этом зале ровный шум голосов, в ко-

тором нельзя было различить отдельных слов, только шум, и шепот, и белые клубки пара от дыхания.

Они нашли свои места в партере в девятом ряду, посредине, вокруг сидели солдаты и командиры, кто с костылем, кто с рукой на перевязи, а кто с оружием между колен. Казанцев тоже поставил карабин между колен, взял Олю за руку, как тогда у костра, и с этой самой минуты словно закончилась одна жизнь и началась совсем другая, ненастоящая, даже нереальная, но она была, хоть и недолго, и это был не сон, а все-таки жизнь, в которой загорелся закатом занавес, поднялся человек во фраке, взмахнул палочкой, и все замолчало, осталась только музыка, она наполняла пространство все сильней и сильней, и этой своей силой вскинула вверх занавес, чтоб открыть зимнее чистое небо, дворцовые колонны, где жили веселые люди, заставляющие всех вокруг смеяться и грустить о судьбе крепостной актрисы, но не терзаться этой грустью, и совсем не ее судьба была главным, а то, что выбегали красивые женщины с розовыми голыми ногами и танцевали под морозным небом; выходил старый актер, которого все любили, хотя он должен был играть злодея, но его любили так, что, когда слышался его хриплый голос еще за сценой, аплодировали ему, и он приходил и был вовсе не каким-то там графом, а своим парнем, который перепутал все на свете, и когда ему давали бараний бок с кашей, он отмахивался и говорил: «Это после блокады. А сейчас бы дуранды!» Все это было понятно и смешно, поэтому его ждали с нетерпением и радовались, что он может так лихо танцевать и петь куплеты, и вместе с ним танцевали полуобнаженные женщины и красивые парни с румяными лицами. Когда опустился занавес и снова неярко зажглась люстра под потолком, весь зал недовольно вздохнул, что на какое-то время все это прервалось, и вместо того яркого и солнечного, что было на сцене, рядом оказались люди в пальто и шинелях, и холодный воздух зала, который прежде почему-то не ощущался, а сейчас отчетливо стало видно, как вьется над рядами пар от дыхания.

12

А в это же время старый актер лежал у себя в гримуборной, растирал опухшие, со вздутыми венами ноги и с тоской смотрел на поллитровую стеклянную банку с холодным супом, которая стояла на столике перед зеркалом. Он смотрел на нее и мучился. Этот суп ему дали в знак благодарности в госпитале, где выступал он с шефским концертом. Ему чертовски хотелось съесть этот суп, он истратил очень много сил сегодня, и впереди еще была большая работа, но он не мог съесть этот суп, он решил с самого начала, что не будет его есть, а отнесет жене. Он женился, когда ему было тридцать лет. Эта женщина была портнихой, она была красивой и статной, и куда бы он с ней ни приходил, все на нее оглядывались; она родила ему сына, который теперь был в армии; она постарела еще до войны, но еще раньше он думал о ней, что она хорошая жена и хорошая хозяйка, но ему все-таки не повезло с женитьбой, потому что эта женщина совсем не смыслит в его ремесле и с ней нельзя поговорить о том, как его не всегда понимают в театре, и он стал искать сочувствия у других женщин и легко находил его, потому что был знаменитым актером.

«Я бы мог его съесть,— думал он про суп.— Но там я съел одну тарелку, и у меня даже не вырезали талона из карточек, потому что начальник госпиталя — хороший человек... Конечно, я могу его съесть, у меня работа, а она сидит дома... Но у нее больное сердце, как же я могу его съесть? Потом я обещал, и это неблагородно. А кому я обещал? Ну, сам себе. Даже если сам себе, все равно это неблагородно. Но если я его не съем, меня уже не хватит на канкан».

Он перестал растирать ноги, одернул штанину, встал. Он медленно приблизился к гримировочному столику, где стояла банка с супом, вздохнул, накрыл ее газетой и стал гримироваться.

А за стеной была гримуборная кордебалета. Там сидели молча, кутаясь в телогрейки и пальто, худенькие девушки с синей кожей на руках и ногах. Они сидели молча, с тоской ожидая, когда кончится антракт и их снова позовут на сцену. Они молчали. Только что унесли на носилках через служебный вход театра их подругу, совсем молодую балерину, которая перед самой войной окончила училище. Она упала на сцене в середине действия, когда они выстроились в ряд и в розовом луче света, который специально дал осветитель, чтоб их обнаженные руки и ноги были красивыми, шли в танце на зрителя. Она упала, и они сомкнули свой ряд, чтобы никто этого не заметил в зале. Сейчас им надо было снова выйти на сцену и танцевать, хотя их стало меньше.

13

В зале ждали, когда снова начнется эта легкая и веселая жизнь, посмотреть на которую пришли все сюда, и уже толпились в проходах, занимали места те, кто выходил погулять по фойе, покурить. Внезапно шумная волна прокатилась по залу, начали вставать со своих мест, зашептали, показывая в средний проход, потом наступила тишина, и все стали смотреть туда, в середину зала. Казанцев и Оля тоже повернулись на своих местах. По проходу шла женщина. Она казалась высокой, потому что на ней было длинное бархатное платье с короткими рукавами, большим декольте на спине, это было красивое вечернее платье, плотно облегавшее ее тонкую талию, темные волосы женщины были уложены в высокую греческую прическу, они поднимались вверх, как черный факел, с белыми сединами по краям, и вытянутое лицо ее с ярко накрашенными губами было торжественным, она шла спокойно, слегка помахивая сумочкой. А за ней шел морской командир с золотыми нашивками на хорошо отглаженном кителе, он был низкий и плотный, этот командир, и нес на руках старенькую шубку и свою шинель. Они прошли вперед, сели на свои места, и все смотрели на них молча, каждый знал: в зале сейчас не менее восьми градусов мороза.

— У моей мамы,— сказал Казанцев,— есть такое же платье. Она тоже в нем ходит в театр.

Медленно начал гаснуть свет люстр, зажигался закат на занавесе, опять появился человек во фраке и с палочкой в руках.

— Ты бы могла снять платок? — спросил Казанцев.

Оля покорно высвободила руку из его ладоней, развязала узел на затылке и тряхнула головой. Волосы ее рассыпались. Она смотрела не на сцену, она смотрела на женщину, которая сидела впереди.

— У тебя есть расческа? — спросила она.

Казанцев полез в карман гимнастерки, вынул оттуда свою алюминиевую расческу и протянул ей. Музыка заглушала все шорохи в зале и все ширилась, ширилась, но он слышал, как потрескивают под расческой ее волосы. Он снова взял ее за руку, и снова взвился занавес, и раздались аплодисменты, когда еще за сценой прохрипел знакомый голос старого актера, а потом выбежали танцевать розовые девушки.

14

Мороз стал крепким, схватывал дыхание и, врываясь в легкие, как бы старался расщепить их изнутри. Небо светилось, но луны не было видно, она пряталась где-то за домами, и улица была окутана мглой, только сугробы на газонах, белея, указывали путь. Люди расходились из театра, и веселый голос, перекрывая скрип шагов, пропел густым басом только что слышанную и еще жившую своим нехитрым мотивчиком в памяти песенку:

...Звенят, звенят бубенчики,
А мы сидим с тобой, сидим, как птенчики...

Тут же чей-то другой бас оборвал его:
— Заткнись!

И голос захлебнулся. Теперь была улица, а не театр, улица, где был мороз и мгла, где нельзя было останавливаться или падать, потому что если остановишься, то можешь так и остаться стоять у стены, или, если упадешь, то не встать: тебя утром подберет разъезжающая для этой цели машина.

Казанцев и Оля шли, то убыстряя шаг, то, чувствуя скользкую почву под ногами, осторожно двигались, держась поближе к стенам домов, шли молча, и вокруг шагов становилось все меньше, меньше, пока не стало казаться: они одни идут черным бесконечным коридором. Упруго шелестя, словно стараясь распороть темноту, пролетел снаряд. Где-то позади, может быть, на Васильевском острове, ударил разрыв. Они подождали, не услышат ли снова этот шипящий шелест, но он больше не повторился. Казанцев покрепче прижал к себе Олин локоть, ощущал на щеке ее прерывистое дыхание; она была как ноша, которая стала частью его самого, ее нельзя было снять с себя, а лишь бережно нести, потому что только с ней он и мог двигаться этим незрячим путем.

Если бы не она, он бы прошел мимо дома с облупившейся штукатуркой, но она потянула его под арку. Они поднялись на второй этаж, вошли в комнату. Слабо голубело в черноте окно. Он опустил светомаскировочную бумагу, зажег спичку, отыскал на подоконнике коптилку, сделанную из консервной банки, поднес к фитилю огонь, коптилка загорелась синим пламенем.

— А дров у нас больше нет,— сказал он, с сожалением посмотрев на похолодевшую печурку.

— Ничего,— сказала Оля,— я привыкла.

Она сидела на кровати, растирая замерзшие руки.

— Ох, какой же я дурак! — вдруг спохватился Казанцев.— У нас есть водка, почти триста граммов. Мы сейчас ее выпьем. Сразу будет тепло. Замечательная водка. Вот увидишь, как будет здорово. И еще есть пайка на закуску. Можно устроить шикарную пирушку.

Он снял с подоконника коптилку, поставил ее на печку, достал из-под шинели флягу, аккуратно разлил водку по чашкам, оставив немного, так как знал, что впереди у него еще долгая дорога до казармы и, если у него не будет на всякий случай водки, он может замерзнуть в пути. Он разделил хлеб, взяв себе крохотный кусочек.

— Ну вот,— сказал он.— Мы даже можем чокнуться... Только ты пей сразу. Это неважно, что она так плохо пахнет, это настоящая водка. Увидишь, как станет тепло... Ну, давай мы выпьем за того чудака, за Дальского, который дал нам билеты. Хорошо?

Он чокнулся с ней. Она выпила и быстро откусила хлеб. Он тоже выпил и съел свой крохотный ломтик, чувствуя, как все внутри обожгло.

— Отлично,— сказал он.— Я еще покурю здесь и тогда уже пойду.

— Куда? — спросила она.

— К своим, в казарму.

Она быстро схватила его за рукав шинели.

— Нет!

Она не могла себе представить, что он сейчас встанет и уйдет от нее, она не могла этого представить; за то время, пока они были в театре, шли улицами, она привыкла, что он рядом, держит ее руку, и от его ладони текло тепло, которое медленно поднималось по венам и растворялось по всему телу. Пока она была с ним это долгое время, она успела забыть про женщину на потолке и про то, что ждало ее в этой комнате сегодня или завтра утром, она знала: если он уйдет, все может вернуться, тогда уж ничто ее не спасет, потому что спасти можно от такого только один раз,— и она еще крепче ухватилась за его рукав и опять крикнула:

— Нет!

— Но мне надо,— смущенно сказал он.— Понимаешь, они ждут.

— Нет,— сказала она.— Тут хватит места. И будет тепло, если хорошо укрыться... А места тут хватит, вот посмотри.

Она крепко держала его за шинель. Он понял, что не сможет ее оторвать от себя.

— Ладно,— сказал он.— Тогда я пойду завтра утром.

— Ну вот,— сказала она и погладила его по шинели.— Ну, вот... У меня еще есть сухарь, вон там, под подушкой. Будет завтрак. А утром у нас дают кипяток. Мы поедим, а потом пойдем...

Она еще никогда так много не говорила за все их знакомство. Ему стало весело, и он сказал:

— Врежут мне по первое число в батальоне. Ну, да черт с ними... Тогда давай ложиться, а то, если мы будем долго сидеть, замерзнем.

Она встала быстрее, чем обычно, разобрала кровать, где вместо простыни постелена была дерюжка, сложила два одеяла и даже взбила подушку. Он смотрел, как она ловко это делала, и ему нравилась ее работа. Он помог ей развязать узел платка на спине, она накинула этот платок и пальто поверх одеял, он снял свою шинель и положил ее сверху, стянул с себя сапоги, расстелил на голенищах две пары портянок, как делал это в казарме на случай тревоги, чтобы можно было быстро обуться. Она стояла в своем кашемировом платье, съежившись, ждала его.

— Ты ложись,— сказал он.— Быстрее! — А сам подошел босиком к печурке, задул коптилку.

Сразу обвалилась темнота, он нащупал край кровати, приподнял одеяло, нырнул под него. Ноги коснулись ее ног, и он почувствовал, что пальцы ее теплее, чем у него, немного отодвинулся, чтобы не причинить ей неприятного.

— А ты закутай ноги,— сказала она.— Подоткнись. Тогда будет совсем тепло.

Он покорно подоткнул одеяло со всех сторон, чтобы нигде не поддувало. Головы их лежали на одной подушке, и ее волосы были на его щеке, и ее плечо касалось его плеча, и ему очень захотелось взять ее руку, зажать в своих ладонях, и он сделал это.

— Понимаешь,— тихо сказал он.— У меня никогда не было девушки... То есть они были, еще в седьмом классе я с одной поцеловался, а потом увидел, как она целуется с другим парнем. Просто ей нравилось целоваться со всеми. А так у меня не было девушки. Даже сам не знаю, почему. Может, оттого, что я рыжий, хотя это форменная чепуха. Как ты считаешь?

— Чепуха,— ответила она.

— Ну, вот видишь,— обрадовался он.— Я знал, что ты так скажешь. Ты красивая, а все красивые должны быть добрыми. Я поэтому тебя полюбил, что ты такая красивая.

Он почувствовал, как она повернулась к нему лицом.

— Ты что?— спросил он.— Может, неудобно?

Она прижалась лицом к его плечу и тихо всхлипнула, потом еще раз и еще. Она плакала. Он удивился, потом испугался, протянул руку, погладил ее по волосам.

— Ну, что... что? — сказал он и почувствовал радость оттого, что гладил ее мягкие волосы, а она так плакала, слабо вздрагивая плечами.

— Я ведь тебя не обидел... Ну скажи, что? — говорил он, все более отдаваясь этой странной, горькой радости.

Она еще раз всхлипнула, еще плотнее прижалась лицом к его плечу и сказала с тоской:

— Ничего нельзя, я сейчас совсем как старуха...

Он не понял толком, что все это значит, но догадался: это связано с т е м, о чем любил рассказывать Воеводин в казарме. И, вспомнив это, понял, что она хотела ему сказать. Он обнял ее за плечи и еще раз погладил по волосам.

— Это все неважно,— сказал он.— Я тебя полюбил, это самое важное... Я тебя даже очень полюбил.

Он прикоснулся губами к ее волосам. Ему захотелось окунуться в них, в эти мягкие волосы, как в теплую воду, и они пахли, эти волосы, как утреннее море — свежестью и несбывшейся мечтой. На море он был всего один раз и то мальчишкой, он любил приходить к нему утром, когда над водой стелется слабый туман, и с тех пор запомнил его тревожный запах.

Она опять заплакала. Ей самой было легче от этих слез, теперь она плакала совсем не от того, о чем сказала Казанцеву, теперь она вспомнила довоенную жизнь. Сначала у нее был парень, который жил этажом выше; во дворе было много ребят, и она прежде его не замечала, ну жил такой парень, и все, встречался на лестнице, здоровый, как черт, губастый, с немного приплюснутым носом, потому что занимался боксом, а потом бросил это дело, так как ему стало некогда: он пошел работать на Кировский. А потом у нее был летчик, капитан, который успел повоевать в Испании и получил там орден, он был низенького роста, черный, как жук, на висках его чуть-чуть седели волосы, но лицо было молодое и бронзовое, словно он всю жизнь прожил под палящим солнцем. Это было, когда она закончила курсы и работала в сберкассе. Когда она туда поступила, кассир Климов сказал: «Порядок. Теперь у нас будет много вкладчиков». Она и сама знала, что красивая, и, когда приходили вкладчики, они подолгу старались задержаться у ее окошка. Она научилась им бойко отвечать, чтобы они не топтались на месте и не создавали очереди. Этот капитан тоже пришел с аккредитивом к ее окошку и сказал: «О синьора, честное слово, я никогда не видел таких зеленых глаз!» Она уж не помнит, что ему ответила, но так, что все девушки в кассе и кассир Климов рассмеялись, а капитан смутился. Он не сразу ушел из кассы, а долго еще топтался. Она убежала от него после работы через другую дверь. Он пришел на следующий день и несколько раз заглядывал к ним, шутил и угощал девушек конфетами, и девушки говорили: «Очень интересный мужчина, самостоятельный, он в тебя влюбился, Оля». Она позволила ему проводить себя. А потом они гуляли в саду Госнардома, плавали по Неве на речном трамвае, он рассказывал ей про Испанию, пел песни на незнакомом языке. Он был щедрый и веселый, жил в гостинице «Астория». Она никогда прежде не была в «Астории», и когда первый раз пришла, то удивилась всему: и старику швейцару, похожему на генерала, лифту, просторному, как комната, с табличками на иностранном языке, мягким коврам, белому строю дверей. А потом случилось страшное. Они сидели в ресторане и пили шампанское, и туда вошел отец с каменным лицом, при всех взял ее за руку и повел к выходу. Он вел ее так до самого дома. Оказывается, он проходил мимо и увидел ее в окно. Дома отец стал бить ее по щекам и кричал: «Вот ты какая стерва!» Он бил ее долго, пока не устал, а устав, сел и заплакал. Она его боялась таким. «Кто он?» — спросил отец. Она сказала, что это летчик и он был в Испании. Когда отец услышал про Испанию, у него побелели глаза, и ему стало плохо с сердцем. Она уложила его в постель, дала капель, но он все равно не спал эту ночь. Утром, еще до работы, она побежала в «Асторию», ей хотелось все рассказать капитану, чтобы он не обиделся за вчерашнее, но в гостинице ей ответили, что летчик уже не живет, уехал вчера ночью в Москву, а она точно знала, что ему надо пробыть еще неделю.

Она могла бы этого не вспоминать, потому что прошлое ей совсем не нужно было сейчас, оно было очень далеким, и она перестала быть красивой, и все в ней умерло, но она вспомнила то прошлое, и оно было не чужим, а ее, и ей стало жаль, что в той жизни, когда она была молодой, ни тот губастый парень, ни веселый летчик не сказали ей того, что сказал ей этот рыженький солдат. Она устала плакать, протянула руку, провела ладонью по лицу Казанцева, словно хотела проверить, есть ли он тут.

— Я ведь теперь как старуха,— сказала она.— Совсем как старуха.

— Все это ерунда,— ответил Казанцев. Он чуть не задохнулся, когда она провела рукой по его лицу, ему едва хватило воздуха, чтобы ответить ей.— Ты такая хорошая, что все это ерунда. Если бы я тебя показал маме, она бы очень обрадовалась.

— У тебя есть мама?

— Я тебе о ней говорил. Она далеко, на Урале... Я ей напишу про тебя.

— Зачем?

— Я ей напишу, что после войны мы с тобой поженимся.

— После войны — это долго,— сказала она.— Мы можем умереть.

— Тогда сейчас,— сказал он.— Ну, конечно, мы можем сделать это сейчас. Так даже лучше. Мы пойдем утром в загс, и нам дадут свидетельство. Очень просто. Какой же я дурак, что не подумал об этом сразу! Ты будешь моей женой. Будешь ждать меня. Все очень просто...

Она опять провела рукой по его лицу, и он снова чуть не задохнулся, и прикоснулся губами к ее волосам, и так лежал долго.

— Ты устала,— сказал он.— Ты спи. А утром мы пойдем.

Ей было тепло и хорошо рядом с ним, она плотнее прижалась к нему и скоро уснула.

Он лежал, чувствуя щекой ее мягкие волосы, и прислушивался к ее дыханию, вокруг была тишина ночи, от которой он отвык, в ней не было ни пулеметной трескотни, ни снарядных разрывов, ни всех тех звуков, которыми наполнена война, а только тишина и ее дыхание. Он жадно слушал его. Он уснул и просыпался несколько раз, боясь шевельнуться, чтоб не разбудить ее, и снова слушал и засыпал. Потом он проснулся от удара двери и сразу понял, что уже позднее утро. Сквозь маскировочную бумагу пробивался сильный белый луч, он, дымясь, разрезал комнату, вытянувшись к дверям. И там, на пороге, с винтовкой наперевес стоял Кошкин. Казанцев хорошо увидел его лицо, синее от злости, с маленькими, налитыми свинцом глазами, под которыми набухли мешки, плоское лицо со следами неизлечимого, векового голода.

15

Кошкин щелкнул затвором, загнал патрон. В белом свете блестел ободок ствола с черной дыркой посредине, он нацелен был в лицо Казанцеву, и тот мгновенно представил, как все это сейчас произойдет: ствол чуть вздрогнет, выбросит коротенькое пламя, но свиста пули он не услышит, а все случится вместе — это маленькое пламя и удар, от которого не будет спасения. Казанцев подождал, но выстрела не было, тогда он резко, как по команде «Тревога!», сел в кровати. Оля тоже проснулась и молча, скованная ужасом, смотрела на отца.

— Одевайся! — прохрипел Кошкин.

Казанцев вылез из-под одеяла, вздрогнул от холода, и, подергивая плечами, стал наматывать портянки. Кошкин подошел к стене, взял карабин Казанцева за ремень, закинул его за плечо. Щеки Кошкина мелко вздрагивали, словно он сдерживался, чтобы не застучать зубами, и синие выступы под глазами то набухали, то морщились.

Казанцев надел шапку, повернулся к кровати, чтобы взять свою шинель. Оля шевельнула губами, может быть, она хотела что-то сказать, но у нее не было сил от страха; скованная им, она лежала, глядя на отца. Казанцев погладил ее по голове, сказал:

— Ты не бойся. Я приду... Вот увидишь. Самое главное, не бойся.

Кошкин не смотрел на нее, он смотрел лишь на Казанцева, не пропуская ни одного его движения.

— Ремень,— сказал он, когда Казанцев, надев шинель, стал подпоясываться.

— Извините,— не понял Казанцев, недоуменно поглядев на Кошкина.

— Ремень сюда! — зло сказал Кошкин.

Казанцев пожал плечами, протянул ему ремень. Кошкин быстро дернул его на себя, скатал одной рукой, сунул в карман и скомандовал, указав винтовкой на дверь:

— Вперед!

Казанцев еще раз посмотрел на Олю, постарался ей улыбнуться:

— Ты сухарь съешь... Ну, до свидания. Все будет в порядке.

Кошкин ткнул его стволом в бок, и Казанцев пошел к дверям. Они спустились по лестнице, вышли на улицу.

— Извините, пожалуйста,— сказал Казанцев, оглядываясь.— Зачем же это вы меня так ведете, как арестанта?

— Шагай,— ответил Кошкин.— Ты и есть арестант.

Казанцев не знал тогда, что виновником появления Кошкина в комнате был я. Когда Казанцев не вернулся после отбоя в казарму, я, помня его аккуратность, не на шутку разволновался: не случилось ли чего. Он мог попасть под обстрел, его могли задержать патрули, многое могло произойти, и нужно было выяснить это, прежде чем докладывать ротному. Заволновался я еще и потому, что формирование нашего батальона пошло быстро, стали появляться новые командиры, приходили из всевобуча бойцы в роты, было ясно, что нас долго не будут держать и в любой момент могут отправить на позиции. После подъема я окончательно понял, что надо кого-то послать на поиски Казанцева. Наши ребята не знали города, и пойти мог только Кошкин, хотя мне очень не хотелось посвящать его во все то, что произошло. Но мне пришлось это сделать. Другого выхода не было.

— Почему арестант? — спросил Казанцев.

— Молчи, гад,— прохрипел Кошкин и снова ткнул его стволом в плечо.— Дезертир ты, сука. Иди, не оглядывайся!

«Вот теперь понятно,— подумал Казанцев.— Они меня там хватились. Но какой же я дезертир, даже смешно подумать...»

Без ремня под шинель поддувало, было холодно, и он пошел быстрее, но услышал, что Кошкин отстает, тот шел с винтовкой наперевес и еще тащил его карабин. Казанцев повернулся к нему, сказал:

— Вы бы вполне могли разрядить эту пушку и отдать мне. Сразу будет легче.

— Пошел,— сказал Кошкин и выругался.

Казанцев терпеть не мог ругательств, он прямо закипал, когда при нем начинали материться, и, хотя в армии этим занимались многие, он все равно к этому не привык и всегда возмущался, и я заметил, между прочим, что перед ним постепенно стали стесняться материться. Но сейчас он ничего не сказал Кошкину, он подумал: «Если мы будем так идти, то замерзнем или свалимся где-нибудь. Тут километров семь, не меньше. Надо бы что-то придумать, только я не знаю, что...» Он посмотрел вдоль улицы: трамвайные пути были занесены снегом, на проезжей части отпечатались редкие следы колес машины, на проводах, покрытых инеем, бесполезно висели таблички, показывающие остановки, и дорожные знаки, и медленно брели люди. Их было совсем немного, несколько человек тянуло за собой детские саночки, на которых или стояло ведро с водой, или лежал совсем небольшой груз — эти саночки и были главным транспортом, и скрип их полозьев в тишине морозной улицы слышен был далеко.

16

Кошкин приехал в город на машине, но он забыл договориться с шофером, чтобы поехать с ним в обратный рейс, да он и не думал сейчас об этом, он смотрел в спину Казанцева и боялся, что, если тот побежит, ему придется выстрелить, а стрелять он тоже боялся, потому что не получил такого приказа. Когда он вошел в свою комнату и

увидел дочь, а рядом с ней Казанцева, он чуть было не сделал такую глупость, но сумел победить это желание и был благодарен себе, что победил. Ему было велено доставить парня, и все. Главное, что он нашел его, а с дочерью потом, с дочерью он еще успеет... Он отрывал от себя последнее, чтобы она продержалась, он всегда отдавал ей все, что у него было, а она... Он еще успеет, он еще поговорит с ней по-своему. Не будь у него приказа, он бы с ними обоими поговорил. Когда он застал жену с бригадиром, его потом долго таскали в милицию, так он избил их обоих, но тогда судья и все поняли, что он не очень-то уж виноват, и все-таки его чуть не упекли, дали условный срок, потом он долго мыкался без работы, считалось — у него есть судимость. А сейчас военное время, сейчас никто церемониться не будет. Он бы мог их обоих проучить. Но с этим парнем и так все кончено. «Смерть паникерам и дезертирам!» Об этом все знают, тут все ясно. А она... Нет, об этом сейчас не надо думать. Вот он выполнит приказ, отойдет, тогда сможет все обдумать... Эх, ты, Оля, Оленька! Бабы — дуры. Все бабы дуры-дурехи. Разве он не учил ее? Ничему их не научишь. Нашла тоже парня — лядащий и рыжий. Да и время. Ничего не поймешь на этом свете. А какая девчонка! И мать ее была красивой. Первая на весь Клин, куда там питерским... Ох, и тяжелая у меня жизнь, пожрать по-людски за всю эту жизнь и то было некогда.

Они шли бесконечной улицей, один впереди, другой позади с винтовкой наперевес, иногда на них оглядывались люди, и Казанцев ловил на себе злой и угрюмый взгляд. Он знал, что, когда в этом городе вели человека под конвоем, он ни у кого не мог вызвать жалости, в нем видели только врага — шпиона или ракетчика, которых здесь одно время ловили множество, переодетых и в красноармейскую и в милицейскую форму, и все знали, виновниками какой огромной беды они были. Когда Казанцев увидел слепой от злобы взгляд старой женщины, он не выдержал и снова повернулся к Кошкину.

— Пожалуйста,— сказал он. — Может, мы пойдем рядом, я ведь все равно никуда не убегу. Ну, подумайте сами, куда же это я побегу?

Кошкин угрожающе приподнял винтовку.

— Шагай! — неприступно сказал он.

Они вышли к Неве. От широкого пространства льда, серого и вздыбленного торосами, потянуло едкой морозной тягой, обжигая кожу лица, пришлось приподнять воротник, чтобы как-то защититься от нее и спрятать руки в рукава шинели. Впереди был мост. Там, хватаясь за оледенелые решетки, согнувшись, как от тяжелой ноши, продвигалось несколько человек. Этот мост надо было пройти, он был как длинный пологий холм, по которому тянулась ничем не защищенная дорога. Такую дорогу лучше всего проходить, сбившись в кучу, тогда один обороняет другого от сквозного дыхания мороза.

Казанцев понимал, что даже и тут Кошкин не уступит. «Надо только не медлить»,— подумал он и, ускорив шаг, пошел к чугунным перилам. Он прошел совсем немного, как услышал знакомый снарядный вой и почти одновременно глухой толчок под ногами, успел инстинктивно крикнуть Кошкину: «Ложись!» — и сам плюхнулся на ледяной тротуар. Впереди, совсем близко, взбил осколок фонтанчик снежного крошева, и тут же опять ударил разрыв, Казанцев прижался к тротуару, слыша шелест мерзлых комьев. Когда он затих, Казанцев приподнял голову, огляделся. Надо туда, к домам, где гранитные глыбы цоколя.

Кошкин был совсем близко, лежал, зарывшись головой в сугроб, винтовкой прикрыв голову, эта винтовка вздрагивала, значит, Кошкин жив. Казанцев подполз к нему, ткнул в плечо. Кошкин еще так полежал, потом приподнял забитое снегом лицо, вытерся рукавицей и зевнул, потом еще раз и еще. Это был страх необстрелянного. Так он мог долго лежать и зевать, ничего при этом не видя, не понимая. Казанцев в отчаянии дернул его за винтовку и вскочил. Кошкин лежал. Тогда он пнул его ногой в зад, чтоб тот хоть немного пришел в себя.

— Подъем! — кричал Казанцев.

Наконец Кошкин что-то понял и тоже вскочил. Казанцев толкнул его и побежал в сторону домов, тогда побежал и Кошкин, они едва успели заскочить за угол и упасть за тяжелую гранитную глыбу, как опять грохнул разрыв, потом еще один, и все слилось в один гул, казалось: камни домов ворочаются, рушатся где-то над головой и под животом.

Потом все стихло, и Кошкин опять зевал, при этом у него тряслись подбородок и что-то хрустело во рту.

— Снега съешьте,— сказал Казанцев.— Снега...

Но тот не понимал. Казанцев, набрав в рукавицу снег, изловчившись, когда Кошкин открыл рот, забил его туда. Кошкин сглотнул, подавился и сердито посмотрел на Казанцева. И в это время послышался шум машины. Нет, Казанцев не мог ошибиться, где-то тарахтела машина, она, наверное, шла на большой скорости. Он выглянул из-за угла: вдоль набережной мчался в сторону моста фургон, обогнув еще дымящуюся воронку. Можно было успеть выскочить, преградить ему путь, остановить и на этой машине хотя бы проскочить мост, а может быть, и проехать дальше. Казанцев поднялся, но не успел выбежать на дорогу, опять с тем же воем полетели снаряды, и на крыше дома что-то загрохотало, упало вниз, бряцая металлом. Он нырнул за угол, там, где был Кошкин, навалился на него, прижался к стене. Теперь обстрел продолжался долго. Раза два до них долетали брызги воды, наверное, снаряды попадали в Неву. Потом стало тихо, но они лежали, не доверяя этой тишине.

— Вот это дал жару,— наконец сказал Казанцев.

Кошкин больше не зевал, он сидел, отряхивая с себя снег, и тяжело дышал. Казанцев протянул ему руку:

— Поднимайтесь.

Тот ухватился за руку, другой опираясь о стенку, поднялся и тут же чуть не повалился опять.

— Ногу подвернули? — испугался Казанцев.

— Да нет, онемела. Ничего, разойдусь.

Но Казанцев больше не слушал его, он смотрел в другую сторону, туда, к Неве. Там, накренившись боком на гранит набережной, с оторванным колесом, стоял разбитый фургон, его борт белел свежим деревом, расщепленный на много частей, крыша кабины смята. Вблизи лежал шофер в разодранном полушубке, снег под ним был красным, и даже на таком расстоянии было понятно, что шофер мертв. А из фургона вывалились на лед тротуара, на снег сугробов буханки хлеба; они лоснились черной коркой, они были всюду, эти буханки, и запах от них — сладкой полынной горечи, был так крепок, что убивал все другие. Казанцев не смог подавить набегавшей слюны, он сглотнул, но она набежала опять, раздирая все горло от желания впиться зубами в этот хлеб, и он пошел на буханки, медленно, покачиваясь, боясь самого себя, и пока он шел, откуда-то из домов, из подъездов, из подворотен выхо-

дили люди и шли к разбитому фургону, куда манил их этот непобедимый запах и где было столько буханок, что если их разделить на пайки, которую получал каждый в день, то их хватило бы на очень много, может быть, на батальон, а может быть, и на полк. Они распухали на глазах, словно каждую из них посадили на лопату и сунули на огонь, и она поползла, расширяясь порами, все выше и шире, и теперь уж это была не каждая буханка в отдельности, а холмы, горы хлеба, рыхлого, мягкого, с хрустящей, душистой коркой.

Казанцев отделил глазами одну из буханок и остановился рядом с ней; нужно было нагнуться, поднять ее, и тогда уж можно есть, жевать, упруго работая челюстями, долго и обстоятельно, а то они ослабли, эти челюсти, у них слишком давно не было настоящей работы. Но он не мог нагнуться. Рядом с ним остановились люди, и у каждого под ногами тоже была буханка, но никто не мог нагнуться, а только завороженно смотрели на нее, и людей становилось все больше, и они прижимались друг к другу, образуя полукольцо, тяжело дышали, как после долгой погони, прерывисто, с хрипами, и молчали.

Казанцев напряг все силы, поднял голову и огляделся. Он увидел рядом с собой Кошкина с обезумевшими, застывшими глазами, с набрякшими жилами под подбородком, а рядом с ним женщину: щеки ее провалились, и она до отчаянной боли закусила губу,— и потом другую женщину, прижавшую ко рту два белых кулака, и еще много лиц, искривленных, исковерканных желанием, которое наткнулось на невидимую преграду и замерло. И он понял, содрогнувшись, что достаточно хоть одному упасть и впиться зубами в хлеб, как лопнет преграда, все кинутся на землю и будут рвать эти буханки на части, но никто не шевелился, никто не решался даже наклониться и поднять хлеб, а только стояли неподвижно, прижимаясь один к другому. Кто-то в заднем ряду охнул, и было слышно, как он упал, но никто не оглянулся, потому что нельзя было оторвать взгляд от хлеба.

— Сдайте немного назад, товарищи,— прозвучал над толпой голос. — Сейчас машина подойдет...

Казанцев не видел, кто это сказал, но голос был спокойный и добрый, и от него сразу стало легче.

— Пойдем,— сказал он Кошкину.

Но тот не мог сдвинуться с места. Тогда Казанцев взял Кошкина за плечи, повернул и вывел из толпы, и как только они вышли из нее, Кошкин всхлипнул странно, на высокой ноте — так скулит собака, когда ей отдавишь лапу,— и, всхлипнув, вздрогнул всем телом, словно что-то внутри его разрядилось.

Они пошли к мосту. Кошкин очень ослаб, и Казанцев это видел. Перед мостом, там, где сбит был снарядом чугунный фонарь, он остановился и сказал:

— Ну, хватит дурака валять, давайте сюда.

И почти силой вырвал из рук Кошкина винтовку, содрал с его плеч карабин и, встав с наветренной стороны, приказал:

— Прижимайтесь ко мне, пошли.

Так они и пошли, притулившись друг к другу, съежившись, захлебываясь от жгучего мороза, который неистово звенел теперь вокруг, обрушиваясь с боков, сверху и снизу. Посредине моста зияла развороченная яма, и внизу был черный лед недавно застывшей проруби, которую пробил снаряд, зацепившись за перила, висели детские саночки, а дальше опять весь мост был пуст, и они шли, и шли, и шли по нему. Потом сразу стало легче дышать, Казанцев с трудом разодрал слипающиеся от инея веки и увидел, что они уже за домами. Кошкин был рядом, он все еще прижимался к нему, дышал с хрипом. Надо было найти какое-то убежище и там отдохнуть, может быть, погреться, а то теперь ясно: им не хватит сил дойти до казармы.

17

Казанцев зашел в первый попавшийся подъезд, пропустил вперед Кошкина, захлопнул дверь. Он огляделся: это был просторный вестибюль, от него тянулся вглубь коридор, окрашенный в зеленое. Что-то очень знакомое показалось здесь Казанцеву, хотя он наверняка знал, что не был в этом доме и не мог быть. Он прошел немного по коридору, плохо видя, все время набегали слезы, может быть, он отморозил веки и поэтому слезились глаза. Смутно маячила лестница, ведущая вниз, и он сразу ощутил, что оттуда тянет слабым теплом, стал спускаться. Лестница уперлась в дверь, за ней слышался негромкий женский голос; нельзя было понять, то ли там кто-то поет так странно, вполголоса, или же это молитва.

Казанцев постучался, ему ответили вежливо: «Войдите»,— он открыл дверь. Сначала увидел женщину, она сидела за столом, в пальто, но без шапки, волосы ее были совсем белые, но она не была старая, он понял это по ее лицу, хотя глаза на нем прятались в тени надбровных дуг. Она держала перед собой книгу и ждала, что он ей скажет. И он сказал:

— Здравствуйте.

Тут же услышал нестройный хор детских голосов, ответивших ему:

— Здравствуйте.

Тогда он увидел их, этих маленьких человечков, сидящих за партами, тоже в пальто, тоже без шапок, лохматоголовых, с большими глазами; они сидели, положив на черные крышки руки, попарно, их было десять или двенадцать или около этого, и он отступил назад под этим многоглазым пытливым взглядом, внутренне ахнув.

— Извините, мы...— пробормотал он.

— Заходите,— сказала учительница и показала в угол, где стояла сделанная из большой железной бочки печка. Наверное, у них был такой замерзший вид, что учительница сразу поняла: их приманило сюда тепло.

Стараясь ступать на цыпочках, Казанцев прошел первым, присел на корточки у печки и показал рядом с собой Кошкину. Сесть им было больше не на что, только на пол.

Когда Казанцев и Кошкин уселись, учительница постучала ладошкой по столу, требуя внимания, и стала читать:

Невы державное теченье,
Береговой ее гранит...

Казанцев вытер рукавом слезящиеся глаза, оглядел ребят. Они сидели неподвижно, не смотрели в их сторону, а только на учительницу и слушали ее. Может быть, они привыкли, что к ним сюда заходят иногда погреться, школа была близко от Финляндского вокзала, и мимо проходило много людей.

Твоих оград узор чугунный,
Твоих задумчивых ночей
Прозрачный сумрак, блеск безлунный...

Казанцев прикрыл глаза. Школа... Боже мой, школа! Вот почему это здание сразу показалось знакомым, как только он вошел сюда. Он стал слушать тихий, напевный голос учительницы и увидел, как, воздев кверху руку, скачет Медный всадник, но он скакал почему-то не по булыжной мостовой, а по черным, лоснящимся буханкам хлеба, выбивая из них искры, и в белом свете бледнело не лицо Евгения, а совсем другое, словно высеченное из мрамора, с большими темно-зелеными глазами... «Я еще приду»,— пробормотал Казанцев и вздрогнул, поняв, что засыпает.

Рядом шевельнулся Кошкин, он достал из кармана папиросы, Казанцев схватил его за руку. Ему самому захотелось курить, но здесь была школа, здесь нельзя было курить в классе, здесь можно было только сидеть и слушать. Кошкин тяжело вздохнул и спрятал папиросы.

Но торжеством победы полны
Еще кипели злобно волны,
Как бы под ними тлел огонь;
Еще их пена покрывала,
И тяжело Нева дышала,
Как с битвы прибежавший конь,—

прочла учительница и замолчала. На высоком ее гладком лбу выступили мелкие капли. Она устала, ей нужно было отдохнуть, и ребята понимали это, сидели молча и ждали.

Каждое утро учительница с трудом поднималась со своей кровати, обходила дома, где жили эти двенадцать — мальчики и девочки, приводила их в школу и занималась с ними. Она знала, что, пока эти двенадцать ходят в школу, они не умрут. Это нельзя было объяснить, но это было так: те, кто приходил на занятия, оставались живы. И еще она знала, что ей тоже нельзя умереть, если умрет она, умрут и они, но она очень уставала, ей всегда нужно было

отдохнуть в середине урока, тогда она сможет заниматься дальше, читать или решать задачи.

Она опустила книгу, прикрыла глаза, и Казанцев понял, что им лучше всего сейчас уйти, они хорошо согрелись и еще могут отдохнуть в коридоре. Он подал знак Кошкину, и они поднялись.

— Спасибо большое,— сказал Казанцев.

Учительница не шевельнулась, она сидела за столом, чуть покачивая головой, будто все еще про себя читала стихи.

— До свидания,— сказал Казанцев, и опять услышал нестройный хор детских голосов:

— До сви-да-ния.

Казанцев и Кошкин поднялись по лестнице и сели на верхнюю ступеньку.

И тяжело Нева дышала.
Как с битвы прибежавший конь,—

снова донеслось из-за двери.

— У меня водки есть немного,— сказал Казанцев, доставая флягу.— Граммов сто есть. Давайте поровну разделим.

Они выпили эту водку и закурили.

— Это что она им... молитву, что ли? — спросил Кошкин.

— Пушкин,— ответил Казанцев. — Александр Сергеевич.

— А я не признал,— вздохнул Кошкин,— показалось, молитва.

И тут Казанцев подумал, что вот они идут вместе, целую вечность идут, а Кошкин — отец Оли, но Казанцев так и не поговорил с ним ни о чем, маме своей он решил написать, а вот с Кошкиным не поговорил, и это нехорошо.

— Послушайте,— сказал он.— А мы ведь с Олей пожениться решили.

Кошкин уставился на него, мусоля в губах папиросу, потом сплюнул окурок на лестницу.

— А ну давай винтовку! — прикрикнул он и вырвал ее из рук Казанцева.— Подымайсь!

Казанцев укоризненно покачал головой.

— Вы что, не верите? — тихо спросил он.

— Подымайсь, кому говорят! — уж в полный голос рявкнул Кошкин.

Казанцев встал. Кошкин вскинул винтовку на руку и приказал:

— Вперед!

И они пошли по коридору и вышли снова на мороз...

Я встретил их, когда возвращался со складов, куда посылал меня старшина, встретил неподалеку от казармы. Они шли медленно, тяжело приминая снег, один впереди, без ремня, ссутулившись и спрятав руки в рукава шинели, второй за ним, покачиваясь и держа винтовку наперевес. Я испугался, что они вот так дойдут до казармы, и там их увидят все, и после этого уж ничего нельзя будет поправить, и надо будет докладывать ротному. Я кинулся им наперерез. Кошкин увидел меня, с трудом приставил винтовку к ноге и, едва ворочая одеревенелыми от мороза губами, доложил:

— Так что, разрешите доложить, арестанта доставил.

— Какого, к черту, арестанта? — вылупил я глаза. — А ну верните ему ремень. И побыстрее... А теперь в казарму, и там ни полслова. Слышите!.. А с тобой,— повернулся я к Казанцеву,— мы еще поговорим...

18

После дождя пахло сиренью, облака над Невским проспектом набухли малиновым светом, словно фильтры, сдерживающие лучи, не давая им возможности пробиться на серый асфальт; темнота держалась только в подъездах, а в глубине Невского сильный и тонкий луч распорол облака. Словно фотонный поток рубинового лазера, побеждающий любой свет, он упал на крышу Адмиралтейства, расплавил золото купола и так застыл неподвижно — маяк, посылающий солнечные сигналы. Я шел на эти сигналы мимо черных коней с блестящими крупами, будто они только что выскочили из вод Фонтанки и, вздрогнув кожей, разбросав брызги, застыли на углах моста, мимо побежденных собственной силой атлантов и белых стекол витрин, отражающих синее сплетение листвы, и опять увидел мраморные цоколи домов, покрытые, как крупной солью, инеем, и на них отпечатки ладоней и сползающие вниз следы пальцев,— наверное, мне никогда не суждено избавиться от этого сна.

Вчера днем я прошел по булыжному плацу Петропавловской крепости. Мне открыли дверь в хмурой стене, и я оказался в полуподвале, где стояли стеллажи с огромными папками, в которых хранилось прошлое. Откровенно говоря, я и сам не знал, для чего полез в музейный архив, у меня никогда не хватало терпения рыться в бумагах, подшивках газет и документах, я завидовал тем, кто умел это делать, но мне казалось, что если я не побываю в архиве, то упущу что-то важное: ведь нельзя во всем полагаться на память. Я со страхом оглядывал полки, не зная, с чего начать. Вдруг увидел в простенке карты. Это были старые карты военного времени, схемы обороны Ленинграда, отдельных участков фронта, одни из них были подклеены папиросной бумагой, потому что истерлись на сгибах, может быть, их извлекли из командирских планшетов, а другие были гладкими, наверное, они и прежде висели на стенах. Среди них выделялась одна своей величиной.

Это была карта европейской части страны, на ней синим жирным карандашом отмечена линия фронта; как взбухшая вена, шла она от Черного моря к Сталинграду, Москве и петлей захлестывала Ленинград.

Эта карта давно уже описана во всех школьных и вузовских учебниках, и описание это аккуратно разбито на параграфы, чтобы его легче могли запомнить те, кто учит историю, но...

Шустов лежал на осенней траве, убитой морозом, без гимнастерки, его крепкое тело молодого боксера было потным от напряжения, кровь выступала на бинтах, санинструктор старался потуже затянуть предплечье.

— Пустяк,— говорил он. — Подумаешь, царапнуло осколком.

— Иди сюда,— позвал меня Шустов. — Ты ведь знаешь мою маму? Она тебя любила.

— Ну?

— Ты ничего ей не говори.

— Ты был бульдогом,— сказал я,— ты им и остался. Все бульдоги — сентиментальные идиоты.

— Пусть.— Лицо его было совсем мокрым от пота. — Но ты мне скажи: почему... до самого Ленинграда?

— Тихо,— сказал я.— Об этом нельзя.

Воеводин прополз на животе по снегу километра два. Когда он ввалился в траншею, мы втащили его в землянку, стянули сапоги — пальцы ног у него были черными; сначала мы оттирали их снегом, потом водкой и остатки ее влили в него, мы истратили на это дневную выдачу ротной водки. Он был пьян, лежал с распухшим лицом на нарах, сладко чмокал губами и выплевывал формулы. Он прежде учился на физмате, у него были отличные способности, мы все это знали, хотя не понимали его формул.

Внезапно лицо его окостенело, он схватил меня за грудь, притянул к себе, и я увидел трезвые жесткие глаза.

— Почему? — прохрипел он мне в лицо.

— Тихо,— сказал я. — Слышишь ты, тихо!

Я стоял на страже порядка, я должен был стоять на страже порядка, хотя этот вопрос жил во мне, он так и остался на многие годы.

Как петля на шее, пульсировала синяя вена фронта охватившая город, и в центре ее почти три миллиона... Почти три миллиона в петле, и многие тысячи, а может быть, и миллион из них (ведь никто до сих пор не знает точно, сколько) — словом, целый град Китеж ушел под эту землю, вырытую экскаваторами, взорванную динамитом, в развалины домов, на дно Невы, под мостовые, под асфальт... розовый асфальт, над которым плывут сейчас набухшие багровые облака, а впереди, в глубине Невского, горит нетленный луч Адмиралтейства, как антенна, посылающая позывные солнцу.

Еще совсем ненамного повернется Земля, для этого ей понадобится всего полчаса, и захлопают двери, застучат каблуки, зашуршат шинами автомобили и троллейбусы, и могучий людской поток потечет из подъездов и в подъезды, по розовому асфальту, по умолкнувшим сердцам, по недосказанным надеждам тех, кто оставил следы пальцев на мерзлом мраморе цоколей домов.

Стучит пульс неубитого града Китежа. Может быть, это он посылает позывные солнцу? Ведь всегда должен быть хоть один луч, который ярче других, и хоть одно сердце должно биться сильнее. Даже если от роты осталось всего четверо, трое или двое, все равно хоть одно сердце должно биться сильнее. Но если остаешься один, тогда вся надежда на мужество.

19

До появления Казанцева в казарме не очень-то бросалось в глаза, как сдали ребята за эти сутки. Нельзя сказать, что и Казанцев был хорош, но все же лицо его и осанка многим отличались от других; не то чтобы в нем появилось нечто особенное, он был все такой же бледнолицый, с темной синевой глаз и так же нервно подергивал узкими плечами, но сквозь поры его кожи просвечивала какая-то свежесть, и жесты его были быстрыми, в то время как лица ребят отекли, все перестали бриться, говорили лениво, словно боясь растратить запас сил, который медленно скапливал каждый за ночь. Всего этого я как-то не замечал до прихода Казанцева, и то, что они не брились и у Шустова вырос на подбородке серый пух, а у Воеводина пробились колючие усики и появилось на щеках нечто наподобие общипанных бакенбард,— все это мне казалось нормальным, и только теперь я понял, что и сам зарос, стал неопрятен, и подумал, что даже там, в окопах, мы были чище, хотя жили в сплошной грязи. Мне стало обидно за себя, за ребят, и этот рыжий парень стал еще больше неприятен, словно он сумел словчить и обставил всех нас нечестным путем.

— Завтра с утра в наряд,— сказал я ему.— Хватит, отдохнул, а теперь гальюны почисть.

По лицам Шустова и Воеводина я понял, что они остались довольны моей командой: Шустов фыркнул, а Воеводин сладко усмехнулся. Только Дальский был ко всему безучастен, он сидел в глубине нар и, согнувшись, как темная ворона, колдовал над своим вещмешком.

Все, что случилось потом, было неожиданным для всех. Правда, сейчас, когда я все это вспоминаю, мне кажется: тут не было случайности, все зрело давно и должно было рано или поздно взорваться, только нужен был детонатор, а им в таких случаях может послужить любой пустяк,— так всегда бывает, даже в природе, когда сталкиваются теплый и холодный фронты, неминуема буря, а они обязательно где-нибудь да сталкиваются. А тут все-таки был не пустяк. Впрочем, вот как все случилось.

За окнами стемнело, мы опустили светомаскировку, зажгли коптилки, я сходил за обедом, и мы, как всегда, поделили свои пайки все тем же способом, только спиной к дележке на этот раз сидел не Казанцев, а Дальский. Он сел так впервые вчера и быстро освоился с этим нехитрым делом, но в отличие от Казанцева, который хоть и произносил фамилии, стесняясь, но делал это быстро, Дальский долго раздумывал, прежде чем ответить, покачивая головой, как факир, и прикрыв свои голубые веки. Едва мы закончили дележку, как раздалась команда: «Выходи строиться!»

Нас довольно часто поднимали такой командой, может быть, для того, чтобы мы не очень засиживались, и поводы для нее были самые разные: то проверка оружия, то зачитывался приказ о назначении нового ротного или другого командира, то для инспекции по форме... вот я уж и забыл, под каким номером шла эта форма, по которой мы снимали нательные рубахи, выворачивали их наизнанку, и санинструктор ходил по рядам, тычась носом в эти рубахи и близоруко щурясь, с таким видом, будто действительно мог этаким способом найти хоть одно насекомое. Я не помню точно, для чего нас подняли тогда, выстроили в коридоре, но только вызывали нас ненадолго, и мы вернулись к себе. Вот тогда это и случилось.

Я услышал, как зарычал Шустов, он не закричал, не взвизгнул, а именно зарычал, и на четвереньках по нарам метнулся в одну сторону, потом в другую, подкидывая вещмешки, шинели, тюфяки, и так он проделал это несколько раз, и опять зарычал, и выполз из глубины нар, его оттопыренные большие уши налились красным, и глаза были красными.

— Пайка,— сказал он шепотом и вдруг закричал, потрясая вытянутыми ладонями:— Пай-ка!

Мне показалось, что на губах его выступила пена. У нас никто не воровал, у нас никогда этого не было и не могло быть.

Шустов медленно повернул свои налитые глаза в сторону Казанцева. У него был точный нюх, он никогда не ошибался.

Казанцев стоял в углу, туда хорошо падал свет от коптилки. Он стоял прямо, словно в карауле, и смотрел на Шустова открытым взглядом, как смотрят дети в зоопарке на шагающего по клетке льва. Еще

прежде, чем Шустов спрыгнул на пол с нар, Воеводин успел схватить Казанцева за грудь, собрав складки на гимнастерке, и уперся кулаком в его подбородок.

Он не ударил Казанцева, он просто держал его, чтобы тот не смог улизнуть или спрятаться за кого-нибудь, и полные губы его вытянулись в тонкую ниточку.

— Ты! — крикнул Шустов. Он мягко спрыгнул на пол и, склонившись вперед корпусом, согнув в локтях руки, растопырив пальцы, пошел на Казанцева.— Ты! — еще раз крикнул он и захрипел:— Суке своей носишь, а сам... чужое... чужое... жрать!

Он шел на Казанцева, и ничто его не могло остановить, за ним была правда негласного закона: хлеб — святыня, и желтое при свете коптилки лицо Шустова с красными ушами набрякло решимостью правосудия, и он шел, шел, и пальцы его не дрожали, они были как полусогнутые стальные гвозди.

И когда ему оставалось сделать последний шаг, он наткнулся на руку и увидел на ней хлеб. Небольшой кусок коричневой плотной массы лежал на корявой, с потрескавшейся кожей ладони, и его прижимал палец с черным от старого подтека ногтем.

— На! — сказал Кошкин.— Искать не умеешь, сопляк.

Некоторое время Шустов смотрел на хлеб, словно обнюхивая его, потом поднял на Кошкина глаза, щеки его обмякли, а глаза недоверчиво метнулись по лицам.

Воеводин разжал кулак на груди Казанцева и отвернулся, плечи его вздрогнули и ссутулились.

А Казанцев стоял по-прежнему, не мигая, совсем по-детски глядя на Шустова. И тот сначала неуверенно приподнял руку, потом схватил хлеб и заплакал. Он тут же стал есть свою пайку, тяжело глотая, запихивая пальцем крошки в рот, а потом повернулся к нарам, упал на свое место и все плакал, совсем по-детски, беспомощно и жалко.

И вот тогда я понял: теперь всё, теперь нет нашего отделения, нет нашего взвода, нет нашей старой роты, от которой осталось всего четверо. Есть каждый сам по себе, а когда каждый сам по себе,— это всего лишь масса. А, как говорил мне тот же Казанцев, ссылаясь на какого-то философа, масса еще не народ.

Я не знаю, что еще было в тот вечер, кажется, политзанятия, ничего мне не запомнилось, и еще был отбой, печальный и тихий, как похороны.

А утром, когда прозвучала команда «Подъем!», я обнаружил, что в казарме нет Казанцева. Не было и его карабина. Он бежал. И теперь не я должен был его искать.

Как ни странно, но у меня тогда не хватило фантазии подумать о том, что он мог вернуться опять туда, на Лиговку. Но он вернулся, двери в квартиру были не заперты, и в комнате, где жила Оля, было пусто. Он сразу увидел, что здесь произошли перемены: кровать была аккуратно застелена, пол подметен, а может быть, даже вымыт, на подоконнике рядком стояла посуда.

Сначала этот порядок испугал его, но в углу на веревке висела выстиранная кофточка, и это его успокоило. Он подождал с полчаса, вспомнил объявление про кипяток и решил найти кубовую. Она помещалась в подвале, там сидели две худые женщины в черном, как монашки, они сказали ему, что она утром была здесь, брала кипяток и скорее всего ушла к себе на работу, а сберкасса — эта совсем недалеко, всего через два дома, и он может туда наведаться.

Он действительно без всякого труда нашел сберкассу, открыл зеркальную дверь, которая была оклеена крестами, и увидел за столом Олю: она перебирала бумажки и, когда вошел Казанцев, не оставила этой работы, только подняла голову.

— Здравствуй,— сказала она.— А я к тебе собиралась, вечером.

— Я же обещал,— сказал он.

— Все равно я к тебе собиралась, только после работы. У меня ужасно много работы.

Он осмотрел тяжелые сейфы, окрашенные под коричневый дуб, стеклянные перегородки, на которых были золотые надписи «Кассир», «Контролер», и спросил:

— Разве сейчас сдают деньги?

— Деньги? — сказала она.— Не знаю. Меня давно тут не было, может, кто и приходил. У нас много вкладчиков. У нас всегда было много вкладчиков. И каждый может прийти в любое время.

— Правильно,— весело сказал он.— А я болван. Я совсем забыл, что люди все должны покупать на деньги, а излишки класть в сберкассу. Об этом я еще учил в институте: «Товар — деньги — товар». А можно так: «Деньги — товар — деньги».

— Ну вот,— кивнула Оля.— И я точно так подумала утром.

— Что? — удивился он.

— Очень просто,— сказала она.— Проснулась, увидела на потолке эту мерзкую женщину и все вспомнила. Надо составить годовой отчет. Все сберкассы давно сдали, а мы нет. У нас никого не осталось, только я. Вот и вспомнила: без годового отчета никак нельзя, иначе все запутается, особенно проценты.

— Здорово! — восхищенно сказал Казанцев.— Это ты очень правильно подумала.

— Только мне тяжело,— вздохнула Оля и собрала стопочкой бумажки.— Форма такая сложная. Вот если бы я ходила на бухгалтерские курсы...

— Ты умница,— сказал он.— Ты обязательно справишься. А сейчас мы закроем твою сберкассу и пойдем в загс. У меня только один час, иначе опять из меня сделают дезертира.

Она отложила бумажки и шепнула:

— Наклонись.

Он перегнулся к ней через стол, и она провела ладошкой по его лицу, как в ту ночь, в постели, и он опять чуть не задохнулся и, поймав ее руку, прижал к своим губам.

— А разве так можно? — шепотом спросила она.— Вот так, в... загс?

Он перевел дыхание, словно всплыл из глубины, и ответил:

— Только так и можно, ведь мы еще вчера решили...

Она задумалась, она была в загсе один раз, когда девушка из их сберкассы выходила замуж; все тогда очень волновались, долго сидели на стульях в коридоре перед обитой дерматином дверью, и ей почему-то было страшно смотреть на эту дверь, будто там за ней их всех: и девушку, которая выходила замуж, и ее парня, которого она хорошо знает, потому что он живет на их улице, и ее — просто подругу — ждет человек вроде прокурора, который будет сердиться и задавать вопросы. Потом они вошли в комнату, там сидела усатая женщина, она очень спешила и действительно сердилась, выписывая свидетельство. Вспомнив это, Оля просяще посмотрела на Казанцева и сказала:

— А может, не надо?

— Надо! — непреклонно ответил он.

20

Она помнила, где находился этот дом с черной вывеской: «ЗАГС». Они поднялись по мраморной лестнице, на потолке трубили в фанфары облезлые ангелы. Возле двери, обитой дерматином, никого не было. Они открыли ее, в большой комнате топилась железная печурка, возле которой вместо дров лежали ножки от канцелярского стола с жестяной бляхой инвентарного номера, а за столом сидела женщина с черными усами. Оля сразу узнала ее и даже обрадовалась, словно эта женщина была ее старой знакомой.

— Из жилуправления? — сердито сказала женщина и пошевелила усами.— Давайте быстрей!.. Ну, что вы стоите? Где сводка?

— Извините, пожалуйста,— сказал Казанцев,— мы совсем не из жилуправления... Мы...— запнулся он.

Женщина потерла слезящиеся глаза и вдруг закашлялась и кашляла долго, при этом у нее все внутри скрежетало, как у двигателя, который забыли смазать, на глазах выступили крупные слезы, она их, наверное, не чувствовала, и они стекали по мягким щекам.

— Вам помочь? — вежливо спросил Казанцев.

— Не обращайте внимания,— махнула рукой женщина и постучала себя по груди.— Астма... Ну, садитесь, что же вы? Опять сегодня черт знает какая сводка, почти три с половиной тысячи. С ума можно сойти! — и вдруг закричала: — Некогда мне выписывать справки. Обращайтесь в «Похоронное дело». Там целый трест. У меня не сто рук, черт все возьми!

— Не кричите на нас, пожалуйста,— тихо сказал Казанцев и сжал Олину руку.

— Смотри какой! А может, ты сядешь на мое место работать? — продолжала она кричать.— Я на тебя посмотрю! Всем нужны справки, зачем вам справки?

— Нам не нужны справки,— сказал Казанцев.— Нам нужно пожениться.

Женщина вздрогнула, усы ее дернулись вверх, и, приоткрыв рот, она внимательно посмотрела на Казанцева.

— Пожениться? — спросила она, и опять в ее груди что-то заскрежетало, захрипело.

— Да, пожениться,— уже сердито ответил Казанцев.

Она помолчала, несколько раз сглотнув, словно переваривала это слово.

— Паспорт и солдатскую книжку! — приказала она, снова сглотнула и, неожиданно сморщив лицо, заплакала. Быстро достала носовой платок, прижала его к глазам.

— Что с вами? — испугался Казанцев.

— Ничего,— всхлипнула она.— Ничего...— И, сморкаясь, стала вытирать глаза.— Боже мой... Ничего, ничего... Когда все время регистрируешь только смерть... Ну, что же я сижу, дура? Я сейчас...— засуетилась она, пробуя выдвинуть ящик стола, который не поддавался.

И в это время звякнул телефон на столе. Она посмотрела на него сурово; по щеке к усам сползла ненужная, запоздалая слеза.

Женщина сняла трубку, в которой затрещало очень громко.

— Алло! — басом сказала женщина.— У телефона. Алло! Алло!

Но в трубке лишь трещало. Она подержала ее и швырнула на рычаги.

Женщина помолчала, прижавшись грудью к краю стола, и, глядя куда-то поверх голов Казанцева и Оли, сказала низким шепотом:

— А вам это очень нужно? Да?

— Очень,— ответил Казанцев.

Взгляд ее был неподвижен, черный, сухой, воспаленный усталостью и тоской.

— А я никогда не выходила замуж,— сказала, она все тем же шепотом.— И не жалела. Зачем?.. Боже мой, может быть, кто-нибудь придет с ребенком.

Она вздохнула и совсем обыденным, деловым тоном сказала:

— Давайте ваши документы!

21

Ночью самое людное место — Дворцовая набережная; здесь коленкоровый хруст асфальта под подошвами, смех и голоса, а в сизой воде сизые облака, пронзенные Петропавловским шпилем. И все же уличный шум совсем не такой, как днем. Город освобожден от машинного гула, и тишина, как прохлада, течет от Дворцовой площади, от Марсова поля и Летнего сада, она течет над домами сюда, к Неве, глушит смех и голоса людей, и они звучат мягко, будто все слова лишили согласных звуков, оставив только шипящие, и этот протяжный шорох кружит голову; может быть, поэтому все лица, что плывут мимо меня, кажутся немного пьяными, будто где-то на подступах к гранитному берегу люди выпили холодного белого вина.

Они плывут мимо меня — лица, лица, молодые, веселые, и я не могу запомнить ни одно из них, они просто плывут мимо меня, обдавая теплом виноградного сока, а я живу не здесь, а еще там, в гостиничном номере, где лежат на столе последние страницы рукописи, и я помню в них каждое слово. Я помню...

22

Мы чистили оружие. Мы делали это молча и старательно. Была дана команда: через два часа батальон выступает. Через два часа... А я все медлил, я все еще не доложил о Казанцеве, хотя это грозило мне совсем не сладким будущим, но я тянул и ничего не мог поделать.

Мы чистили оружие, а потом получали сухой паек, увязывали тощие вещмешки. За окном синело, когда раздалась команда: «Выходи строиться!» «Вот и все»,— подумал я и встал, чтобы оглядеть ребят перед выходом. Взгляд мой упал на пустые нары, на которых валялись старые тюфяки: вроде бы никто ничего не забыл, и тут я увидел на полке, над тем местом, где спал Дальский, стоят куклы: веселая женщина, а потом пара — Ромео и Джульетта.

— А это? — сказал я Дальскому.

Он шевельнул своим выпирающим, как клин, кадыком над желтым шарфом, посмотрел на меня печальными глазами и сказал:

— Не нужно.

И в это время я услышал:

— Правильно. Всегда надо оставлять что-то хорошее.

Я быстро обернулся и увидел Казанцева. Он затягивал узлом вещмешок и делал это так, будто был все время тут с остальными ребятами.

— Казанцев! — гаркнул я. Мне очень хотелось добавить к этой фамилии эпитет покрепче, но я сдержал себя, боясь, что привлеку излишнее внимание других командиров, и, сжав зубы, подошел к нему.— Сволочь,— молитвенно произнес я.— Ты... ты можешь объяснить свою отлучку?

Как только я на него крикнул, он сразу же встал по стойке «смирно», приставив карабин к ноге.

— Могу,— сказал он.— Разрешите доложить, мне полагается отлучка. Вот...— И он полез в карман, вынул оттуда вдвое сложенную бумажку.— Пожалуйста.

Я взял эту бумажку, развернул и прочел жирное слово, отпечатанное крупными буквами: «Свидетельство...» Я подвинулся поближе к окну, чтобы разглядеть, что там написано, и почувствовал, как появились за моей спиной Шустов и Воеводин.

«...о браке»,— дочитал я и посмотрел на Казанцева. Он стоял все так же, по стойке «смирно», словно в почетном карауле перед самим собой.

«Гр. Казанцев Алексей Сергеевич и гр-ка Кошкина Ольга Матвеевна вступили в брак, о чем в книге записей актов гражданского состояния о браке за 21 декабря тысяча девятьсот сорок первого года произведена соответствующая запись под №...»

— «Фамилии после заключения брака»,— прочел Шустов и потянулся к этой бумажке.— Дай-ка,— тихо попросил он,— «после заключения брака»,— он вздохнул и почесал свой нос,— «он — Казанцев, она — Казанцева...» А? — сказал он и вопросительно посмотрел на Воеводина.

Тот взял у него бумажку, повертел в руках.

— Первый раз такую штуку вижу,— вздохнул Воеводин и тоже прочел: — «Она — Казанцева».

Кошкин стоял напротив меня, слушал, как мы читали, и его маленькие глаза совсем утонули в набрякших мешках, но он ничего не сказал, он только стоял и слушал.

— Выходи строиться! — опять донеслось от дверей.

— Ладно,— сказал я, отдавая бумагу Казанцеву.— Потом разберемся.

Раздавались команды ротных и взводных. Батальон строился перед школой. Он вытянулся далеко, наш батальон, теперь это было настоящее войско, а не двадцать девять человек, какими мы пришли сюда. Мы заняли свои места в строю, и я видел левее школы, на посиневшем снегу у забора, группу женщин. Они стояли, тесно прижимаясь друг к другу, как и в тот вечер, когда мы их в первый раз увидели, и с краю этой группки стояла Оля. Женщины смотрели на нас, и все наше отделение смотрело в ту сторону.

— Алеша... слышь, Алеша,— услышал я шепот и краем глаза увидел, как Шустов протягивает Казанцеву сахар.— На-ка...

Казанцев подставил ладонь. И тут же Воеводин протянул ему свой сахар. И Дальский вынул из кармана, посмотрел на белые комочки, сначала понюхал, блаженно прикрыв глаза, и положил в ладонь Казанцеву. Тогда и я достал свой сахар. Теперь у Казанцева была полная пригоршня.

— Давай! — кивнул я ему.

Он отделился от строя, придерживая карабин, побежал к женщинам.

— На,— сказал он Оле, запыхавшись, и высыпал ей в карман сахар.— От наших ребят. Я тебе говорил, у нас мировые ребята.

Но она не смотрела, как он ссыпает ей сахар в карман, она оглядывала его лицо, словно хотела найти на нем что-то ей очень важное.

— Послушай,— сказала она.— Я боюсь. Я никогда не была на войне и боюсь. Страшно там?

— Страшно,— сказал он.— Но ты не бойся. Я к тебе еще приду, вот увидишь.

— Хорошо,— сказала она.— Только ты меня поцелуй. Ты ведь меня еще не целовал.

Тогда он наклонился к ней, и поцеловал, и побежал догонять нас.

Батальон двинулся, рота за ротой, взвод за взводом, мы шли и все оглядывались на край забора, где стояли женщины.

Мы шли и оглядывались...

23

Много лет меня мучила одна мысль: куда же девалась пайка Шустова?.. То мне казалось, что человек с таким нюхом, как Шустов, не мог ошибиться — пайку съел Казанцев. Я даже представлял, как это случилось. Казанцев вошел на какую-то минуту раньше нас, и этой минуты хватило, чтобы увидеть на нарах плохо прикрытый второпях вещмешком кусочек хлеба и проглотить его, не жуя. Я представлял его одеревенелое лицо при этом и опустевшую синеву глаз. Я не верил в это и... верил. Да, все это могло произойти. Человек от голода может на мгновение потерять себя, оставшись в одиночестве, так потерять, что не властен руководить своими поступками и хоть как-то контролировать себя. Когда перед тобой лежат буханки из разбитой машины и ты не один, а вокруг много людей, в тебе просыпается непобедимое чувство дисциплины и ответственности перед теми, кто стоит рядом, но когда ты один... Мужество можно потерять и на мгновение. И тогда этот маленький кусочек хлеба и это мгновение, когда ты проглотил его, стремительно перебросят тебя за черту, где нет никакого примирения между людьми. Так разве мог бы пойти на это Казанцев?

И тогда я начинал думать, что пайку съел сам Шустов. Он сжевал ее и проглотил двумя сильными глотками, когда раздалась команда: «Выходи строиться!» Сжевал и сразу забыл об этом, и пока стоял в строю, верил, что пайка ждет его на нарах под вещмешком. Голод иногда убивает память. В те дни мы видели и такое.

О Воеводине я не думал. Я хорошо помнил, как он вышел вместе со мной и вошел вместе со мной.

Я ломал голову над этим, потом успокаивал себя: мол, все это не так уж и важно, а важно другое — был Казанцев, и этот парень сделал дело, которое помогло нам жить, когда мы были там, возле Невы. Так я думал много лет и совсем забывал о Кошкине, об этом плосколицем человеке с маленькими пугливыми глазками, набрякшими синими мешками под ними и больным сердцем. А ведь это он протянул свою пайку на шершавой ладони. Вот это-то я видел своими глазами, видел, как он достал ее из кармана, завернутую в тряпицу, чтобы не потерять ни одной крохи, стремительно развернул, кинул хлеб на ладонь и понес его навстречу озверевшему Шустову. Он знал, как и все мы: пайка — это так свято, что в эту секунду никакой пощады Казанцеву не будет, даже если правота на его стороне, потому что никто эту правоту разбирать не станет. Кошкин знал только одно: «Убить зверя, рожденного в человеке. Убить!» Он сделал это просто, потому что иначе не умел.

«Искать не умеешь, сопляк».

А я забывал об этом, размышляя лишь об одном: «Кто?» Я и сейчас не могу найти на это ответа. Слишком много лет прошло. Но как я мог забыть про Кошкина?!

24

Мы шли через город, через сгущавшуюся синеву мороза, мимо цоколей домов, покрытых густой солью инея, мы шли к Неве, где были окопы и где была война.

Так мы и идем до сих пор. Я навечно приговорен к этому городу. Здесь началась и кончилась моя юность. Но она начинается вновь, когда наступают белые ночи, стоят у домов в бессонном карауле, лишив все предметы теней. Тогда-то, зная заранее, чем это грозит, я сажусь в поезд, еду в Ленинград. Мне нужно пять дней отдыха от текущих рабочих дел. всего пять дней и пять белых ночей, чтобы вновь увидеть сон, где есть мраморные цоколи домов, покрытые крупным инеем, и отпечатки ладоней на них, чтобы пережить все с самого начала.

Так каждую весну снова начинается моя юность.

НОВЫЕ ПЕСНИ ОЗЯБШЕГО МЕРИДИАНА

(Рассказывает чукотская поэтесса Антонина Кымытваль)

— Пора домой. Пора на Чукотку, — говорила Кымытваль. — Сегодня я видела во сне оленей и плакала — так соскучилась...

Она прилетела в Москву сдавать экзамены на Высших литературных курсах при Институте имени Горького.

— О Чукотке много пишут. Я слышала, что за несколько месяцев на Уэлене побывало больше ста корреспондентов...

Тоню Кымытваль на Чукотке знает каждый. И на Дальнем Востоке она тоже хорошо известна. Ее стихи на чукотском языке и в русских переводах часто печатаются в Анадыре и в Магадане. Тоня — член Союза писателей и Союза журналистов.

— ...Только пишут эти корреспонденты не о самом главном. Конечно, о новых поселках нельзя не писать. И о новой технике у зверобоев. И о том, как золото на Чукотке добывают. И об электростанции, которая у нас строится... Но ведь это везде в нашей стране, это общее развитие... А у нас, чукчей, много особенностей, о которых и хотелось бы рассказать...

Кымытваль говорит с расстановкой, чуть-чуть растягивая каждое слово, как обычно говорят по-русски все чукотские женщины,— и получается это у них как-то очень ласково.

— Главное, о чем следует, по-моему, писать, — это о том, как чукчи, эти «дикие туземцы забытой земли», становятся сейчас современным народом. А «забытой землей» называл Чукотку один писатель в четырнадцатом году. Вроде бы совсем недавно...

Тоне двадцать девять лет. Она родилась в 1938 году. Тогда уже в некоторых районах Чукотского национального округа были организованы колхозы, но в тундре еще кочевали первобытные стойбища, так живо и ярко описанные Юрием Рытхэу — первым профессиональным писателем Чукотки.

Когда же пришло время Тоне Кымытваль учиться, почти все чукотские дети уже ходили в школы. Она поступила в Анадырское педагогическое училище, когда уже сотни молодых чукчей и чукчанок учились в техникумах и институтах. Учителя и врачи — чукчи, которых теперь много здесь,— это в основном люди ее поколения. И первые чукчи — писатели, первые чукчи — ученые — это ее сверстники, а если и старше, то ненамного.

— Мой приятель Петр Инендикей (он филолог) защитил недавно в Ленинграде кандидатскую диссертацию, первую диссертацию чукчи, между прочим,— говорит Тоня. — А другой мой знакомый, Володя Рентыргин, стал первым чукотским физиком.

Я помню, какое впечатление произвела у нас на Чукотке первая книга Юры Рытхэу. Я начинала тогда преподавать в школе. А когда уже работала в анадырской газете «Советкен Чукотка», пришел к нам олений пастух Василий Ятыргин и принес рукопись «Мальчика из стойбища». Эту повесть вскоре издали в Магадане — получилась чудесная

книжка о детях, что-то вроде северного варианта «Рыжика» Жюля Ренара.

И еще есть у нас интересный молодой писатель. Кажется, совсем недавно я редактировала мальчишеские стихи Миши Вальгергена. А сейчас он готовит свой поэтический сборник...

Тоня Кымытваль — автор нескольких книг стихов, интересных, ярких. И не случайно с высокой трибуны Большого Кремлевского дворца ее сверстница Анна Дмитриевна Нутэтэгрынэ, председатель Чукотского исполкома и член Президиума Верховного Совета СССР, назвала Тоню «гордостью Чукотки»...

— Вот вы сказали: старая Чукотка канула в Лету. Это правильно, — говорит Тоня. — Но нельзя забывать, что вековая отсталость не улетучивается моментально и безболезненно. Хорошо, что яранги кочевников заменены новыми домами, хорошо, что провели радио и электричество, а в магазинах появились стиральные машины. Но ведь не сразу все это органично вошло в быт чукчей. Нужно время и терпение, чтобы разъяснить все преимущества нового быта и чтобы все население Чукотки раз и навсегда приняло новый быт... Ты был на Чукотке и знаешь, что все это далеко не просто...

Да, прошлой осенью в Уэлькале — маленьком поселке на берегу залива Креста — я видел, как возвращались с оленями из тундры чукчи-пастухи. Вошел старый чукча в свой дом и остановился в нерешительности. Похоже, что он часто теперь терялся, входя в дом: ведь всю жизнь жил в яранге, и сейчас, во время кочевья, жил в яранге, и странно ему было видеть белые плоские стены, белый плоский потолок и большие застекленные окна. Снял старик со стены медвежью шкуру, бросил ее на пол и лег на нее, хотя рядом стояла аккуратно застланная кровать. И спал он не раздеваясь, а проснувшись, лежал, слушая, как его внук учит урок. При этом выражение лица старика было таким напряженным, словно он рассматривал на снегу следы песца и пытался догадаться, удастся сегодня охота или нет. Он не умел читать и по-чукотски, а внук читал по-французски мольеровского «Тартюфа»...

— Никто, пожалуй, не сделал столько для культуры чукчей, сколько русские учителя. О них, к сожалению, еще очень мало писали. А какие это замечательные люди!.. Вот сейчас и в Анадыре и в маленьких поселках живут учителя, вернее, учительницы, приехавшие на Чукотку еще в начале тридцатых годов. Я многих хорошо знаю — Ольшевскую, например, Елену Фаддеевну, Катерину Сергеевну, Веронику Франтову — и вижу их совсем юными выпускницами Владивостокского и Хабаровского педучилищ. Конечно, они завидовали строителям Днепрогэса и Магнитки, о жизни говорили стихами Маяковского, пели песни революции, ровесниками которой были некоторые из них, и мечтали о небывалой стране, которую они построят. Они отправлялись работать в самые трудные районы страны. Нужно хоть раз побывать на Чукотке даже теперь, чтобы оценить их героизм и самоотверженность. А когда они приехали сюда, попасть к нам можно было лишь на пароходе, как с материка на остров, да и то раз в год. У нас не знали русского языка, а русские девушки не знали языка чукчей. Им предстояло преподавать в ярангах, неопрятных и тесных, при тусклом свете жирников. И жить в ярангах, где за пологом — сшибающая с ног пурга или мороз в минус 50 и полярная ночь, кажущаяся бесконечной. И не встречали их здесь с распростертыми объятиями. Тундровые чукчи говорили: «Грамота нам ни к чему...» Жили себе на «озябшем меридиане» — так кто-то из поэтов образно называл Чукотку — и не представляли себе мир дальше горизонта. За горизонтом для них начиналось неведомое, сказка. А сказку, считали чукчи, лучше всех рассказывает шаман...

Елена Фаддеевна Ольшевская — теперь она заслуженная учительница РСФСР — говорила мне в Анадыре, что некоторые из русских учителей не выдерживали первых трудностей и возвращались домой. И у нее самой иногда возникала мысль бросить все и уехать. Но куда? И что искать? Более благодарную и интересную работу? А разве можно было найти более благодарное и интересное поле деятельности, чем Чукотка?! Искать более способных учеников? Но она очень быстро убедилась, что почти все дети чукчей хоть немного да художники, музыканты или поэты. Поэтический народ — чукчи... Или уехать туда, где хорошо оборудованы школы и благоустроен быт? Нет, ради этого бросать начатое дело было стыдно, недостойно. Ольшевская осталась на Чукотке. И рада, что не поддалась минутной слабости...

И Кымытваль сказала мне:

— Наверное, мы когда-нибудь поставим в Анадыре монумент первым русским учителям, дореволюционным и советским, жившим с чукчами и учившим их...

И добавила:

— Трудно передать, как благодарна я своей первой учительнице, которая познакомила меня с поэзией... Я уже не помню ее фамилию. А звали ее Марией Львовной. Она рассказывала о русских поэтах и влюбленно читала наизусть Лермонтова. А как чутко она отнеслась ко мне, когда однажды я показала ей свое первое стихотворение, где рифмовала чукотские слова с русскими!.. Мне было тогда десять лет, и училась я в интернате в поселке Мухоморное. Мухоморное — одно из самых красивых мест на Чукотке. Именно там я узнала, как поэтичны и красивы наши народные обычаи и обряды. Дважды в год в поселок возвращались пастухи с оленями: весной—на праздник молодого оленя и осенью— на забой оленей. Весной пастухи приходили нарядные: в кухлянках из красного и белого меха, в легких торбасах из нерпичьих шкур. За поселком разводили костры, вешали котлы — готовили праздничный пир. Больше всех своих традиционных праздников чукчи любят праздник молодого оленя — Кильвэй. И я с самого раннего детства ждала его задолго до весны...

Кымытваль продолжает:

— Как все бывали добры и щедры в эти майские дни, особенно к детям! Считалось, что это праздник не только молодых оленей, но и молодых людей. Детям накладывали в блюда то, что предназначалось обычно идолам, — самые вкусные куски мяса и языки. Говорили: дети, они тоже как боги. А после еды начинались игры. Метали копья, стреляли в чучела из луков, набрасывали арканы на бежавших оленей, перекидывались плетенными из шкур мячами. Все пели и ритмично, под бубен, раскачивались друг против друга, как в твисте. Потом вновь садились у костров...

Если бы Кымытваль родилась на одно-два поколения раньше, быть может, детские впечатления остались самыми яркими на всю ее жизнь. Но они оказались только началом ее познаний. Тоня открывала для себя страну и мир, как открывали их в те годы все чукчи. Школы, радио, книги и газеты, поездки в институты и на фестивали, новые знания и новые профессии раздвинули обычный круг представлений. Земля оказалась большой и разной. И людей на земле было много, и они тоже были разные. И всюду могли встретиться товарищи и друзья. Волнения и радость этих открытий были настолько сильными и всеобщими, что первые чукотские поэты писали прежде всего о них. Благодарностью было признание родного народа.

Главный герой стихотворений и романов Юрия Рытхэу — молодой чукча, едущий учиться и убеждающийся, что его народ «уже не подобен одинокому путнику в тундре в глухую полярную ночь». И героиня Кымытваль готова каждому протянуть руку с радостью и нетерпением, словно за столетия оторванности от цивилизации чукчи изголодались по общению с людьми. Она всем интересуется, за всех волнуется, ей до всего есть дело. Когда в Греции был брошен в тюрьму Манолис Глезос, чукчанка Кымытваль послала ему письмо: «Из края льдов, из края вьюг, где вечно стужа сердится, летит к тебе на знойный юг, летит к тебе на помощь, друг, простая песня сердца». Когда погиб конголезец Патрис Лумумба, Тоня написала взволнованное письмо его вдове — «черной сестре Полли». Рассказала ей о своей новорожденной дочке и нарисовала ее маленькую ручку: «Полли, посмотри на наши руки, протянули их тебе подруги, чтобы защитить тебя от боли, чтобы ты сильнее стала, Полли».

— Чукчи открывали для себя не только окружающий мир,— говорила Кымытваль.— Они открывали и открывают вместе с тем самих себя. Прежде у них было мало возможностей убедиться, например, как могут они тосковать по Чукотке, покидая ее, и как могут они скучать друг по другу, расставаясь надолго. И они не знали, какие глубокие волнения могут вызывать в них совершенно новые занятия. Почти все мои стихи — об этих неведомых прежде чукчам переживаниях. Я рада, когда читатели пишут мне о том, что я выражаю их собственные чувства...

Кымытваль пишет по-чукотски. Но, как и многие чукчи, чаще говорит по-русски. Я поинтересовался ее мнением о судьбе языка чукчей. Не думает ли она, что со временем он отомрет, как исчезает язык эскимосов на Аляске. Там молодые эскимосы знают один английский.

Вот что сказала Кымытваль:

— На Аляске так печально случилось потому, что там нет писателей и поэтов, которые писали бы на родном языке. У нас совсем иначе. Петя Инендикей (а он самый большой авторитет в нашем языке!) говорит, что язык чукчей обязательно будет жить. В нем есть достоинства, которых нет в других языках. Это очень верно. Например, грусть в стихах на чукотском можно выразить, по-моему, даже лучше, чем по-русски. А чукчи любят мягкую грусть и в стихах и в музыке. Потом мы вряд ли смогли бы жить без своего родного языка. Даже те, кто обычно говорит по-русски. Это как тоска по дому на Чукотке...

...Мы шли по улице. Было морозно, и Кымытваль зябко поеживалась. На Чукотке бывает значительно холоднее, но там одеваются теплее. А здесь Тоня оделась, как москвичка, — пальто, шапочка и ботики — и оказалась уязвимее москвички, потому что не привыкла быть так легко, по ее мнению, одетой.

— Прошлые поколения приучили нас к тому, чтобы все время глядеть вдаль и всегда искать что-то вдали, — говорила она. — И когда мы ходим по большому городу, мы начинаем нервничать, будто нам душно и взгляду нашему тесно: не видим привычного горизонта. И тогда ясно, что пора домой — в тундру, к морю...

Потом, улыбнувшись, она закончила:

— Это я перевожу тебе стихи, которые, может быть, напишу вечером...

Она написала эти стихи.

Вот они. Перед вами. В переводе Леонида Завальнюка.

Горизонт

Горизонт — это то, что несем сквозь года
Мы, свободные дети суровой земли.
Горизонт — это то, что мы видим всегда,
То, что близко душе,
То, что вечно вдали.
И когда мы идем по большим городам
И когда начинаем свой дом забывать,
Неуютно, тревожно становится нам
Оттого, что нельзя горизонт увидать.
Это значит — пора
К морю, в тундру, туда,
Где стоит Анадырь, ставший нашей судьбой.
(Неприветливой, мрачной дырой
Называли его иногда...)
Анадырь, Анадырь, мы сроднились с тобой!
Есть на свете немало других городов.
Есть красивей и больше, но нету родней.
Анадырь, Анадырь, не жалея трудов,
Мы подарим тебе миллионы огней,
Трассы новых дорог, ясный свет и тепло.
Будут скверы и парки.
Ведь главное есть:
Есть прекрасные люди,
Их сердце к тебе привело.
И служить тебе каждый считает за честь.
С полуслова тебя понимают они,
Потому что в тебе они друга нашли.

Горизонт — это правды высокой огни!
Горизонт — это счастье любимой земли!

Грусть

Случайный солнца луч вдруг сердцу моему
Внушил такую грусть,
Что, как подстреленная птица,
Оно трепещет, улететь стремится.
А почему?
Сама я не пойму!
Так мне тревожно, будто я в тайге
Одна сегодня в первый раз ночую.
Полено толстое, чаат, в моей руке...
Кого боюсь?
Кому грозить хочу я?
Оружием таким же напугать тайгу!..
И если рев медведя я услышу,
Все брошу и куда-нибудь повыше,
На дерево взберусь иль просто побегу.
Растет тревога смутная моя...
А ведь таежник опытный
Отлично знает:
Медведь неглуп, он зря не нападает.
Но я неопытна. Все позабыла я.
Одно лишь помню: шкура под ногой,
Я выделать ее пытаюсь неумело.
А ты смеешься надо мной...
О, как бы я хотела
Вернуться в день тот давний, дорогой! —
Чтобы случайный луч блеснул из темноты
И снова здесь со мной вдруг оказался ты!

Беседу вел Владимир АФОНИН.

Юстинас Марцинкявичюс

Поэма начала

Туманное раннее утро. Тихо и спокойно.
И серая, словно холстина, масса.
Даже не знаешь, много ее или мало,
только знаешь, что ей надо дать форму.

Так что ж, малевать ночь
и свои кошмары!

Дождемся цвета иного и звука.
Начальной отметки дождемся.
Начнем сначала.

А может, возвратимся в ночь,
где не отличишь свет от тьмы,
как ни безумны твои усилья!
Может, вернемся...

Серая необрамленная масса.
В ней весь наш будущий космос.

Хорошо, что однажды ты его уже видел.
Теперь будет полегче.
Надо только как следует подумать,
припомнить, что в нем было всего важнее.

... ... в самом деле,
что в нем было всего важнее!
Припомнился хлеб и припомнился голод.
Хорошо, что мне известно и не забылось.
Вчера, только вчера как будто
Я читал, что в мире миллионы голодающих.

Хлеба! Что ж, буду лепить лепешки
из серой и бесформенной массы
и смотреть, как зубы тонут в мякоти.

Белые зубы и черный хлеб —
какое счастье,
когда встречаются два этих цвета!

Я все припомнил:
пьянящий запах квашни старинной
и широкую ладонь хлебной лопаты,
на которой — подобно миру —
создается округлость буханки.

Припомнил хлебный нож —
ценнейшую из семейных реликвий,
переходящую от поколенья к поколенью.
Он властелин всех ножей и ложек,
философ утвари, поэт посуды.
Припомнил — он был стар и сточен,
но блистал мудростью.
Ему было лучше всех известно,
какое счастье, когда железо
воплощается в хлебный нож.
А меч (и все, что исходит от меча) —
вырожденье.

Мне это тоже известно. Не задерживайте —
я спешу на ежедневное свидание с хлебом.
Пропускайте всех — никого не задерживайте.
Разве некогда не молились:
«...Хлеб наш насущный даждь нам днесь...»

Даждь нам днесь насущную верность!
Даждь нам единственную верность!

Садись, странник, сядь, неведомый брат мой.
Ты пришел издалека на сей перекресток,
именуемый жизнью.
Где ты только не был,
прошел все века и помнишь много.
Вижу, что ты правильно сделал,
сменяв выродок-меч на хлебный нож.
У меня тоже только хлебный нож,
сядь и поешь.
Потом расскажешь,
как строил Вавилонскую башню и пирамиды,
как во чреве деревянного коня
торчал у врат Трои.
Все это я уже знаю,
но все равно послушаю с наслажденьем.
Поведай мне о последнем — девятом
круге Дантова ада — Освенциме и Хиросиме.
Все это я уже знаю и даже начинаю забывать.

Садись и ешь —
в моих руках только хлебный нож.

Потом присядем у порога,
и нас озарит заходящее солнце,
и все, возвращаясь с работы,
будут здороваться с уважением.

А мои дети ахнут от изумленья,
когда ты расскажешь
о единственном чуде,
которое тебе довелось увидеть,—
о манне небесной,
именуемой в просторечии хлебом.

И впрямь, чудесно. Садись и ешь.
Пускай твой нож отрежет
столько, сколько тебе надо.
Ты много странствовал, много помнишь,
ты знаешь, что хлеба не надо больше,
чем его действительно надо.

Погляди: женщина ведет корову с пастбища.
Женщине издали видно,
что в моем доме странник,—
она подходит, но долго
не решается заговорить.

Корова стоит у ворот
и тоскливо жует жвачку.
Женщина опускает голову,
поправляет косынку и спрашивает:

— Странник, может быть, где-нибудь
ты встречал моего мужа!
Как ушел на войну,
так с тех пор и не вернулся...

Корова стоит у ворот и тоскливо жует жвачку.
Хлебный нож дрожит в твоих руках,
и в горле застревает кусок.

— Ешь,— говорю.—
Эта женщина у всех спрашивает одно и то же.

Вечер становится тишиною.
Корова поднимает голову —
вижу, как солнце закатывается
в ее печальные глаза.
Где искать всех погибших
и пропавших без вести!

Наступает пора обеда.
Забывшиеся женщины становятся у порога
и зовут детей поименно.
На столе стынет суп,
и ложка открыта, словно кричащий рот.
Мертвые, но непохороненные ложки
кричат и кричат все время.
Где искать всех погибших
и пропавших без вести!
На ночь мы оставляем для них на столе
хлебный нож
и прикрытую чистым полотенцем буханку.
Могут прийти, когда мы спим,
и преломить с нами хлеб
или войти в наши сны.

Да, с помощью хлеба и снов.

Ведь мы, живые, тоже объединены хлебом.
Я отрезаю большой ломоть и говорю женщине:
— Бери и ешь —
это все, что я могу сказать тебе в ответ.
Женщина уводит корову.
Ешь и ты, странник.
Хлеб воскрешает память
и пробуждает совесть.
Где искать всех погибших
и пропавших без вести!
Никто из нас не знает, и все молчат.
Стемнело, и я не вижу твоего лица,
когда ты встаешь и говоришь.

... ... я тот,
кто, ворвавшись с мечом
в горящую Трою,
шел сквозь нее, как огонь.
Это я убил царя троянцев Приама
и выискивал новую жертву,
хоть кровь и застилала мне глаза.
Во дворце на столе лежала буханка,
накрытая полотенцем,
а рядом — хлебный нож.
В ярости я ринулся
на еще горячий новорожденный хлеб
и рубил, рубил, рубил
окровавленным мечом...
Кругом бушевал огонь
и было светло, как днем.
И я увидел, что хлеб залит кровью
и полотенце — белое, словно Приамовы одежды,
покрыто кровью.
Я закричал от ужаса, уронил меч,
схватил хлебный нож
и убежал из горящей Трои...
Совсем стемнело.
Мрак и тишь — ничего больше.
Хоть и не вижу, чувствую —
мой гость уходит.
— Света! — кричу.— Эй, дайте света,
зажгите огонь!
Странник, ты не знаешь,
что сталось с Прометеем!

Отвечает из темноты:
— Ты спрашиваешь о сыне Япета,
принесшем огонь на Землю!
Его приковали люди —
ха, ха,— не боги, а люди
приковали его к скале
за то, что он принес им огонь,
а с ним — и другие беды.

— Уходи!— кричу.— И никогда, никогда
не говори этого моим детям:
пусть мир вырастает
из их сна, прекрасного и счастливого.
Твой хлебный нож, вынесенный из Трои,
страшней меча.
Я пожил достаточно, чтобы знать:
можно убить и словами.
Где искать всех убиенных словами!

... ... Река. Брод.
Сквозь воду, живую и прозрачную,
на дне еще заметны следы —
кто-то только что
перешел на другой берег.
Разве я ему сказал что-нибудь!
Разве он мне сказал что-нибудь!

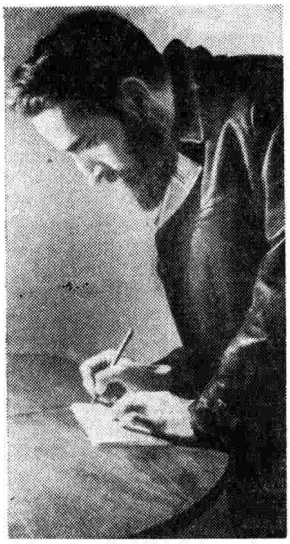
Вода размыла следы...
Когда это произошло:
мгновенье тому назад
или тысячелетье!

Кто-то только что перешел на другой берег.
Мои дети вздрагивают во сне.
Я бессилен
сделать их сны нестрашными.
Зарастают травой наши шаги,
а слова переходят к детям.
Разве наши дети могут быть
лучше, чем наши слова!

Дети играют у реки.
Кто-то только что перешел на другой берег.
Что он рассказал детям!
Не знаю, верно ли это, однако, начну,
пойду стучаться во все двери: — Откройте!
Кто-то только что перешел на другой берег.
Нельзя откладывать: приходите ко мне
разделить со мною хлеб и слова...

1967 г.

Перевел Борис СЛУЦКИЙ.



Владимир Британишский

Возвращение Ленина

На Финляндском вокзале
толпится толпа.
Вся Россия раскрылась навстречу
в ожиданье весны и тепла.
Огляди эту площадь,
дыхание здесь ощути
всех прошедших столетий
бесправия и нищеты,
всех, кто шел по Владимирке,
всех, кто шел по дороге к нему,
на Финляндский вокзал,
где кромсают прожекторы тьму!

Возвращается Ленин —
им сломаны все рубежи.
Что, буржуй,
ты от злобы дрожишь!
Ты от страха дрожи!

Возвращается Ленин,
а он ведь и раньше бывал:
он Радищевым звался,
в Сибири свой срок отбывал,
под фамилией Герцен
эмигрантскую лямку влачил,
но сегодня в ночи
два прожектора эти включил.

В безроссийском пространстве
так долго блуждавший корабль
вновь коснулся земли.
И хотя еще ночь и темно,
но уже над конюшнями Авгия
встал очиститель Геракл,
и река революции смоет всю грязь и дерьмо!

Возвращается Ленин.
Вернется, мы знали всегда!
Суд над Лениным! Дудки!
Он сам — председатель суда
и единый в трех лицах
рабочий — крестьянин — солдат
занимает места за столом:
это судьи сидят,
эту судит Россия Россию —
та, что будет, ту, что была.

Мы-то знали, что наша возьмет.
И наша взяла!
И когда еще он уходил по финскому льду,
мы-то знали, что он вернется,
ведь он обещал нам: приду!

На Финляндском вокзале
толпится толпа.
Два прожектора светят,
будто гулкие колокола.

Возвращается Ленин —
буржуи брызжут слюной,
но они уже здесь чужие,
а он вернулся домой.

Хватит прежней России —
мы заслужили иной!
Хватит прежней России —
долой, долой, долой!

Свой мозг, свое чудо морское
таскаю всю жизнь на себе.
Кормлю его собственной кровью,
держу в оптимальной среде.

Ношу его в библиотеки,
вожу его в лес подышать.
Излишне разросшимся телом
стараюсь ему не мешать.

В сожительстве нашем неравном
всегда ему лучший кусок.
Себя при нем чувствую мавром,
служителем, сбившимся с ног.

А ночью наш дом утихает —
к закрытым дверям припаду:
он здесь или он улетает
ночами,
как ведьма в трубу.

Лыжня

Он топчет мне лыжню.
А суть моей работы
ему и посейчас не очень-то ясна.
Он знает только путь: подъемы, повороты,
здесь отдых, там ночлег —
все новые места.

А я иду за ним то под гору, то в гору.
Он верит волшебству, которое со мной.
Он видит: вот прибор.
И думает: прибору
под силу разгадать, чем дышит шар земной.

Но путь еще не весь.
Но путь еще невесть
когда окончится.
И кто осудит:
идущий впереди, забыв про то, что будет,
вдруг скажет: тяжело! —
вдруг скажет то, что есть.

И мне ли не понять!
Я к ним принадлежу.
Сияний и венков над нами не рисуйте!
Мы просто видим путь,
еще не зная сути.
Другие вслед идут — мы топчем им лыжню.

Аэрогеофизик

Как сквозь быструю воду,
сквозь вертящийся винт
я смотрю на природу,
а она все летит.

Вносит некий порядок
винт.
Как мысленный круг.
Сочетание радуг.
Нет, в объятии рук!
О легчайшего веса
винт!
Как мысленный вздох...

В двух-трехместном не тесно.
Я в нем давний ездок.

Я летаю, летаю —
живу на лету.
Прилипаю к металлу,
прирастаю к винту.

Ставлю ту же пластинку
подряд и подряд:
тундру или пустыню,
за квадратом квадрат.

Календарь мой составлен
из полетных листов.
Может, правда, я счастлив:
не считаю часов!

Утро.
Взяли погоду.
Взлет.
Посадка и взлет...

Как сквозь быструю воду.
А она все течет.

А Новый год мы встретили в лесу.
У нас была языческая елка:
на каждой веточке — по лоскутку
истлевшей ткани —
где сукна, где шелка.
Ружейных гильз, и царских медяков,
и ткани
разноцветных лоскутков,
как видно, не жалел хозяин леса,
который заповедал это место
для пришлых, посторонних чужаков.

Он от запоя помер той зимой
[вот, говорят, был пьяница великий!],
а может быть, от скорби мировой
по случаю упадка всех религий.

Музея областного филиал
откроем ночью под открытым небом.
И хоть не ладан и не фимиам,
но дым костра к богам восходит древним.

По радио проверены часы.
Салют из двух винтовок троекратный.
И эхо трижды звук пришлет обратный,
сигнал ответный той же частоты.

Как будто с тем покойным стариком,
последним в этой местности шаманом,
беседуем простейшим языком,
который ясен даже марсианам.

Придут потом строители дорог,
свой Новый год под той же елкой встретят.
И паровозный прогудит гудок,
и трижды эхо древнее ответит...
Спокон веков идущий диалог!

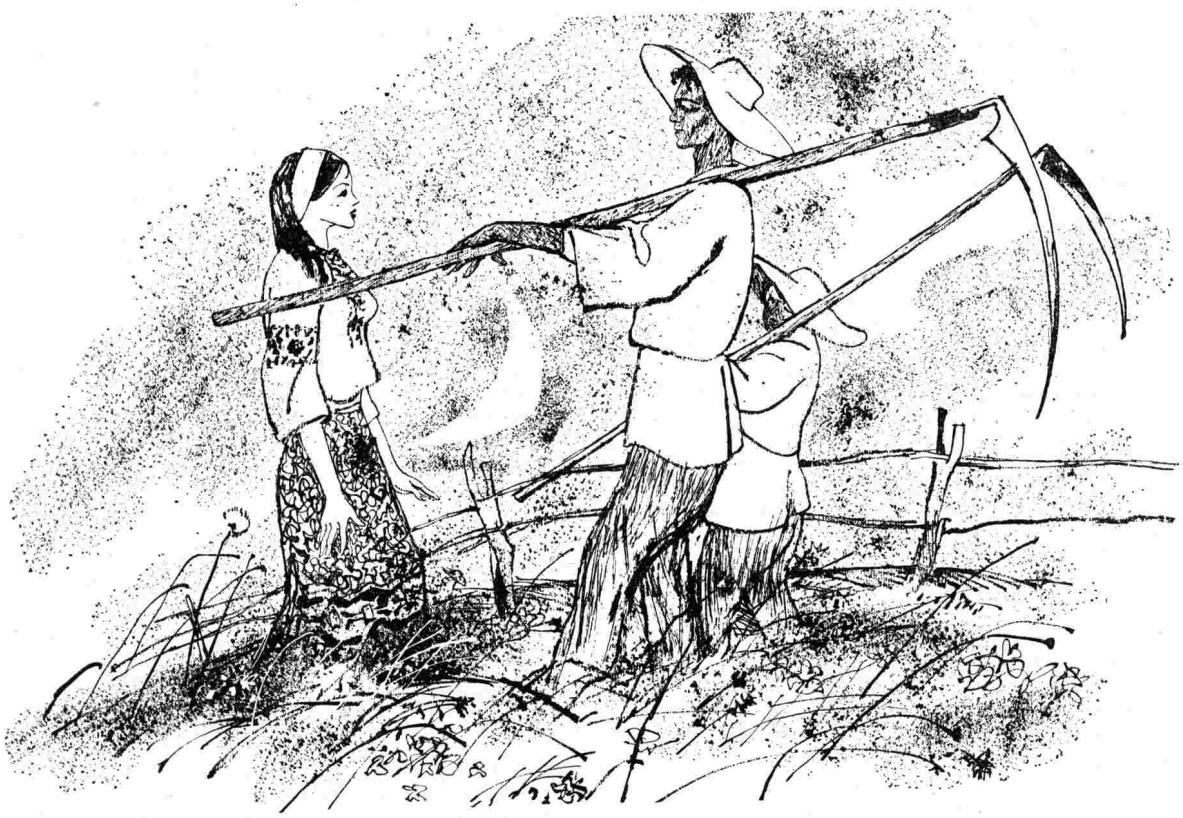
Происхождение

Сгущалось вещество гуманности
и стало сердцем постепенно.

Так из лапласовой туманности —
и солнышко и вся система,
семья планет системы солнечной,
одним питающихся светом,
как будто девять станций лодочных,
к одной реке прильнувших летом.

Хоть званье «человек» потомственно,
но каждый начинает заново:
мы напрокат берем из космоса
щепотку вещества гуманного,
всю жизнь химичим, как алхимики,—
под черепами пар клубится...

Но в интеллектуальном климате
да не отвыкнет сердце
биться!



Вл. Курбатов

ДЕДОВА ГРУША

РАССКАЗ

ПРОЗА

Рисунок Е. Шукаева.

Странно, о лучшей поре жизни, детстве, у меня сохранились смутные воспоминания. Я помню, будто сквозь сон, чудесное украинское утро, пропитанное запахами трав, отяжелевших от росы. Гигантские подсолнечники за тыном и восходящее солнце, тоже как диковинный подсолнечник. Из открытого окна я видел на тыне этом пошатывающегося кочета, который орал во всю петушиную глотку. Глазки у него маленькие и злые, и мне было боязно этой птицы.

Все еще спят: и мать, и отец, и бородатый дед, от которого чудесно пахло деревом, клеем и еще яблоками. Я прокрадывался из душной хаты во двор, где у саманной печурки с жестяным ведром вместо трубы хлопотала бабушка Ганя, добрая и подвижная, которая, наверное, никогда не спала потому, что не любила этого самого скучного на свете занятия.

Робко обходя горланящего кочета, я подбегал к бабушке и тыкал пальцем в сторону сердитой птицы:

— Он!

— А ты не бойся его, маленький,—говорила ласково бабушка,— это петух. Он курочек будит. Кричит, что пора им снести яичко Мишеньке.

Потом вдоль нашего тына проходили великаны. Все в соломенных шляпах, а на плечах несли невиданные ножи на длинных палках. Я опять пугался и тыкал в их сторону пальцем:

— Он!

— А ты и их не бойся, Мишенька, это косари,— говорила бабушка,— они сейчас песню петь будут.

И вправду, великаны запели: «Эй, нути, косари, что проснулись до зари...»

А солнце медленно поднималось из-за тына. Тяжелые капли, сверкая, скатывались с листьев. Зо-

лотые пчелки жужжали над влажными цветами. Начинался день. Пахло медом и пирогами, которые пекла бабушка. И все ей, старой, казалось, что Мишенька, приехавший с папой и мамой из большого города, голоден. Что нет у них там таких яблок и сметаны, что некому там изжарить курочку и испечь пирогов, некому сварить вареников с творогом или вишнями. И вправду, вкуснее бабушкиных пирогов не было на свете.

И еще мне запомнились отцовы байки, которые он рассказывал вечерами, сидя со старшими детьми под огромной грушей. Груша была необыкновенная. Теплый вечерний ветерок задумчиво перебирал ее листья, и мне иногда казалось, что это не отец рассказывает, а она, старая, плодовитая, дарившая нас маленькими, но очень сладкими медовыми плодами, сказочная груша.

Село, в котором рос отец, было большое: четырнадцать километров в длину, семь в ширину. Семь приходов было в нем, а после коллективизации — семь колхозов. Стояло оно у днепровских плавней, на великом пути с севера на юг, протоптанном и копытами коней крымских орд и ватагами запорожцев, а потом мирными бричками чумаков, возивших из Крыма соль. Соляным шляхом звалась эта дорога, проходившая через село с поэтическим названием Малой Белозирки.

Шла весна 1920 года. Отгремели над селом лютые военные годы. Кто только не ломал ветвей в яблоневых и грушевых садах его: и беспутные махновцы, и лютые белые чеченцы, и кайзеровские немцы, как саранча, пожиравшие все на своем пути.

Отгремела война. Над селом опустились тихие вечера. Запели девчата. Парубки приосанились. Хмуро щурились богатые мужики: у молодых ветер в голове, а мы еще побачим, что будет.

Пришел с войны Сашко Грачик в буденовке с красной звездой. Соседские хлопчики бегали смотреть через тын на Сашка и его красную буденовку. «Бач, рогата яка»,— шептались хлопчики и до истомы завидовали парубку. Девчата тоже поглядывали на Сашка. Да и как было не поглядывать: видный парубок Грачик, стройный, с широкими бровями вразлет. Не глядела на парня только Галинка, дочка бывшего волостного писаря Бойко. «Що я комбеда не видела, голоштанника»,— говорила она подружкам.

Не глядела на людях. А когда Сашко проходил мимо ее хаты, пристально разглядывала его из-за марлевой занавески. Не похож этот парень на знакомых ей парубков. Что-то было в нем свое, что он знал, а они не знали. Не знала и она, Галинка. А хотела знать. Вот потому и глядела из-за занавески.

Лунными вечерами сходилась молодежь с западной части села, кладбищенские, как их звали белозирцы, на Олесиной поляне, за околицей села: внизу Днипро, а вверху, над кручей, кладбище. Песни пели, игры играли, а некоторые парочки спускались вниз к теплым водам Днипра и, прячась в ивняке, целовались. А старый Днипро, кравший по ночам все звезды с неба, плескал доброй волной по камышовым заводям, и поцелуев не было слышно.

Ходила тогда Галинка с Василем, сыном дьякона из их прихода. И к Днипру спускалась с ним целоваться. Женихалась с Василем не по любви, а, скорее, из озорства, а может, и от скуки, а может, из-за того, чтоб другие парни не липли,— Василь был добрый, толстогубый и тихий, как теленок.

После возвращения Грачика Василь иногда приходил на Олесину поляну вместе с ним. Были они товарищами еще по приходской школе. Галинка видела, что ухватился Сашко за Василя, как черт за грешную душу. Все с ним о боге спорил и агитировал за комсомолию и комбедию. А Василь больше молчал и вздыхал. Слишком врос парень в старое да и батька своего боялся: строг был дьякон.

Начиналось уже лето, а Сашко дивчины себе еще не выбрал. Правда, на селе его часто видели с Мотрей рябой, но дела у них были комсомольские — по идейности ходили вместе. Да и то Мотря была намного старше Сашка, в войну партизанила, а сейчас громко говорила, что чего это она замужем не видела? Какому-то паразиту галушки варить! Свирепая была девка — никак Сашку не пара.

Придет Сашко на Олесину поляну, поговорит с парнями, иногда поспорит. Попоет. Хороший голос у него. Мужественный и душевный. Особенно любил он: «...а я тебя аж до хатыночки сам на руках выднесу...» Когда услышала Галинка впервые, как пел Сашко, душно ей стало, задохнулась. Никогда с нею такого не бывало. Будто позвал ее с собою... Но он не звал, он песню пел.

Тихая была в этот вечер Галинка. Сидела у заводи, обхватив руками ноги, пригнув голову свою к коленям. Глядела на звезды, украденные с неба Днипром. И Василь был тихий. Он всегда был тихий. Потом обнял Галинку за плечи, сказал то ли всерьез, то ли шутя:

— Я больше всего на свете люблю тебя... и вареники с вишнями.

Посмотрела на него Галинка впервые всерьез. Да как! Обожгла глазами.

— Лопух ты, Василь,— вздохнула и встала.

А он и не заметил, как дивчина на него посмотрела.

— Завтра мы с Сашком в луга идем на сенокос. Может, придешь?

Усмехнулась Галинка.

— Может, и приду,— сказала и ушла от него, стремительная, гордая.

А утром, подоткнув полы своего сарафана, она спустилась в Черную балку, идя напрямки к луговине. Холодная роса приятно щекотала ноги, а тяжелевшие от влаги травы покорно ложились под Галинкиными ступнями, оставляя надолго ее след. Ох, хорошо утром, когда еще не взошло солнце, идти босым по росе! И не думается ни о чем, и сердца, значит, не тревожат думы, и кажется, что сам ты растворяешься в прозрачных росах и врастаешь вместе с травами в теплый чернозем, дарящий живому и силу и радость. Галинка быстро шла и улыбалась, и ноги ее до колен были мокрыми. Сейчас ей захотелось броситься грудью на траву и лицо омыть, как и ноги, росой. Кинулась в травы и, прижимая к себе их влажные травяные локоны, громко смеялась. Вся она вымокла. Платье прилипло к телу. Необъяснимая радость охватила ее. Она вскочила и побежала навстречу дню.

Выбежала из балки на широкую стежку и налетела прямо на парней. Шли Василь с Сашком в соломенных шляпах и с косами на плечах. Забыв застыдиться, замерла Галинка. От неожиданности остановились и парни. Недвижимыми глазами смотрел Сашко на девку. Как будто впервые видел ее. Жгучие это были глаза. Высушили они Галинку от росы. Загорелось у нее лицо. И она глядела на парня неотрывно, забыв о девичьей гордости.

— Вот и добре, что пришла. Это я ей вчера сказал, чтобы пошла с нами,— зашлепал губами Василь, объясняя Сашку появление Галинки.

— Тебя послушалась, Василю. Жинкой буду покорной,— сказала Галинка и пошла вперед, задумчиво наклоня голову, осторожно ступая мокрыми ногами по пыльной дорожке.

Парни двинулись за нею.

Василь сиял и гордо косился на Сашка: вот, мол, какая у меня девка: и красивая и покорная — сущий клад!

До луговины все трое не проронили ни слова. Бросили узелки с хлебом и салом в прошлогоднем шалаше, сложенном из сухих, почерневших камышей; поднеси зажженный прут — вспыхнут, как свечка. Парни сняли рубашки и остались в шляпах и портках. Правили оселками косы... А Галинка, заплетая волосы, поглядывала на них. Сашко был выше и тоньше Василя. Мускулы на руках перекатывались под смуглой, почти цыганской кожей парня. Огромный лиловый шрам от пояса через смородиновый сосок пересекал грудь. Она подошла к парню и осторожно притронулась пальцем к зарубцевавшейся ране. Плечи парня дрогнули, как от удара, и руки обмякли.

— Что это у тебя? — спросила Галинка.

— Человече саблей побаловал,— нехотя ответил Сашко. И, может, впервые покраснел от застенчивости и девичьей ласки. А плечи парня все подрагивали.

— Болит? — спросила Галинка.

Сашко отрицательно покачал головой и почему-то строго крикнул Василю:

— Пошли, а то роса сойдет!

А Галинка села около шалаша и, обхватив колени руками, зашептала:

— Ой, мамо, мамо, та я ж люблю его, комбедика, нецелованного, худобного!

А внизу луговины звенели косы, вздрагивали травы и молча, подкошенные, ложились на сырую землю.

Всходило солнце.

А вечером Галинка варила кулеш в старом котелке. Хлопцы лежали подле и курили высушенные на солнце и потертые в ладонях листки самосада, который был удушливее костерного дыма.

Кулеш вышел густым и жирным: крупу с салом варили. Дымком каша попахивала. Потом лежали на охапках сена у шалаша, сморенные дневной работой и пищей.

Василь сразу же уснул. Сквозь сон слышал только, как Галинка спрашивала Сашка:

— А какая же она, эта коммуния? Под одним одеялом спать будут, что ли?

— Брешут это,— отвечал Сашко,— коммуния будет царством людской свободы. Забудут в ней о человеческих бедах. Все будут счастливы: и ты, и я, весь трудовой люд.

— И Мотря рябая? — лукаво спросила Галинка.— Будто убогих и злых не будет?

— И Мотря... подобреет она тогда, а доброта красит человека.

Проснулся Василь от дурного сна. Будто сидела у него на груди жаба и плакала человеческой слезой. Переел кулеша с салом, что ли? Галинки не было. Сашка тоже. Василь вылез из шалаша. Гасли последние звезды. Восток занимался светом. Вокруг тоже никого не было. Он был один.

— Галинка-а-а! — закричал Василь.

Но никто не откликался.

Значит, Галинку увел Сашко. Не друг он, а вражина: девку сманил.

Тошно стало Василю. Поплелся обратно. Пошарил в шалаше. Нашел узелок. Поел сала с хлебом. И, обиженно чмокая губами, опять уснул. Спи, Василь, спи. В жизни зорек таких немного.

— Вставай, Василь, вставай, пора!

Над ним лицо Сашка с блескучими глазами, как у той жабы.

Не может проснуться Василь.

— Вставай, увалень, пора,— тормошит его за плечи друг.

И Галинка здесь, смеется звонко, радостно:

— Вставай, Василю!

Он слышит, как Сашко уже правит косу. Звенит и коса весело, остро, как Галинкин смех.

— Где была? — спрашивает у нее Василь.

— Я тебе не жинка, чтоб отчитываться.

— Галинка,— тянет с отчаянием Василь,— я ж люблю тебя!

— Ты и вареники с вишнями любишь,— смеется девка.

— Не смейся, Галю, я мужем буду, а Сашко в коммунию тебя запрет.

— А может, Сашко с коммунией мне люб больше дьяконовой хаты?

Зло бегают маленькие глазки Василя.

— Батьку твоему скажу,— грозится он.

Не любит Галинка угроз, не любит и Василя.

— Постылый...— И отворачивается от парня.

На ночь ушел Василь в село. Его провожал Сашко. О чем они говорили, знает только набедовавшаяся за войну степь да глупые перепела, кричавшие с заходом солнца, что «спать пора», будто это — самое главное в жизни. Проспал Василь девку.

Вечерами мрачный ходил он по Олесиной поляне, а девчата хихикали:

— Василь, иди к нам, что мы, хуже Галинки?— В селе женихом он был видным.

А внизу, в ивняке, целовались Галинка с Сашком, целовались иногда и на виду, бесстыжие, как две тени, бродили друг за другом. Но над ними не смеялись: одни Сашка уважали, другие побаивались.

Однажды веселую и грустную, насмешливую и улюлюкающую Олесину поляну охватила паника. Митрий Ляшко, проходя мимо кладбища, увидел привидение, ей-ей, оно бежало за ним. Несколько смельчаков приблизились к кладбищу и тоже видели, как что-то мельтешило промеж крестов.

Опустела поляна. Жившие у околицы боялись выходить из хат в поздний час.

И привидение осмелело. В полночь оно гуляло уже по Олесиной поляне. Парни с девчатами теперь не спускались по вечерам к Днепру. Хмурые, сидели парни у хат, курили крепкие цигарки, сплевывая сквозь зубы.

Сашко с Галинкой встречались теперь мельком. Иногда он подходил к Галинкиной хате и сидел с нею на скамеечке.

— Не сиди, не скалься с хлопцем, он тебе не пара. Иди матери помогать! — сейчас же раздавался крик.

Досадно было Сашку глядеть на парней, на их ленивый страх перед чертовщиной. Разве в коммунии, за которую дрался Сашко, будет место чертовщине? И Сашко решился. Мотря, с присущей ей партизанской хваткой, хлопнув Сашка по плечу, рубанула:

— Правильно, нечего идеи разводить. Ни один чертяка не устоит перед пролетарской пулей!

Когда сумерки сгустились, Сашко с Мотрей залегли у двух валунов, что издавна лежали у тропинки, ведущей от Олесиной поляны к кладбищу. Камнями-братками прозвали их на селе. Траурные процессии проходили мимо них многие и многие лета,

и часто в скорбном бессилии опускались на эти камни люди, проводившие в последний путь своих близких.

Ночь была душной и темной. Звезды и те куда-то попрятались. Было очень тихо. Молчала Мотря, молчал и Сашко. Жутковато стало. Но Сашко хорошо запомнил слова своего полкового комиссара, что нет в природе бога и нет черта, а есть Совесть человеческая, Правда человеческая и Труд человеческий, перед которыми навсегда отступит темнота. И лежал он здесь за эту Правду человеческую. Смелый ты, Сашко, парень, и смелая подруга твоя по идейности Мотря, которая, когда будет построена коммуния, попригожеет и подобреет.

А вдруг привидение не придет? Как быть тогда? Многие на селе знали, куда вы пошли. И не поверят вашей правде и не пойдут за вами к тому, куда вы ведете, скажут, что брехал все Сашко: и бог есть, и черт есть, а поп Пантелей — заместитель их на земле, его и слушать надо.

Но вот что-то забелело и двинулось от кладбищенских ворот вниз по тропинке. А может, это померещилось уставшим глазам Сашка?

— Не промахнись, хлопчик, идет проклятое,— выдохнула в лицо Сашку Мотря.

Сашко крепче сжал карабин.

Саженными шагами шло оно, огромное, белое, быстро спускаясь по тропинке, будто парубок спешил на свидание к дивчине своей на Олесину поляну. Но, приблизясь к валунам-братьям, привидение остановилось, тревожно закачалось и замерло. Может, и оно знало о комсомольской засаде, да отважилось своей кривдою побить Сашкову правду? Ой, не отступит Сашко перед чертом, как не отступил он под дулами ружей беляков, не тому учили его добрые люди.

— Стой! — крикнул Сашко не своим голосом.— Стой, стрелять буду!

Охнул в ночи карабин.

Привидение качнулось и рухнуло наземь.

Сашко, отбросив карабин, выскочил из-за валунов. В несколько прыжков он оказался у бьющегося тела, обвернутого в белые простыни. Рядом валялись деревянные ходули. Сашко нагнулся и с силой отдернул белый холст. Показалась голова привидения. Сашко узнал Василя. Сопя, Василь поднялся с земли, освобождая ноги от холстины.

— Испугался, думал в меня стрелять будешь,— глухо сказал он Сашку.

А Сашко молчал. Так и стояли они друг перед другом: один высокий и тонкий, другой рыхлый, ссутулившийся.

— Гад ты, Василь! — наконец выговорил Сашко чужим для Василя голосом.— Собирай свою комедь, в село пойдем.

Подошла Мотря с карабином.

И пошли они втроем вниз по тропинке к селу. Впереди сурово молчавший Сашко, а за ним робко поспешавший Василь, неся в руках свою «комедь»: холстины с ходулями. Сзади шла Мотря.

Засмеяли Василя на селе. На люди теперь не показывался. Сидел в хате с отцом, «жития» читал.

А село тревожилось, радовалось. Из губкома бумагу прислали: Ленин землю дал! Декретом ее называли. Слышали мужики о декрете и раньше, еще когда под Деникиным да Махно были, слышали, ждали, да все не верилось, сбудется ли? Вот и сбылось! Выходили в поля, рассматривали землю, прикрываясь от солнца ладонью. Землица ты наша, кормилица! И слово-то «Ленин» какое ласковое!

Собрались мужики на сходку. Комитетчики в центре. Пришли и почтенные селяне, стояли насупившись, только бороды от волнения подрагивали.

— Кому поручим верховодить нарезкой? — спросил у собравшихся председатель Совета Семен Рачко, мужик длинный и худой — в чем душа держится,— восторженно оглядывая всех. Был Семен безземельным и безлошадным. С четырнадцати лет мыкался по хуторянам. Сегодня он пришел на сход, как на праздник — причесанный, в расшитой рубахе.

— Сашка Грачика! — крикнул кто-то.

— Грачика, Грачика,— поддержали мужики,— он парень бедовый!

Сашко, смущенный, стоял перед сходом.

— На том и порешили — Сашка Грачика избираем,— заключил Семен Рачко.— Сумел добре воевать за землю, сумеет и нарезать ее людям.

— Выходи на круг, слово тебе даем, Грачик!

Расступились мужики. Ждали, что скажет суровый парень в звездастом шлеме.

«Чего говорить-то им, мужикам?» — оробевши, думал Сашко. Не приходилось ему еще речи держать. И вдруг среди радостных мужицких лиц он увидел красную морду Данилы Борща, который нагло протиснулся вперед и буравил Сашка своим черным оком, второе-то бельмом поросло. Мать Сашка померла на свекольнике у Данилы. Доконал ее голодом и работой. Свиньи Данилины ели лучше, чем наймички. Придя с войны, не застал Сашко матери.

Раскрыл Сашко посеревшие от ненависти губы и, не отрывая бешеных глаз от красной морды Данилы, сказал:

— Все правильно, мужицкой стала земля. Нам ее пестовать теперь, чтобы не было в селах убогих и сирых, батраков и наймичек. Не дадут в обиду Советы трудовой люд!

Шаркнул глазом по мужицким лицам Данила и сник за чужими спинами.

Так ленинский Декрет о земле положил начало новой жизни белозирцев. Трудное это было начало.

Из уезда приехал землемер Карл Шварц, сухонький, белобрысый немец, очень спокойный, очень рассудительный.

— Ви не спешите, Гратшик, нарезка есть очень серьезный работа,— говорил он Сашку.

Рачко и Сашко согласились со Шварцем, что начать нужно с перемера всей земли.

Мужики ходили за землемером, иногда мешали ему, торопили:

— Не тяни, Карла, пахать скоро.

Лето подходило к концу. Дождей не было. Потемнела стерня на полях. Пылили дороги. Только вечера приносили прохладу. Темное небо освежало землю, увлажняло побуревшие травы. Неугомонно стрекотали кузнечики.

Сашку в эти последние дни лета не хватало времени. Или дни стали короче? Он мотался то в уезд, то с Карлом на поля, то успокаивал мужиков, споривших о ближних и дальних участках, где шла нарезка земли. Его слушали, ему верили.

«Для мира порадей!» — говорили мужики.

И он «радел» до боли в суставах, до тошноты от голода — ел-то раз в день затерку, которую варила ему крестная.

— Изведешься, парень, вон глазищи одни остались,— качала головой она, глядя, как крестник уминает похлебку.

Вечерами, через огороды к нему прокрадывалась Галинка.

— Сокол ты мой! — шептала она, гладя его по костлявой спине.

В эти минуты он забывал обо всем. И было ему блаженно и покойно подле любимой.

А когда она уходила, боясь, что родители заметят ее отсутствие, он находил узелок, в котором лежали пироги и яйца, сваренные вкрутую, или чистая рубашка.

Он всегда краснел, находя узелок, хоть в хате никого и не было.

Однажды поздно к нему пришел Василь.

— Здорово, Сашко.— Голос у Василя был неуверенный, робкий.

— Пришел? — спросил у него Сашко.

— Ага,— ответил тот.

— Ну, проходи в хату, хахаль кладбищенский.

Тот молча сел. Закурили.

— Не серчай на меня, Сашко. Сдуру совета послушался. Попугай, говорят, кобеля. Осрамишь — от девки отвадишь. Может, из села уйдет комиссар бесштанный... А с Галинкой что, насильно мил не будешь... Да и не любила она меня.— И он глубоко вздохнул.

Опять молчали долго. Жаль было Василя, но Сашко рта не раскрыл. Разве жалостью поможешь? А Галинку он не отдаст никому на свете.

— Все дома сижу бате в угоду и слушаю его сладкие слова о боге и злые о людях,— опять заговорил Василь,— тошно мне от них.

— Иди к людям. Это ведь от лени в кельи уходили. Не будь ледащим.

— Возьмете? — радостно вздрогнул Василь.

Сашко промолчал.

— Подойди завтра к Рачко. Ему писарь нужен.

— А старый Бойко?

В вопросе Василя была тревога и любопытство. Что скажет Сашко о будущем тесте?

— Бойко не будет людям помощник, не ту сторону тянет...

На прощание пожали друг другу руки, крепко, по-мужски.

Об этом дне у Сашка осталось в памяти лишь то, что ноги его вдруг стали ватными, он как-то осел, а над ним сверкало огненное око Данилы Борща...

В полдник к Совету прибежали хлопчики с криком, что Данила «не допускает раздела» и кидается на всех с топором.

Рачко и Грачик поспешили на место. Шум был на меже свекольника Данилы. Он метался перед мужиками и кричал не своим голосом:

— Выди, зарублю!

— Ты что, власти не подчиняешься? — крикнул ему Рачко.

— Плевал я на вашу власть!

Мужики оробели. Никто не решался подойти к беснующемуся Даниле. Запорет.

Сашко отделился от толпы и пошел прямо на Борща. «Не пресечешь его сейчас — другим повадку дашь»,— думал он.

— Брось топор, кикимора,— спокойно приказал ему Сашко.

Данила растерялся и отступил на несколько шагов.

Мужики загалдели и двинулись за Сашком. Под ногами захрустела свекольная ботва.

От этого хруста Данилу как-то передернуло. Уставившись в лицо Сашка, он с храпом просипел:

— У, гад жилистый, звездастая башка! — и, неожиданно пригнувшись, метнул топор.

Несколько рук скрутили Данилу.

В глазах Сашка поплыло свекольное поле, запрыгали растерянные лица мужиков, и все это скрылось в лазоревых волнах. И он рухнул на Данилову межу, перечеркнув ее своим телом.

Очнулся он в своей хате. Окно было завешено — чтоб солнце глаз не слепило. День-то на дворе, наверное. Что же он дрыхнет?

Галинка встрепенулась:

— Лежи, милый, лежи, фельдшер велел.

Ее лицо, похудевшее, с синевой под глазами, радостно наклонилось над ним.

— Ты здесь? — спросил он, с трудом размыкая губы.

— Здесь, Сашко.

— Ну и добре.

И он опять закрывает глаза и уже ровно дышит, не выпуская ее пальцев из своей ослабевшей руки.

Сашко поправлялся быстро. И, пробуждаясь, всякий раз искал глазами Галинку: здесь ли она?

— Здесь ты? — улыбаясь, спрашивал он.

— Здесь, Сашко, здесь. Где же мне быть?

Он не знал еще, что она ушла от отца, ушла без ничего. Шла по улице к Сашковой хате, опустив руки вдоль туловища, с непокорно поднятой головой. Шла к любимому. Кто ей помешает?! Ой, когда же такое было, люди, чтобы дочь состоятельных родителей без благословения или покаяния уходила из родного дома с неопущенной головой?! Никогда такого не было!

Галинка стала тихой, покорной. Улетели из глаз бесинки. Заботливо смотрела она на Сашка и просилась:

— Боюсь я здесь за тебя. Уйдем из села, Сашко. Свет велик, найдем свое счастье среди людей.

Он прижимал ее к себе, к своему казачьему сердцу, которое беляки перечеркнули лиловым шрамом.

— Счастья не ищут, Галинка, оно добывается. Здесь нам коммунию строить!

В эту необычайную осень — время распашки освобожденной земли — они с Сашком посадили в своем сиротском дворе грушу — тоненькую веточку со слабым корешком.

Но самый неожиданный и замечательный в этой истории конец.

Сашко Грачик — живой человек: он наш дед. И Галинка только не молодая уже, а старенькая и добрая — бабушка Ганя.

Я в детстве подходил к ней и тянул за юбку.

— Ты зачем стала старая? — спрашивал я, подозрительно глядя на нее.

— Сама не знаю, внучек,— смеялась бабушка и целовала меня почему-то в глаз.

— Ты скоро будешь опять молодой? — продолжал я.

— Нет, Мишенька, молодыми бывают только раз,— вздыхала бабушка и вновь принималась хлопотать у печи.

А я не верил ей. Конечно же, они с дедом опять будут молодыми и опять будут спускаться к Днепру, чтобы поглядеть на украденные ими с неба звезды.

г. Челябинск.

Олег Дмитриев

О Революции

Писал о Революции легко я,
Когда был юн.
Гремел незрелый стих.
Раздумьями себя не беспокоя,
Я дерзко думал, что ее постиг.
Теперь все это кажется мне странным,
Хоть и прошло не так уж много дней:
Как будто мальчик перед океаном,
Стою я, замирая, перед ней.
Теперь я знаю, что она огромна
И трудно постижима для ума,
Что можно говорить не слишком громко,
Когда перед тобой — она сама.
Я не смеюсь над прежним, над собою
И разделяю юный пыл вполне,
И бьется сердце в такт ее прибою,
И лучшие слова живут во мне!
Но перед этим
Мне с рожденья данным
Скрещением винтовок и знамен
Стою, как мальчик перед океаном,—
Смятен, приподнят, счастлив, потрясен...

☆

Я увидел на экране
Предвоенную Москву,
Предвоенные деревья,
Предвоенную траву.
Я смотрел на город летний,
Источавший жар дневной,
Где я жил — четырехлетний,
Довоенный, озорной...
А хотел бы я сегодня
Оказаться в этом дне,
На беспечном перекрестке,
В беззаботной толкотне!
Я бы, веря и не веря,
Прижимал отца к груди —
В этот полдень
Все потери,
Все утраты впереди...
Все теплушки, все толкучки,
Вой сирены, плач детей —
Купола Кремля сияют
Золотого золотей!
Предвоенные прически,
Предвоенных платьев цвет...
На беспечном перекрестке
Встал я, крепкий, в тридцать лет!
Что же делать мне, пророку,
Беззаботный слыша гул!
Только я бы не заплакал,
Воротник бы не рванул:
«Нет, Москва слезам не верит!
Зря людей не береди:
В этот полдень все потери,
Все утраты впереди...»
И пошел бы я со всеми
Через горе и беду
К той Москве — послевоенной
В салютующем году.
Я б узнал, что отправлялся
Тихий поезд на Урал.
Я — мальчишка — в нем смеялся,
Спал, не слушался, играл...
Зашагал бы, взрослый, грозный,
Я на запад от Москвы,
Видя хмурую заставу, укрепления и рвы.
И Москвы послевоенной
Не увижу, может, я,
И травы послевоенной
Не примнет нога моя!
Ну, а может, в День Победы,
В толчее на Моховой
Самого себя —
Мальчишку —
Подниму над головой...

Турист в Освенциме

Ты заходишь в музей Освенци́ма,
Милый парень, веселый, душа,
Любопытствуешь неутомимо,
Незнакомых людей тормоша.
Этой осенью мирного года
Дни в туристской поездке длинны.
Объяснения экскурсовода
Для тебя, видит бог, не полны.
Все узнать тебе сразу охота,
И не чувствуешь ты, что, незрим,
На тебя, молодого, сквозь фото,
Сквозь решетки
Глядит Освенци́м.
У тебя и свобода, и небо,
И любимой жены голосок...
Вот лежит порционного хлеба
На витрине убогий кусок.
Ты сказал, понимая едва ли,
Как ты страшен вопросом своим:
— Сколько на день им здесь выдавали,
И хватало ли этого им!
Им! Не нам ли, товарищ в берете!
Посмотри: не они — я и ты
В крематории, как в лазарете,
Обнажились у смертной черты!
И в бараках, навеки проклятых,
Этот хлеб — этот вязкий комок
Нам в одеждах своих полосатых
Дотянуть до свободы помог!
В казематах спокойно и чисто.
Светит солнце. Деревья растут.
И страшна суетливость туриста
За колючею проволокой тут.
Освенци́м. Если хочешь — Освѐнцим.
Деревянный и каменный стон
Слушай раненым, яростным сердцем,
Человек из счастливых времен!

Начало

Я знаю, стал поэтом не тогда я,
Когда слонялся без вина хмельной,
И первые стихи сложил, страдая,—
Вы правы, да,— для девушки одной.
И не тогда, когда потел я ради
Науки
Строчки ломкие вязать,
Исписывая толстые тетради,
Чтоб ни одной душе не показать.
И не тогда, когда явилась смелость,
И я предстал пред очи знатока,
И мастер похвалил мою умелость,
И по плечу похлопал свысока.
И не тогда, когда с листа журнала
Глядел на мир смазливый мой портрет,
Хоть в тот же день родня моя признала
И критик подтвердил, что я — поэт.
Я о себе не мыслил, как о чуде,
И не был я тщеславием томим.
Я просто жил.
Меня любили люди.
И вдруг, как эхо, я ответил им...

☆

Нет, Москва отпустить меня вряд ли захочет:
Разговоры, заботы, дела, суетня.
А в лугах за Ветлугой
Кузнечик стрекочет
Из всего человечества
Лишь для меня!
Только я и могу посидеть на припеке
В душный полдень,
Когда он вовсю зазвенит,
В стороне от тропы, от проезжей дороги,—
Только я и узнаю, как он знаменит!
Если я не полезу в лесные овраги,
Ощущая всей кожей сжигающий зуд,
Там сопреет малина, набухнув от влаги,
Скучно ягоды-слизни в крапиву сползут.
И масленок привянет, опутан травою,
Потому что расти не хотел на виду,—
Кто рукой отодвинет тяжелую хвою,
Кто отыщет его, если я не приду!
Ах, воскликнете вы, самомненье какое!
Нас избавь от навязчивых, братец, идей!
Но, поймите,
Меня за Ветлугой-рекою
Не заменит и лучший
Из лучших людей.
Он другое отыщет, пойдет по-другому,
У куста, отдыхая, приляжет не там,
Где я брошусь в траву,
Не тоскуя по дому,
Всем хорошим обязанный этим местам!
Что ты, лес, без шагов моих неторопливых!
Что я сам без негромких твоих голосов!
Право слово,
На свете не сыщешь счастливых
Ни лесов без людей,
Ни людей без лесов...

Лето. Вечер тихий

Лето, вечер тихий.
Зажигает свет
В доме на Плющихе
Афанасий Фет.
Сам огонь подносит
Прямо к фитилю
Иль слугу разносит:
— Леность не терплю!
Не сужу об этом.
Не скрипит паркет.
Озаряем светом
Афанасий Фет.
Видит он, усталый,
Юность, старину:
Дом господский старый,
Белую луну.
Пышные куртины,
Полумрак аллей,
Лучшие картины
Пашен и полей.
Ветхая беседка,
Гулкие шмели,
Томная соседка
В трепетной шали...
Нам-то что за дело
Через сотню лет
До беседки белой,
Где влюблялся Фет!!
Кровь, пожары, войны —
Не отыщешь связь!
Хмурый Фет спокойно
Пишет, наклонясь.
Голову приподнял,
Посмотрел в окно.
Что-то, видно, понял,
Что не всем дано.
Бороду покомкал,
Завершая труд —
Подмигнул потомкам:
Сами разберут!
Посидел, подумал,
Дату начертал.
Встал, на лампу дунул,
Быстро зашептал.
И уснул в постели
Через полчаса.
В комнате шумели
Птицы и леса.
Флора с Афродитой
Брызгались водой
Над его сердитой,
Темной бородой.
Припускался дождик,
Зайчик жил в стекле...
Словом, как и должно
Летом на земле.

☆

Когда мы смотрим в сторону заката,
А он лежит над лесом и горой,
То говорим и думаем: «Когда-то,
Давным-давно, минувшею порой...»
Мы думаем о юности, о детстве,
Припоминая золотые дни.
О смерти — о таком ее соседстве,
Что вот она — лишь руку протяни!

Когда мы смотрим в сторону восхода,
То вместе с ним рождаемся на свет —
И словно нам рукою машет кто-то
Из будущих, из самых лучших лет.
Что прожито — подумать только! Мало!
Все впереди — о, будущего власть!
В конце концов, и жизнь начать сначала
Не поздно — если жизнь не удалась!

Керим Курбаннепесов

Воспоминание

Мне за сорок.
Я вижу в широком окне
Мира нового светлые здания.
Но осталось от старого мира и мне
Ощутимое воспоминание...

Я в бумажной пилотке бежал к ребятне.
Дождик сыпал,
Сердца наши радуя.
— Чур, мне красную ленту!
— А синюю мне! —
Мы делили роскошную радугу.

Я из гибкого прутика сделал коня,
Сел верхом,
И — никто не угонится!
Но на прутьях таких же догнала меня
Озорная мальчишечья конница.

Вдруг отец подошел, улыбаясь, ко мне,
Посмотрел мне в глаза он уверенно.
— Ты, сынок, научился скакать на коне,
Но проверим:
Накосишь ли клевера.

Как джигит,
Я на прутик восторженно сел,
Поскакал через улицу смело я.
И в руке моей детской
Был маленький серп
И для клевера торбочка белая.

Стал косить я,
Серпом неумело водя.
В мою торбу весь клевер уместится.
И катились прозрачные капли дождя
К рукоятке серпа-полумесяца.

Сгреб я в торбочку клевер,
К завязке приник,
Оглядевшись вокруг озабоченно.
Только вдруг я услышал пронзительный
крик,
И тотчас зазвенела пощечина.

Потемнело в глазах,
Застучало в висках.
Пахла в торбе душисто трава еще.
И отец меня с поля унес на руках —
Мне потом рассказали товарищи.

Мне потом рассказали,
Что при дележе
Нам передали бая владения
Ну, а он все считал их своими в душе —
Вот причина его нападения.

...Мне за сорок.
Я вижу в широком окне
Светлый путь,
Тополя у обочины,
Но досталась от старого мира
и мне
Та последняя
злая пощечина.

☆

Чтоб «Сыном» меня звали, я привык,
Чтоб «Другом» величали, я привык,
Мне «Брата» имя дали, я привык,
«Товарищ» окликали — я привык,
Но только что
впервые
в тишине,
Иль, может, это показалось мне,
Мой первенец,
мой мальчик,
мой птенец,
Взяв за рукав меня,
сказал: «Отец».

Контрасты

Контраста для героя нет завидней,
Чем проходимец, чья душа бедна.
Нагляднее, яснее, очевидней
На фоне клячи
Резвость скакуна.
Плохая книга сердца не затронет,
Не видим никакого проку в ней.
Вот разве что
На этом тусклом фоне
Удача настоящая видней.

Поэт и Луна

Я слышал разговор Луны с Поэтом.
Поэт сказал:
— Стыдилась бы, Луна!
Живешь ты Солнца отраженным светом,
А собственная суть твоя темна.
Луна в ответ:
— Ты верно понимаешь.
Я людям Солнца свет несу всегда.
А ты у Солнца свет не занимаешь
И сам не светишь...
Вот твоя беда!

Перевел Анисим КРОНГАУЗ

Слав Стоянов Македонский

НАДПИСЬ НА СЕРДЦЕ

(Из «Казахстанского блокнота»)

Рисунки А. Шульца.

Я отыскал его дома среди книг. Края блокнота совсем истрепались, да и возраст у него уже солидный — десять лет. Сотня густо исписанных страничек. Чего только нет здесь: и когда-то незнакомые (а теперь такие близкие) русские слова, и конспекты лекций, и разные чертежи, рисунки... А под одним из них адрес и два слова: «До свидания, Болгария!» Помнится, написал их Володя Добровольский накануне своего отъезда в Москву — он ехал учиться. А познакомились мы с ним в Казахстане: строили новую Магнитку в Темир-Тау.

Возвратившись к себе на родину, в Болгарию, я часто вспоминаю все, что связано с этими днями, когда мы, болгарские строители-добровольцы, работали на стройке вместе с советскими девушками и ребятами, приехавшими в Темир-Тау со всех концов Советской страны.

...Снова и снова перелистываю страницы старого блокнота, с которым не расставался три года. Вот самая первая запись: «15 июля 1957 года. В тот день нас, тысячу сто молодых болгар, встречал на вокзале весь город. Дело уже шло к полуночи, а ждали нас с полудня. Поезд задерживался. Те, кто работал во второй смене, с сожалением покидали вокзал, так и не дождавшись нас, а те, что были в третьей смене, сердечно встретив нас, уходили прямо с вокзала на работу...»

А вот коротенькие и наивные стихи:

Стучи, мое сердце,
Сильнее стучи!
Сердца друзей,
Как солнца лучи,
горячи!

Я написал их, как только мы вошли в наш новый дом. Самые теплые воспоминания связаны с ним: ведь специально для нас комсомольцы построили семь грехэтажных и четырехэтажных домов, красивых, комфортабельных...

На следующей странице блокнота читаю имя прославленного строителя Токена Турмагомбетова, депутата Верховного Совета СССР. Именно он приветствовал нас на вокзале:

— Добро пожаловать, дорогие сыны и дочери Димитрова!..

Еще и еще странички. И каждая из них вновь возвращает меня ко всему, что я увидел, узнал и пережил в те три года, которые провел на огромной стройке в казахстанской степи...

А вот цифры: «843», «278», «около 300»... Я записал их на одном из собраний. Руководитель болгарских добровольцев Дирян Парикян проводил его в клубе строителей. Я вспомнил его слова: «Восемьсот сорок три члена нашей бригады овладели за три года одной, а то и двумя новыми для каждого из них специальностями... В строительстве Казахстанского металлургического комбината участвовало двести семьдесят восемь болгарских монтажников и механизаторов...» А цифра «около 300» относится к молодым семьям. В самом деле, около трехсот болгар и болгарок нашли свое личное счастье в Темир-Тау. И здесь же в большинстве этих молодых семей появились дети...

...Дальше перелистываю страницы блокнота: «1 000 000». Что означает эта цифра? А вот что. Недавно я был на строительстве металлургического завода в Кремиковцах — крупнейшего в Болгарии. Туда приехали многие члены нашей «казахстанской» бригады. И когда в управлении стройки их просили назвать свои профессии, ребята отвечали наперебой: монтажник, электросварщик, экскаваторщик, скреперист, шофер, электромонтер... И я вспомнил тогда, что означает цифра «1 000 000». Миллион рублей (в старых деньгах) израсходовало управление строительством Казахстанской Магнитки на обучение болгарских друзей новым для них специальностям.

...Мой старый блокнот! Я и не предполагал, что ты станешь так дорог мне! Ведь за каждым именем на твоих страницах встает живой человек, за каждой цифрой — его дела. За каждым лаконично записанным фактом — переживания и судьбы моих товарищей и братьев. И я не могу сейчас удержаться от искушения «расшифровать» некоторые из этих записей, рассказать о том, что чувствовала, думала и увидела болгарская молодежь, приехавшая строить металлургический гигант в казахстанской степи.

ПАРЕНЬ ИЗ ГАБРОВА

Жил в городе Габрове темноволосый парнишка с большими карими глазами и доброй улыбкой. Работал завхозом в столовой. Мечтал всегда быть там, где трудно и где рождается новое. Поэтому и отправился он в Темир-Тау вместе со своими ровесниками и земляками. Приехал. Направили его к инженеру Медведеву знакомиться.

Медведев, не расставаясь с вечной своей папиросой и не отрываясь от чертежей, спросил:

— Как тебя зовут, приятель?

— Пройно Кунев Христов.

— Что сумеешь делать на стройке?

Пройно замешкался. Молчал. Пока он не умел делать ничего, но хотел обязательно строить большие дома со светлыми, большими окнами.

О мечте своей сказал инженеру. Тот, конечно, понял его.

— Смотри! Кирпичи укладывают так... А крупные блоки монтируют так... — стал показывать Медведев.— Видишь?.. Ну как, ясно? Да ничего, что ты совсем молодой! Назначим тебя бригадиром! Держись! Не смущайся!..

Бежали дни. Проходили месяцы. Загрубели у Пройно руки, да и не думал он о руках. Работа захватила его целиком. Не замечал, когда темнело. Не дожидаясь утренней зари, отправлялся на стройку. В весеннюю пору увязал по колено в грязи, зимой бесновалась вокруг него степная вьюга. А он работал, вместе со всеми строил, строил...

Однажды в начале зимы подошел к нему инженер.

— Вот что, Пройно, — сказал он. — Выручай, друг! Через сорок пять дней приедут к нам три тысячи комсомольцев-строителей. А жить им пока негде. Придется твоим ребятам стать волшебниками и за эти сорок пять дней поставить вон там, на пригорке, семь сборных домов. Я тебя и не прошу об этом и не приказываю. Сам понимаешь. Сам и решай...

Получив этот срочный наряд, парни из бригады Пройно ворчали, но Пройно повторил им слова инженера:

— Я вас не прошу об этом и не приказываю... Сами понимаете. Сами и решайте!..

Опускалась ночь. И вновь светало. Утро сменялось вечером, один день — другим. Парни не снимали спецовок, не думали об отдыхе. Знали только одну дорогу: строительная площадка — столовая — и обратно. Так же и Пройно. Красивое лицо его осунулось и почернело на солнце. Но дома — один за другим — поднимались на пригорке.

На сорок пятое утро выпали инструменты из рук Пройно. Опустился парень на деревянную лестницу седьмого дома, обхватил руками колени и заснул. Как ни старались его разбудить ребята, не смогли.

А в это время к новым домам подъехали машины со строителями-добровольцами. Они весело и шумно соскакивали с грузовиков, входили в свои новые жилища, устраивались, распаковывали чемоданы. Последняя группа новоселов остановилась у седьмого дома. Удивленно смотрели они на спящего у входа парня. Им объяснили:

— За сорок пять дней его бригада построила семь домов.

Крепко спал Пройно — никто не мог разбудить его. Но вот к нему подсела на ступеньку синеглазая, беленькая девушка. Тихо и ласково шепнула:

— Паренек, а паренек... Проснись!

Пройно сразу вскочил, схватил свой инструмент и быстро заговорил спросонья:

— Нет, нет! Отдыхать еще рано... Люди приедут, а жить им негде...

А девушка говорит ему:

— Мы уже приехали... И у нас есть где жить... Спасибо тебе и твоим ребятам. Спасибо!..

ГОЛОС СЕДЕФА

Всю зиму монтажник Седеф работал на высоте. Морозы тогда стояли суровые. Простудился Седеф на холодном ветру и надолго (а может, и навсегда) потерял голос. И раньше-то девушки не баловали его своим вниманием, а тут, когда совсем молчаливым он стал, вроде и позабыли о нем вовсе. А он так себя успокаивал: «Мне в опере не петь — проживу и без голоса...»

Однажды познакомился Седеф с веселой украинкой Любой. Прищурив свои черные озорные глаза, спросила она лукаво:

— Где же твой голос, хлопец? Где посеял-то его, а?..

Промолчал тогда Седеф...

Шло время, и все, что не мог Седеф выразить девушке звучными словами, досказали его глаза, сердце. Вскоре Седеф и Люба поженились. Стали работать вместе. Он монтажник, она электросварщица.

Однажды в жаркий июльский день собрались на строительной площадке тысячи людей — от министров до каменщиков. И заводская сирена — мощная и праздничная — впервые дерзко рассекла синеву небес и понеслась над глухой степью, возвещая о новой победе человека. Среди тех, кто строил Казахстанскую Магнитку, были, конечно, Седеф и Люба. Седеф, улыбаясь, склонился к жене и шепнул:

— Ты спрашивала, где мой голос. Вот он! Слышишь?! Ну как, нравится?..

КАЛИН

Все ребята уже разошлись по домам. Было десять минут шестого. На строительной площадке задержались лишь технорук Олег Бородулин, двадцатичетырехлетний комсомолец, и болгарин Калин. И вдруг прибыл «внеплановый» самосвал с бетоном для фундамента будущего газопровода. Заливку бето-

на не хотелось откладывать на завтра. Так как же быть? Раздумывать некогда. Холод был страшный. А бетон лежал в железном корыте. Времени для заливки — в обрез!

— Нужно догнать ребят. Пусть вернутся, — сказал Олег Калину. — Беги!..

Калин побежал за бригадой, громко крича:

— Степа-а-ан!.. Волод-я-я!.. Бето-о-он прише-е-л!

Но его не слышали, ветер уносил слова в сторону. Тогда Калин решил помчаться наперерез. Он ловко перемахнул через канал газопровода, но на опалубке напоролся ногой на гвоздь. Гвоздь пробил валенок и застрял в ступне. Пришлось остановиться. Калин опустился на снег. Стиснув от боли зубы, он с трудом вытащил огромную железную занозу. И снова — в путь. Где-то далеко замаячили фигуры ребят из его бригады. Он увидел, как остановилась на дороге машина, как парни забрались в кузов и через минуту машина скрылась в снежной мгле.

Калин заковылял обратно. Олега на площадке не было. Бетон еще не остыл: над корытом поднимался пар. Но не пройдет часа — бетон смерзнется. Медлить нельзя! Ветер усилился, повалил снег. Усилилась и боль в ноге. Калину хотелось прилечь. «А бетон?» — подумал он. Стиснув зубы, подкатил вагонетку, взял лопату, залил бетон, заработал вибратором. Снег застилал глаза. В валенке — что-то теплое, липкое...

...Корыто опорожнилось. На снегу красные следы. Вернулся Олег: он тоже пытался догнать бригаду — не смог.

— Ты что здесь делаешь один? Откуда кровь?!

Узнав, в чем дело, Олег помог Калину добраться до больницы. Тот ковылял, опираясь на руку товарища, даже не подозревая, что совершил пусть маленький, но все-таки подвиг.

НАДПИСЬ

На бетонном фундаменте насосной станции, который укладывали Володя Добровольский и я, написали мы железным прутом свои имена. Много фундаментов довелось заложить нам на строительстве Казахстанской Магнитки, но этот был особенным, последним.

Володя приехал в Темир-Тау осенью 1958 года. Высокий, черноволосый, широкоплечий. А какой сильный! Настоящий богатырь.

Однажды, в самые дожди, нас подвели снабженцы — не доставили вовремя арматуру. Инженер был в отчаянии. Проклятые железные прутья тормозили работу двух бригад.

— Сейчас будет арматура! — решительно сказал Володя Добровольский и зашагал к полигону.

А идти до него нужно было около километра. Дорогу развезло. Грузовые машины застряли в непролазной грязи. «Как же,— думал Володя,— доставить арматуру на строительную площадку?» Прошло несколько минут.

И вдруг мы видим: возвращается наш Володя, а за плечами тянутся длинные железные прутья. Подошел, сбросил их, передохнул.

— Ну-ка, еще разок!

Он снова зашагал к полигону, за ним один за другим последовали и все остальные. Перенесли арматуру и бетонирование закончили в срок.

И вот пришла пора расставаться со стройкой. Я вернулся в Болгарию, а Володя уехал в Москву учиться. Фундамент, на котором мы написали свои имена, зарыт глубоко в землю, и никто не может его увидеть. Но он существует. И когда я читаю в советских газетах о том, что металлургический завод в Казахстане перевыполнил план выплавки чугуна, я всегда вспоминаю с гордостью о надписи, которую мы с Володей оставили на одном из его фундаментов. Ведь она, эта надпись, и есть та невидимая нить, что на всю жизнь связала меня с Темир-Тау.

ПО-РУССКИ!

Вот уже второй год живет Митьо в Темир-Тау среди русских друзей, а русского языка не знает. Родом он из Трынско. Молчаливый парнишка, малообщительный. Пока ребята из бригады два гвоздя забьют, — двести русских слов пробормочут. Уже совсем свободно они по-русски разговаривают. А Митьо молчит и работает молча. А как спорится у него дело!..

Вместе с ним работал его друг, русский парень. Звали его Гришей. Весельчак этот Гриша, озорник и балагур. Все кругом удивлялись: почему он так привязался к молчаливому болгарину?

Разное говорили. А чаще всего: мол, Грише особенно нравится, что в обществе Митьо он преспокойно говорит за двоих. Может, и так было дело, а может, иначе. В общем, дружили Митьо и Гриша всерьез.

Застенчивый был Митьо, редко кто слышал его голос. Но однажды на производственном совещании он вдруг вскочил и, путая болгарские и русские слова, так разделал начальство за непорядки да неполадки на строительстве, что строители проводили его громом аплодисментов.

И Гриша был счастлив. А потом как крикнет во весь голос:

— Верно, Митьо! Хорошо говоришь... По-русски!

ВАЛЬС

Работа работой, но ведь и повеселиться на досуге каждому хочется! И вот решили молодые болгары соорудить на стройке большую танцевальную площадку. Сказано — сделано. Создали свой джаз-оркестр, нашлись и певцы-солисты.

И теперь каждый вечер на танцевальной площад-

ке собирается много народу. Веселые мелодии летят над ночной степью. Как заиграет оркестр, — люди из ближайших домов тут как тут. Забывают о сне, идут развлекаться.

Когда я вижу танцующие пары, хочется мне и самому покружиться, но... Моя-то дама осталась возле спящего сынишки. Честно говоря, даже когда гляжу, как танцуют другие, мне все равно становится весело. И все-таки... не могу я устоять на месте. Тогда ухожу с площадки, брожу вокруг нее и слушаю музыку.

Однажды, завернув за эстраду, я остановился как вкопанный. Отчего? Как вы думаете? Здесь, за эстрадой, оказывается, устроили настоящую стоянку детских колясок. В колясках этих безмятежно спят ребятишки, укутанные в шелковые стеганые одеяла. Много ребятишек. А где же их мамы? Ах, да!.. Вон они — кружатся в вальсе с их папами...

Я стоял среди спящих детей и улыбался. Вдруг проснулся маленький хозяин одной из колясок и заплакал так отчаянно, что коляска просто ходуном заходила. Я растерялся. Собственного сына редко нянчил, а тут хочешь не хочешь надо чужого ребенка успокаивать и забавлять, да еще в общественном месте!.. Незнакомый возмутитель тишины, правда, быстро угомонился и снова заснул, а я продолжал смотреть на вальсирующие пары...

На следующий вечер на стоянке детских колясок возле эстрады появилась и коляска нашего сына. Он сладко спал, а мы с Зиной танцевали... Через некоторое время видим: Колька наш замахал ручками — вытащил их из-под одеяльца. Я только было собрался кинуться к нему, как вижу: возле его коляски выросла фигура незнакомого кудрявого парня. Он стал укачивать малыша, а мы с Зиной с улыбкой переглянулись и продолжали кружиться.

ФЛАГ

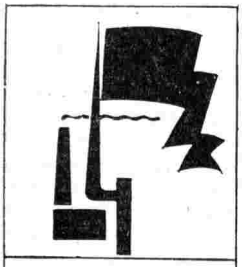
Помню, начинали мы на пустыре рыть котлован под основание домны. Тогда кто-то из ребят притащил откуда-то красный лоскут, прикрепил его к железному пруту и воткнул в землю. И уже потом пошли в ход лопаты. По мере того как углублялся котлован, наш красный флажок опускался все ниже и ниже в землю. Но вот огромный котлован готов. Мы закрепили его железной арматурой, залили бетоном, и теперь флажок день ото дня метр за метром стал подниматься все выше и выше. Он не сдавался ни знойным летним ветрам, ни зимним ледяным вихрям. Как и подобает боевому знамени, он выстоял, победил.

И вот наконец на заводе пошел первый чугун. В этот радостный долгожданный час я невольно взглянул вверх, на самую верхушку домны. Я не увидел там нашего привычного флажка, старого, вылинявшего от дождей и солнца. Над домной реял новенький, парадный, ярко-красный флаг. С чувством обиды и сожаления, словно потеряв старого друга, я опустил глаза. И вдруг среди сотен улыбающихся, возбужденных людей я увидел высокого парня, в мускулистых руках которого развевался дорогой моему сердцу флажок. Выцветший, изодранный по краям, он резко выделялся среди десятков ярких знамен, развевавшихся над толпой. Парнишка гордо держал его высоко над головой. Я смотрел на него и думал: у человека всегда должно быть свое знамя. Всегда и всюду.

Перевод с болгарского
Лидии БАША.

В. И. Платонов,
адмирал

СЛУЖИЛИ НА ФЛОТЕ КОМСОМОЛЬЦЫ



После Бахчисарая поезд стал извиваться змеей среди поросших голым кустарником гор, то и дело вползая в черные норы тоннелей. Наш вагон, набитый добровольцами первого комсомольского призыва, кренило на крутых поворотах, как корабль в непогоду. Будущие моряки — новое пополнение для Черноморского флота — сидели на своих скромных пожитках и вертели головами, боясь пропустить за мутными, немытыми окнами что-нибудь важное. Долгие скитания по военкоматам и сборным пунктам, непривычный длинный путь утомили всех. Хотелось поскорее увидеть флот.

И вот перед нами выросло здание давно не беленного Севастопольского вокзала. Громыхая деревянными сундучками и скрипя плетеными корзинками, комсомольцы засуетились у выхода.

На просторной привокзальной площади зазывали седоков легковые извозчики. Таскали на горбу тяжелую поклажу ломовики. Сновали беспризорники в грязных лохмотьях, высматривали, что можно выпросить или уворовать. Громко выкрикивали похвальные слова своим товарам торговки сахарином, дельфиньим холодцом и мамалыгой. Под забором, укрывшись от свежего ветра, грелись на раннем солнышке отощавшие босяки. Неподалеку лежал на тротуаре умирающий.

Шел март 1922 года. На Крым вслед за Поволжьем навалилось страшное бедствие — голод.

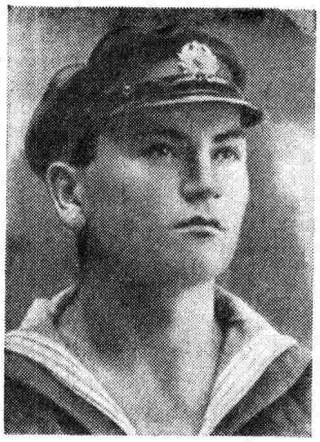
— А ну, братва, разберись по четыре! — крикнул угрюмый старый военмор, сопровождавший нас из губвоенкомата, и стал подниматься в гору по вымощенной гранитными брусками дороге. Мы на ходу построили подобие колонны и, соблюдая равнение, бодро и радостно зашагали за ним навстречу загадочному будущему.

На возвышенном месте Корабельной стороны перед нами гостеприимно распахнули настежь широкие ворота два невысоких, удивительно похожих друг на друга новобранца. На них мешком сидели широкие, не по росту бушлаты и серое парусиновое рабочее платье. Гладко стриженные головы покрывали мятые флотские фуражки без козырьков и ленточек. На большом дворе стояли добротные трехэтажные казармы тюремного вида из белого пиленого известняка. Обширную внутреннюю территорию скрывал от внешнего мира высокий каменный забор. На плацу слышалось «ать-два».

Мы прибыли в Черноморский флотский экипаж — преддверие флота. Здесь формировался Отряд молодых моряков для первоначального военного обучения.

В сырой, нетопленной казарме, куда нас привели после переклички, уже томились без дела москвичи, ставропольцы, криворожцы. Щеголяя корабельной терминологией, они усердно знакомили новичков с местными условиями жизни. Обычные скамейки здесь называли банками, уборную — гальюном, асфальтовый пол — палубой, а каменные лестницы — трапами. По трапам можно было только бегать — ходить шагом считалось непростительным невежеством.

Ребята из нашей группы, командированной Керченским укомом комсомола, расположились на голом железе двух коек, чтобы обсудить назревшие вопросы. Хозяйственный Миша Тютюников докладывал собранию, что вновь прибывших обещают зачислить на довольствие лишь завтра, и предлагал из скудных остатков дорожных пайков составить обед и ужин. Дальновидный Феофан Быков, которого мы называли Фаней, настаивал выделить неприкосновенную долю для всякого непредвиденного случая. Еще один наш земляк и товарищ — Наум Вол — уже успел по-



От рядового краснофлотца до адмирала — вот путь Василия Ивановича Платонова на флоте. На снимках: В. И. Платонов — старшина крейсера «Коминтерн» (1923 год); ниже — курсант военно-морского училища (1927 год); справа вверху — командир роты Черноморского флотского экипажа (1928 год); внизу — командующий Северным флотом (1948 год).

брататься с посланцами столицы, и те угощали его черными калачами и московской колбасой из конины.

На следующий день прибыла большая группа комсомольцев Украины и призванных по очередной мобилизации казанских татар. Затем к нам добавили остатки какой-то расформированной в Закавказье пограничной части, с большой прослойкой армян и грузин, прислали пехотный взвод из Архангельска (в полушубках и валенках) — и Вторая рота молодых моряков была готова.

После первого, не очень сытного обеда новоявленное воинское подразделение построили по ранжиру, разбили на четыре взвода и велели, согласно этому порядку, не только строиться, но и разместиться по койкам. Началось смешение языков и народов. Рота была похожа на развороченный муравейник. Остаток дня ушел на шумное переселение.

Внутренней жизнью в казарме управляли старшина роты и два помкомвзвода. Всем хозяйством ведал баталер. Иногда заходил помощник командира роты Мелинчук, среднего роста, тихий человек с искалеченной левой рукой. Он собирал нас, усаживал на койки и подолгу поучал поведению в строю и в казарме.

Когда Вторая рота была сформирована, пришел наконец Северов, ее командир. Невысокий, крепко сбитый, с недовольным, но энергичным лицом, он в сопровождении Мелинчука и старшины ходил по казарме, давал указания и громко бранился.

— Ребята, слушай сюда! — обратился к нам Северов, шагая вдоль строя и ни на кого не глядя.— Забудьте, что тут добровольцы, пограничники, комсомольцы или бывшие активисты. Для меня вы все новобранцы. Завтра вас подстригут под одну гребенку,

вымоют в одной бане, оденут в одинаковое обмундирование и начнут гонять в хвост и в гриву. Моя задача — приготовить из такого, как вы, сырья хорошую строевую часть. Делать вам разрешается только то, что приказывают. Всякая самодеятельность здесь вредна, недопустима и будет наказываться.

Затем он спросил, имеются ли жалобы, изругал двух человек, осмелившихся роптать на непорядки, и ушел.

Стричь и преображать в моряков нас стали следующим утром. У баталерки выстроились очереди получающих экипировку, толпились и любопытные. Старшина роты вызывал людей по спискам, баталер бросал пахнущие нафталином одежды на прилавок. В импровизированной парикмахерской призывники сидели верхом на трех скамейках в очереди. Три вызвавшихся охотой цирюльника орудовали машинками. Меня разыскал удрученный Тютюников.

— Как думаешь,— спросил он,— оставит командир прическу, если попросить хорошенько?

— Не знаю,— ответил я,— толкнись, проверь. Что ты теряешь?

Не скажу, чтобы мне самому легко было приносить эту жертву. Лелея слабую надежду, я последовал за Тютюниковым, чтобы в случае удачи вовремя присоединить свой голос к петиции товарища. Северов сидел в баталерке на прилавке, спиной к двери, и держал на коленях буханку черного хлеба. Рядом возвышалась небольшая кучка сахарного песку. Пальцами он выковыривал мякиш, сминал в руке, макал его в сахар и, причмокивая, аппетитно ел.

— Товарищ Северов! — позвал Миша незнакомым от волнения голосом.

— Ну,— не оборачиваясь, грозно отозвался командир.

— Товарищ Северов, можно мне оставить прическу, жалко ведь,— неуверенно пролепетал проситель.

Северов, не поднимаясь с места, скомандовал отрывисто:

— Кру-гом! Пшел вон! — И... снова набил рот хлебом.

Когда мой друг опомнился от потрясения, я уже сидел верхом на скамейке в очереди к парикмахеру. Миша подошел, минуту рассеянно потоптался на месте и, глубоко вздохнув, сел вслед за мной. Последний мост, связывавший нас с прежним привычным миром, рухнул.

Нас одели в бушлаты, рабочее платье и бескозырки. Ботинки получили только те, кто ходил по грязи в валенках. Все бушлаты были больших размеров и свободно болтались на матросах. Грубая парусина рабочей одежды стояла колом и при движениях издавала противный скрежет.

Постриженные под машинку и одинаково одетые, все мы стали вдруг на одно лицо. Старые друзья и близкие товарищи не узнавали друг друга. Невидимый дух казармы витал над нами, стирая последние признаки индивидуальности.

Строевые занятия начались прямо с подготовки отделений. Отделенных командиров не было. Назначили наиболее способных новобранцев, которые через день сорвали голос, охрипли и осипли. Их никто не понимал да и не хотел слушаться.

Затем пошла повзводная подготовка. Не хватало двух помкомвзводов. Поэтому с третьим взводом занимался Мелинчук, а четвертый взялся готовить сам Северов. Он гонял взвод до седьмого пота и вопил на весь плац:

— Тверже ножку! Ноги не слышу!

Когда не получался какой-нибудь маневр, Северов с руганью обрушивался на своих учеников. Однажды, когда не получился поворот кругом на ходу, он обозвал всех недоносками, в другой раз за недружное приветствие — детьми Распутина. Комсомольцы потребовали от политрука созыва закрытого собрания. Пригласили комиссара Погорелова. Умный, старый балтиец, он молча слушал слезные жалобы и горячие выступления, улыбался в бурые усы. Слово взял последним.

— Мы хорошо знаем,— сказал он,— что Северов — хам и матерщинник. Но как быть, товарищи, когда другого командного состава у нас просто нет? И такое положение будет существовать долго, пока не вырастут командиры рот из таких вот, как вы, рабочих и крестьян. Страна затем и призвала вас, детей партии — комсомольцев, чтобы вы пролетарским чутьем своим, коммунистическим сознанием и сердцем различали, что́ заимствовать у отживающих свой век северовых, что осуждать, чему учиться у них, а что отвергать. Взять все нужное и полезное у старых специалистов для нового, советского флота — ваша задача. Вот если вы будете к делу овладения морской профессией подходить с таких позиций, вам станет легче и ясней жить, вас тогда не испугают ни матерщина командира роты, ни лишения казарменного быта, ни трудности корабельной службы.

Как часто на протяжении многих лет приходилось вспоминать эти простые слова и руководствоваться ими!

Северов в нашей казарме больше не появился.

Строевые занятия проводились с утра до позднего вечера с небольшим перерывом на обед. Уставали все. Особенно выматывала гимнастика, состоявшая из десяти уроков с винтовками и без оружия. Винтовки выдали канадские — большие, тяжелые и неудобные. На заключительные упражнения приходил командир батальона Скворцов. Он развертывал все пять рот на плацу, забирался на каменное крыльцо казармы и, высоко задрав голову, от натуги приподнимаясь на носки, командовал звонким, певучим голосом. Гимнастику делали под оркестр. Учение превращалось в красивое парадное зрелище.

☆

Голод все больше давал себя знать. Когда начало припекать весеннее солнышко, наиболее слабые физически новобранцы стали от истощения падать в обморок прямо в строю. Их уносили в казарму. Хлеба выдавали два фунта на день каждому, но из них, согласно решению нашего комсомольского собрания, удерживали полфунта голодающим Поволжья.

Чтобы не нести ущерба на усушке, баталер спешил раздать хлеб еще горячим, причем на три дня сразу. Четыре с половиной фунта на три дня! Это меньше двух килограммов. Нужны были большие усилия воли, чтобы устоять от соблазна съесть этот душистый ломоть в один присест. У самых твердых натур хватало выдержки растянуть рацион на двое суток. Третий день все жили только похлебкой, которая варилась один раз — в обед. Утром и вечером дневальный приносил в казарму ведро черного, как деготь, чая и подавал дудку:

— А ну ходи чаи гонять!

Но чаю без сахара и хлеба не хотелось.

После отбоя не слышно было песен. Все лежали по койкам, изредка лениво, вполголоса перебрасываясь случайным словом. Оживление наступало только в дни выдачи хлеба.

От ребят из Керченского укома комсомола пришла открытка. Они спрашивали, хорошо ли нам плавается, что за корабли мы получили. Эх, темнота, темно-

та, святая провинция! «Получили»! Что им ответишь, как объяснишь?

А из родного гнезда шли невеселые вести. Трудовая Керчь рыбаков и сталеваров голодает. Наш металлургический завод стоит. Сестры без работы. Маленький паек отца делят на всю семью. Мать лежит: опухли ноги, должно быть, с голоду. Она зовет меня домой и все плачет...

...По воскресным дням нас водили на прогулки. Иногда комсомольское бюро организовывало экскурсии по местам Севастопольской обороны 1854—1855 годов.

Вот Малахов курган на окраине Корабельной стороны. Комсомольцы всматриваются в развалины старых бастионов, словно стараясь найти на них следы кровавой битвы. Там, где 5 октября 1854 года погиб начальник штаба флота вице-адмирал Корнилов, стоит памятник: на широком пьедестале — разбитый вражеским обстрелом брустверо и сраженный ядром герой. Мертвеющие уста с последним ударом пламенного сердца отдают приказ еще оставшимся в живых: «Отстаивайте же Севастополь!» Предсмертная воля командира врезана золотыми словами в черный мрамор.

Мы долго молча стоим, склонив головы.

В конце улицы, увековечившей его имя, на большой площади у колоннады Графской пристани памятник адмиралу Нахимову. Высокая, чуть сутулая фигура, суровое лицо, фуражка, как в бою, сдвинута на затылок, полы сюртука полощутся по ветру, властно вскинутая рука, под ногами флаг поверженного врага.

Наш ветхозаветный экскурсовод, в потертом офицерском кителе, вышколен жизнью. Он старательно обходит слова «адмирал», «офицер», «Россия», как, впрочем, и слово «товарищи».

На Историческом бульваре нас ведут в Панораму, где, повинуясь талантливой кисти мастера, восстали из прошлого героические образы защитников Севастополя в памятный день штурма 6 июня 1855 года. Грандиозное творение замечательного русского художника Ф. А. Рубо всех потрясает.

Вечером в казарме то разгораются, то гаснут споры. В одном углу харьковчане пытаются установить, была ли Севастопольская эпопея победой или поражением. В нашем крыле комсомольцы облепили койки вокруг Лени Остапенко.

— Конечно,— говорит Леня,— генералы и адмиралы были помещиками и крепостниками, слугами самодержавия. Так ведь не за то мы свято храним в своей памяти вождей защиты Севастополя. Вы видели сами, что последнее слово Корнилова, высеченное на могильном камне, обращено не к родным, не к близким. Он пекся об осажденном городе, о заблокированной базе флота. Там же, на Малаховом кургане, спустя девять месяцев сложил голову и Нахимов. Мы должны учиться у Нахимова и Корнилова не только тому, как надо воевать и умирать, но и тому, как надо любить свою Родину и свой народ.

☆

Близился май, учебная программа подходила к концу. Молодых моряков готовили к параду и принесению присяги. Смотры чередовались с репетициями. Каждый день приезжал командир отряда Иван Петрович Шабельский. Нам выдали суконные брюки, белые рубахи с синими воротниками и долгожданные ленточки с золотой надписью «Черноморский флот».

После праздника в экипаж наехали всякие представители набирать людей для подготовки в школы. При отборе решающее значение имела профессия до службы и уровень образования. Миша Тютюников работал когда-то на мельнице смазчиком, поэтому попал в Машинную школу. Быков умел красиво и быстро писать — он пошел учиться на радиста, Вол — на телеграфиста проводной связи. В Школу строевых старшин выбирал учеников командир нашего отряда Шабельский. Я до призыва плавал палубным матросом на паровой шаланде в Землечерпательном караване, но изъявил желание стать машинистом. Меня направили к Ивану Петровичу.

— Зачем же тебе, малый, переучиваться? — спросил он.— Да и не в каждую машину тебя вопхнешь, верзилу. Ему впору дуги гнуть, а он в машинисты! Ты, поди, завинтишь клешнями гайку, так ее и ключом не отдашь. Хочешь ко мне на корабль? Я из тебя хорошего строевого старшину сделаю, боцманом потом станешь.

Моя робкая попытка настоять на своем вызвала у командира отряда гримасу досады.

— Знаешь, приятель,— сказал он строго,— не могу я всякого упрямца уламывать. В старое время любой боцман мог взять шлюпочного гребца за шерсть, поднять в воздух и пересадить одной рукой с банки на банку. Мне бы хотелось набрать именно таких молодцов. Ты, кажется, годишься для моего начинания. Вон у тебя рожа какая красная.

Я молчал, хлопая глазами.

— Запиши этого,— бросил Шабельский своему адъютанту, ткнув в мой живот толстым пальцем.

На другой день расставались земляки, прощались друзья. Пути-дороги расходились веером.

Экипаж! Получив права гражданства в эпоху парусного флота, когда сюда списывали на зимовку команды разоруженных кораблей, он не утратил значения и в наши дни. Ни один матрос не попадет в плавающий состав, минуя его стены. Здесь начинающих воинов ждут первые радости и первые огорчения. Здесь впервые открывают они, что ни знания, ни опыт не даются в готовом виде сразу, что их надо по каплям и зернам собирать долго и терпеливо.

Я прощался с Черноморским флотским экипажем, не подозревая, что через пять лет вернусь сюда, но уже в новом качестве. Вернусь командиром роты сменять Северова, как мечтал о том комиссар Погорелов.

☆

Школы строевых старшин еще не существовало. Состоялось только решение ее открыть и разместить на крейсере «Память Меркурия». На командира корабля — того же Шабельского — возлагались по совместительству и обязанности начальника школы.

Мы поднялись по широкой крутой сходне и в нерешительности остановились на грязной, захламленной верхней палубе. Дежурный по кораблю старшина пальцем сосчитал прибывших и отвел в жилое помещение. Там царила тьма, сырость и холод, пахло прелой пробкой и ржавчиной. Обшивка бортов была оборвана и висела клочьями, настил палубы изрыт выбоинами, иллюминаторы выбиты. В переборках зияли дыры, из которых торчали обломки паровых и водопроводных труб, болтались обрывки освинцованных электрических кабелей. По углам и у бортов покоились лужи рыжей вонючей воды. Мы стояли, подавленные отвратительным видом разрушения и запустения, не зная, что делать. Но долго созерцать и раздумывать нам не дали. Пришли старшины — разбивать по сменам и вахтам, распределять по столам и бачкам, повели в шкиперскую получать по-

стельные принадлежности, стали учить подвешивать, вязать и укладывать койки.

Затем всех расписали по заведованиям и приборкам, по авралу и тревогам: боевой, водяной и пожарной. Тут же назначили и развели многочисленный наряд: дневальных, вахтенных, рассыльных, дежурных гребцов, рабочих и т. д. С вахты то и дело подавались сигналы горном, дудки и команды: то разойтись по приборкам, то построиться для развода по работам, то отбой, то обед, то отдых, то побудка, то снова по работам. К вечеру начинающие моряки имели обалделый вид. Ложились спать в подвесных койках, они казались неудобными и опасными. Без привычки при неосторожных переворотах с боку на бок многие вываливались из них и падали на палубу.

Старые матросы встретили нас радостно, как свою смену, но по традиции посылали на самые трудные и грязные работы, пренебрежительно звали школярами, а в сердцах — и серыми порциями. А работы был непочатый край! Перед нами стояла задача — восстановить боевую единицу. Корабль стоял у стенки Морского завода в капитальном ремонте. На нем белогвардейцы взорвали цилиндры, повредили и разбросали котлы и машины, испортили вооружение. Дважды в день мы спускались по ломаным трапам вниз и помогали рабочим завода и машинной команде разбирать и чистить механизмы, поднимать наверх обломки металла, откачивать ведрами из отсеков смешанную пополам с маслом гнилую воду, выносить мусор и грязь. Уставали так, что теперь строевые занятия казались бы нам отдыхом. Вечером подвешивали уже обкатанные койки, ловко забирались в них и спали как убитые, без сновидений. О школьных занятиях не могло быть и речи.

Только к июлю привезли снятые с балтийского крейсера «Богатырь» подходящие цилиндры, подготовили к сборке главную машину, котлы и вспомогательные механизмы, привели в обитаемое состояние жилые помещения, кое-как отмыли верхнюю палубу.

После двух месяцев пребывания на корабле учеников уже трудно было отличить от бывалых матросов. Мы хорошо знали корабль, отлично несли вахту, не хуже своих учителей выполняли обязанности по тревогам и другим расписаниям. Все загорели, окрепли, перестали давать себя в обиду. Нас даже стали ставить в пример «старичкам».

Кормили на корабле лучше, нежели в береговых частях. Здесь выдавали по два фунта хлеба чистым весом, варили обед и ужин, на котел больше отпускали мяса, рыбы и масла.

В июле, в самый разгар лета, приступили к занятиям. Круг обязанностей строевых старшин очень широк. Они должны прежде всего в совершенстве знать боцманскую специальность, так как наиболее опытных из них и способных назначают на эти должности. Вместе с вахтенными начальниками строевые старшины несут самую ответственную и сложную вахту на юте, что обязывает их твердо знать организацию службы, устройство корабля и принципы управления им. В подчинении у строевых старшин находятся матросы разного боевого и технического профиля, а в заведовании состоят артиллерийские и минные погреба, самоходные катера и шлюпки. Это требует от старшин хорошего знакомства с оружием и механизмами, умения уверенно управлять плавающими средствами под веслами и парусами.

Все это определило и объем учебной программы. Рассчитанная на двенадцать месяцев, она оказалась обширной и разносторонней.

Обязанности преподавателей нес командный состав крейсера. Но так как корабельных специалистов не хватало, то Шабельскому пришлось самому читать подавляющее большинство предметов. Роли лаборантов на практических занятиях исполняли боцманы и главные старшины корабля. Вскоре мы убедились, что теоретическая подготовка в нашем деле имеет второстепенное значение. Условия службы требовали не столько знаний, сколько умения. Выше же всех других свойств ценились волевые качества старшины, его способность управлять людьми, командовать подчиненными.

Сидеть на лекциях было тяжко и скучно. Жара морила и учителя и слушателей. Глаза слипались, клонило ко сну. Занятия иногда скатывались с предмета на пересказы захватывающих морских баталий, увлекательных происшествий и обидных аварий. Отдушиной были практические занятия. Шли на них с удовольствием. Они служили отдыхом от умственной работы, давали в руки ощутимые познания, вносили разнообразие в размеренную, расписанную по минутам флотскую жизнь.

Практиковаться по марсовой специальности нас водили в порт на плавучий подъемный кран. Там размещалась большая такелажная мастерская. Искусные умельцы-такелажники сидели со свайками и мушкелями в руках под брезентовым тентом на плетеных кранцах и выполняли заказы на весь флот. Все они когда-то служили на кораблях и потому встречали нас тепло, обращались ласково, называя сынками, добросовестно учили трудному ремеслу, дивились усердию и восприимчивости своих учеников. Между нами очень скоро установилась дружба. Мы им носили хлеб и махорку, они приходили на наш корабль и в неурочное время помогали выполнять самые сложные и опасные работы на матчах и реях. Старики приглашали нас к себе на Корабельную сторону в гости, знакомили с семьями, поили чаем, потчевали ягодами.

Научиться владеть шлюпками оказалось делом нелегким. Весла на баркасе большие и тяжелые, но сколько флотской ловкости и удали можно здесь показать, если хорошо подобрана и натренирована команда! Не зря в то время говорили, что шлюпка — визитная карточка корабля.

Хождение под парусами было любимым занятием. Мы выбирались в Северную бухту и часами бороздили ее вдоль и поперек, подходили к самому Инкерману и поросшему камышом устью речушки со зловещим названием Черная. Сколько крови людской было пролито на ее топких берегах, сколько загублено жизней!

Под парусами мы заходили в Южную бухту. Там, пристав к высокому берегу, на судовом «кладбище» уже много лет ждали своего приговора старые броненосцы. Тяжелые, низкобортные, похожие на утюги корпуса, высокие дымогарные трубы, приплюснутые артиллерийские башни, короткие толстые стволы орудий указывали на то, что эти морские великаны были построены еще задолго до первой мировой войны. Теперь они безнадежно устарели. С удивлением читали мы позеленевшие от времени медные имена божьих угодников: «Пантелеймон», «Иоанн Златоуст», «Георгий Победоносец». Видно было, что к наречению черноморских кораблей приложили руку церковники.

Тренировки и проверки на выносливость и морскую закалку проводились в длительных шлюпочных походах. На двух баркасах и двух полубаркасах выходили в море и добирались до Херсонеса, Бельбека, Качи. Однажды ходили в Балаклаву.

Напрягая силы, страна выполняла решения X съезда партии — создавала советский флот, восстанавли-

вала корабли. Кроме крейсера «Память Меркурия», на Черноморском флоте ремонтировались эскадренные миноносцы и канонерки, клепались подводные лодки, отрабатывались торпедные катера, заводилась морская авиация. После V съезда комсомола, где было принято шефство над Военно-Морским Флотом, начала регулярно поступать грамотная, развитая молодежь. Глубокой осенью в школу строевых старшин прибыл из экипажа нам на смену новый состав учащихся. У нас на корабле стали также готовить рулевых и сигнальщиков. Ученикам первого набора присудили квалификацию марсовых и выдали каждому книжку военмора, прикрепили на левый рукав вышитый красными нитками круглый знак штатных специалистов и расписали для стажировки дублерами старшин и боцманов по всему флоту. Меня оставили на «Памяти Меркурия».

За поддержание на должном уровне технической подготовки личного состава несли ответственность старшие корабельные специалисты — штурман, артиллерист, механик и их помощники, каждый по своему профилю. Воспитанием же людей и строевой службой ведали политруки и ротные командиры. В помощь последним назначались старшины рот. На эти должности поставили выпускников нашей школы, не дожидаясь присвоения им званий младших командиров. Старшиной первой роты Шабельский выдвинул Вильгельма Эйхгорна — немца из Поволжья, второй — меня, третьей — Митю Леждея, а четвертой — Колю Левшова, моего нового приятеля. Сами вчерашние ученики, мы теперь обязаны были воспитывать и учить буквально каждому шагу молодых, ничего не понимавших в морском деле людей. А они восторженно смотрели на нас доверчивыми глазами, как дети, подражая всякому жесту, желая во всем походить на своих наставников.

Наступила весна, а с ней хлопоты, связанные с подготовкой к началу кампании, как называют в военном флоте открытие навигации. Ремонт подходил к концу. Корабль оторвали от стенки, вытащили буксирами на рейд. От якоря отклепали цепь и завели на бочку. За год стоянки мы так привыкли к насиженному месту, что в бухте казалось пустынно и одиноко. Ночью с двух бортов подвели полные угля баржи. В пять часов подняли команду и объявили аврал. Навели сходни и приступили к погрузке. Кто постарше, те насыпали мешки, молодежь таскала их на корабль, кочегары принимали груз в угольных ямах. Оркестр без умолку трубил марши и вальсы. Вначале бригады менялись через два часа, потом, когда стали выдыхаться,— через час. В короткие перерывы бросали уставшее тело прямо на уголь и мгновенно забывались, скованные сладким сном. Вечером на верхней палубе зажгли люстры и продолжали работу при электрическом освещении. К ночи грузчики валились с ног, ныли изодранные мешками плечи, у музыкантов распухли губы. В 23 часа сыграли отбой, чтобы с рассветом снова приняться за погрузку.

К якорному опробованию и проворачиванию механизмов готовились, как к сложной и ответственной операции тяжело больного человека. Члены машинной команды, начиная со старшего механика Вдовиченко и кончая юнгой Павлушкой, подносившим машинистам в медном чайнике холодную воду, ходили с озабоченными, усталыми, перемазанными маслом лицами. Мало спали, плохо и поспешно ели, все куда-то торопились, о чем-то вполголоса совещались. А из труб уже валил черный, густой дым, световые люки излучали жар накаленных цилиндров, волнующий аромат пара и горячего смазочного масла. В недрах корабля появились признаки новой жизни. К первым оборотам винтов, к ритмичному стуку поршней прислушивались, как к биению сердца родного человека, только что вырванного из объятий смерти. С успешным исходом испытаний поздравляли друг друга, будто с большим праздником. Смотрели весело, торжественно.

Покраска корабля — тоже аврал. Одни трудятся кистями в подвешенных за бортом беседках, другие красят с плотов и шлюпок, третьи висят на мачтах и реях. У боцманов страдная пора. Обливаясь потом, они мечутся от борта к борту, чтобы не потерять нити управления работами, успеть доглядеть повсюду, кричат, надрываясь, на старшин, ответственных за участки.

Потом вокруг корабля на шестерке повезли главного боцмана, чтобы он мог со стороны оценить общий вид. Сияющий свежей краской, высился над водой, как утес, стальной исполин. Мы любовались им и гордились, что на границах Родины поднялся новый бдительный часовой и что приближение этой минуты было делом наших натруженных рук.

По Черному морю сто лет назад плавал под легкими парусами бриг, носивший имя бога торговли и путешествий. Ходкий, летучий «Память Меркурия» встретился 14 мая 1829 года лицом к лицу с двумя турецкими тяжелыми кораблями. Командир брига капитан-лейтенант А. И. Казарский принял дерзкое решение воспользоваться своим превосходством перед врагом в скорости хода и навязать ему невыгодный бой. Четыре часа бились отважные русские моряки! Искусно маневрируя, они смело наносили удары из своих 18 пушек по турецкому отряду, вооруженному 184 орудиями. Только получив 22 пробоины, «Меркурий» вышел из боя и благополучно вернулся в базу. Его потери составили четыре человека убитыми и три ранеными. В честь беспримерного подвига на Мичманском бульваре в Севастополе славным воинам поставлен памятник. На нем лаконичная надпись: «Казарскому. Потомству в пример».

Наш крейсер был назван в память знаменитого брига. Однако морякам нового, социалистического общества были непонятными побуждения предков, присваивавших боевым кораблям имена мифических персонажей античного мира. Поминая добром Казарского и его команду, потомки тем не менее хотели называть вверенное им оружие словами, близкими своему сердцу. Поэтому весною 1923 года крейсер первого ранга «Память Меркурия» начал вторую жизнь под новым именем — «Коминтерн».

Командные кадры корабля составляли три категории людей. Ведущие должности — командира, старпома и старших специалистов — занимали бывшие офицеры старого флота. Самую малочисленную группу младших специалистов удерживали краскомы. Вахтенные начальники, они же плутонговые, и ротные командиры происходили из старшин, выдвинутых войной и революцией.

Отношение матросов к своим руководителям было различным. Командиры рот по роду своей деятельности стояли к нам ближе других. Вся их служебная жизнь протекала у нас на виду. Они и понятны нам были больше остальных, поскольку отличались от нас, по сути дела, лишь своим возрастом, опытом да положением. Краскомов мы идеализировали и видели в них будущее советского флота. Подражали каждому их шагу, все, что они говорили, принимали на ве-

ру. В краскомах, как в зеркале, мы искали свое отражение.

К старым офицерам относились настороженно. Среди части командного состава распространялись оскорбительные шутки по поводу качества восстанавливаемых кораблей. Делались прозрачные намеки на то, что царь строил большой, мощный флот, мы же по бедности плаваем на мелкотоннажном старье. На своих комсомольских собраниях мы отводили душу, раскладывали на составные элементы пороки наших начальников, искали правильных путей взаимоотношений с ними. Комиссар крейсера, воспетый в литературе старый революционный матрос Константин Годун, исправно ходил на наши собрания и помогал разбираться в сложных ситуациях.

— Вы поймите, товарищи,— говорил он,— что бывшим офицерам, даже тем, кому мы доверяем, нелегко привыкать к советской действительности. Раньше они знали, что по уставу положено беспрекословное повиновение нижних чинов старшим. У нас же устава пока нет, а подчиненный смотрит на все критическим глазом и не хочет механически исполнять приказания начальства, да еще норовит проявить инициативу, дать свой совет, стремится сам во всем принимать активное участие. Вот и случается, что другому командиру нет-нет да и взгрустнется по прошлому, где все было для него просто и понятно. Но мы знаем, что есть прохвосты, которые хихикают по каютам себе в кулак, перепевают друг другу плоские анекдоты, сочиняют низкопробные стишки, считают зазорным для себя плавать на поднятых со дна морского, чиненых кораблях. Но собака лает, а владыка едет. Они сомневаются, а флот наш возрождается, и задача эта будет выполнена, коль есть на то решение партии. Прочность Советской власти доказана историей, наукой и оружием. И недалек тот день, когда мы с вами будем плавать на новых, современных кораблях, более сильных и совершенных, чем знало когда-либо царское правительство.

Когда Годун мечтал о новом флоте и будущем многострадальной Родины, его всегда озабоченное лицо озарялось светом молодой улыбки. Тогда он говорил складно, красиво и увлекательно, умел заставить сердца слушателей биться в унисон со своим.

Старшины рот поддерживали самый тесный деловой контакт с боцманами. Главным боцманом — старшиной над старшинами — на «Коминтерне» служил Игнат Лукич Кандалов. Высокий, широкий в костях, он ходил твердой, неторопливой походкой, загребая воздух длинными, как вельботные весла, руками. На его круглом, плоском, побитом оспой лице резко выделялись большие, монгольские скулы. Близко посаженные желтые глазки смотрели остро и внимательно. Жесткие, непокорные усы топорщились, как у старого моржа.

Кандалов прослужил на флоте двадцать два года и знал свое дело в совершенстве, за что снискал расположение командира и любовь старпома. Наиболее сложной, длительной и трудоемкой баковой операцией считалась уборка якорей при выходе корабля в море. Но под руководством Игната Лукича она протекала у нас в сжатые сроки и с минимальным числом занятых людей. Были у него для этой цели свои простые приспособления, усовершенствования и одному ему известные приемы работы. Воспитанный в царском флоте не без побоев, Кандалов сам до революции бивал матросов и слабости этой от нас не таил. У него имелась даже своя «философия» в защиту педагогичности мордобоя.

— Не выношу сачков! — кипятился он.— Люди в поте лица надрываются, а эти дармоеды по сеткам да под шлюпочными чехлами в холодке припухают. Хоронятся от работы, как кобели от мух. Да разве таких взысканием проймешь? «Нам,— сказывают,— в каземате отсидеть арест — удовольствие. Работы никакой, а харч тот же». Дали б мне на пять минут старого режима — я их враз отвадил бы сачковать. Вот комиссар требует: «Ты действуй, Лукич, на сознание, словом, наказание береги на крайний случай, человеческая речь,—говорит,— страшную силу имеет». Оно можно, конечно, и поговорить, если другого дела нет, но слова от этих тунеядцев отскакивают как от стенки горох, агитацию твою не всяк понимает. Да и времени уйдет на эту дипломатию пропасть. А как по рылу смажешь,— в момент просветление мозгов приходит. После можно, конечно, и пару слов добавить. Чтоб знал, сукин сын, за что бит был.

И чтобы доказать на наглядном примере, какие были в его время сильные люди, подошел как-то к поднятому талями из баркаса на сетку бочонку с краской, накатил его себе на холку и, кряхтя, отнес под полубак в шкиперскую. А в бочонок тот вмещалось десять пудов сухого свинцового сурика.

Кандалов признавал авторитет только двух человек на корабле — командира и старшего помощника. Шабельский звал его Лукичом и регулярно приглашал после каждого смотра советоваться, как лучше устранить те или иные недостатки на верхней палубе. Старпом здоровался с ним за руку, встречая в каюте, учтиво вставал, называл по имени и отчеству.

Старший помощник командира Илья Борисович Ковтунович отлично понимал молодость, неопытность и слабость своих старшин рот и потому собирал нас вместе с боцманами у себя в каюте каждый день, чтобы давать инструктаж. Нового корабельного устава тогда еще не было, и он учил по собственной памяти и вдохновению, с нашей помощью приспосабливая законы царского флота к жизни советского корабля. Небольшой старшинский коллектив представлял собой в некотором роде живой материал, на котором проверялось его свободное творчество. Мы выходили от старпома полные директив и начинали претворять их в дело. Накопив какой-то опыт, снова возвращались и докладывали, что у нас выходит, а что нет. Он внимательно выслушивал, отменял нежизненное и неприемлемое, утверждал и узаконивал то, что приживалось, открывал толстую, хорошо переплетенную книгу с разными расписаниями и вносил коррективы.

☆

После завершения ходовых испытаний на «Коминтерне» подняли вымпел, что означало вступление корабля в кампанию и зачисление в действующий состав флота. По традиции такое событие отмечалось торжественно: строилась по большому сбору команда, стояли парадно одетые командиры, матросам варили жирный, густой борщ с мясом, готовили макароны с топленым сливочным маслом, за обедом в кают-компании пили красное вино и произносили громкие тосты.

С наступлением хороших погод и полной видимости горизонта на крейсере стали готовиться к артиллерийским стрельбам и переходу на отдаленный рейд. Старший помощник взялся за тренировки личного состава по боевому расписанию. Тревоги играл по два раза в сутки — днем и ночью. Проверял сам все посты, говорил с каждым старшиной и рядовым. Подтянутый, неизменно опрятно одетый, он без устали обходил все орудия и казематы, забирался в башни, спускался в машинное отделение и кочегарки.

На подходах к Очакову неспокойное море за много веков намыло песчаную Тендровскую косу. За ее низкой, узенькой полосой образовался укрытый от

всех ветров обширный неглубокий рейд. Здесь черноморцы облюбовали себе стоянку на период проведения огневой подготовки. В числе других кораблей на три летних месяца сюда пришел и «Коминтерн».

Наступила артиллерийская страда. Старый, опытный специалист артиллерист Винкстерн с командирами плутонгов и башен, главный артстаршина Тетюха целыми днями не отходили от пушек. Вся жизнь корабля теперь подчинялась их требованиям. Комендоры сначала прикрепили к орудиям винтовки и долго хлопали из них по подвешенному к плоту, звенящему, как набат, металлическому цилиндру. Затем вставили в орудия 37-миллиметровые стволики и стреляли маленькими чугунными ядрами по комендорскому щиту — растянутой между стойками мешковине. И лишь после такой солидной подготовки наводчики приступили к стрельбам из главного, 130-миллиметрового калибра. Огонь вели учебным боезапасом и с якоря по невидимой морской цели, и по площади на берегу, и с выходом в море по большому корабельному щиту, который буксировал минный заградитель. В качестве экзамена на аттестат огневой зрелости стреляли боевыми фугасными снарядами с предельных дистанций по броненосцу «Чесма», который был давно притоплен на отмели и служил мишенью. Попадания отмечали по вспышкам черных шапок дыма, промахи — по высоким белым всплескам воды.

Но не только стрельбами мы занимались на Тендре. Здесь отрабатывалась вся сложная организация корабельной службы. Тревогами проверялись и совершенствовались расписания, выходами в море контролировалась слаженность боевых постов, учениями по связи оттачивалось управление кораблем в отдельном и совместном плавании. Шлюпочными упражнениями приобреталась морская сноровка и закалка.

В дни отдыха, после обеда, четвертую часть личного состава разрешалось уволить на берег. Но охотников бродить по горячему песку пустынной косы находилось мало. Обычно съезжали на Тендру энтузиасты кожаного мяча для своих бесконечных тренировок да гребцы, чтобы мыть песком шлюпки. Большинство же сидело на корабле, довольствуясь незатейливой самодеятельностью, стихийно возникавшими забавами и развлечениями. Видную роль в них играли четвероногие «актеры» — подаренный абхазскими шефами бурый медведь Шкентель и перебежавший к нам с водовозной баржи рыжий кобель, прозванный командой Кранцем за свою потрепанную, грязную наружность.

Неизменным успехом пользовались у личного состава потешные шлюпочные гонки. Брали обычно две шестерки, уносили из них весла, снимали рули, а гребцам и старшине вручали угольные лопаты. По команде с палубы — «На воду!» — начиналось движение вокруг корабля. Соревнующиеся пенили воду, поднимали брызги, но гребные суда вперед продвигались слабо. Кульминационным моментом гонок считались повороты у носа и кормы, где шлюпки обычно сталкивались. Они плохо слушались «руля» и часто вертелись на месте. Кормчие должны были обладать большим искусством, чтобы хорошо править лопатой, удерживаться на курсе, регулировать неровности усилий гребцов правого и левого бортов. Чаще других выигрывали кочегары. Видимо, сказывались профессиональные навыки владения орудиями труда. Все свободные от службы матросы высыпали наверх, делились на два лагеря болельщиков и выражали свои симпатии громкими, ободряющими криками.

На баке более степенный народ собирался вокруг глубокого корыта с водой, в котором плавала свечка. Ее требовалось выловить зубами. Но поскольку стеарин имеет почти нулевую плавучесть, то при малейшем прикосновении к свече она легко уходит на глубину. Охотник выиграть приз погружает голову по уши в воду, пускает пузыри, а победные лавры уходят от него все дальше и глубже.

...Хорошо было стоять на Тендровском рейде!

☆

...Так по воле партии советские люди восстанавливали корабли, возрождали новый, молодой флот, оттачивали грозное оружие, готовились к защите священных границ своей земли, к защите завоеваний Великого Октября.

Так в труде и учении из безусых комсомольцев росли и мужали высокие мастера военно-морского искусства, воспитывались стойкие, преданные Родине воины, способные офицеры и талантливые флотоводцы, настойчиво проникавшие в тайны боя и войны.

Так еще в годы мирного строительства закладывалась основа, готовились условия для победы в будущих сражениях над врагами единственного социалистического государства, одиноко, как маяк, стоявшего в капиталистическом окружении.

Игорь Акимов

ЛАТЫШСКАЯ МОЗАИКА

Фоторепортаж А. Паршина. Фото Илзе Капостыня Ал. Лесса.

Едва ли не ежедневно я слышу разговоры скептиков о том, будто «молодежь нынче пошла не та», будто «ни во что она не верит и ничего святого не имеет за душой».

Я знаю, что это не так. Я знаю о молодежи совсем другое. Но капля долбит камень; даже если ты и веруешь в иное, однажды в душу закрадывается сомнение. Начинаешь подозревать себя в духовной слепоте. Начинаешь думать, что перестал видеть вещи такими, какие они есть на самом деле. И тогда хочется встряхнуться, хочется поехать в совершенно новое для тебя место, увидеть новых людей, увидеть их как бы со стороны, а значит — объективно, непредвзято.

И я поехал. Я выбрал Латвию. По опыту я знал, что там такие же ребята, что и на Украине, что и в Грузии и в России. Но Латвия — очень молодая республика. Там еще свежа память о прошлом и, значит, психологические конфликты должны быть острей, чем, скажем, в Комсомольске-на-Амуре.

И вот днем возле университета, к вечеру возле заводских проходных ВЭФа и вагоностроительного поджидал я незнакомых рижан. Они были добры и щедро делились со мной своим временем. Они хотели мне помочь и пускали в самые заповедные тайники своей души.

Молва приписывает латышам три основных черты: замкнутость, добросовестность и врожденную культуру.

Замкнутость оказалась мнимой, добросовестность — поразительной. Культура?.. Какими словами описать высоту и мощь духа этого народа, который шесть веков ходил в ярме раба и у которого лишь сто лет назад зародилась своя интеллигенция?

Я выбрал ровесников Советской республики. Их возраст: 21—23—25—27 лет. Разрез поколения? Я не претендую на это. Просто четыре портрета, четыре зарисовки ребят самых разных и, надеюсь, в чем-то характерных для всех своих сверстников.

Андрис ПЕТЕРСОН

«С болью в сердце и тяжелым чувством привожу я своих читателей к тихим, обросшим мхом хижинам бедствия...»

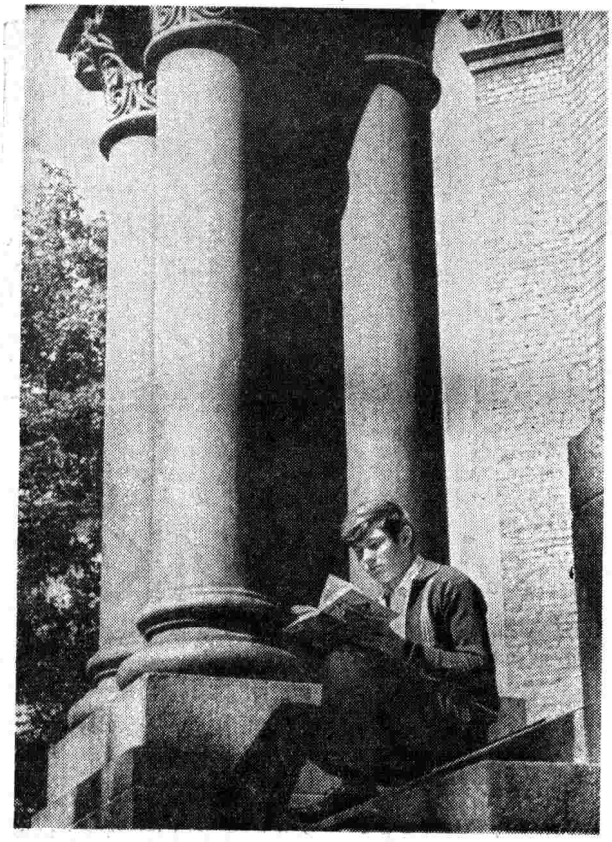
Так начинается книга Гарлиба Меркеля «Латыши, особливо в Ливонии, в исходе философского столетия» (1797 год). Это латышский вариант «Путешествия из Петербурга в Москву». Книга, написанная словно крик отчаяния. Книга о рабстве, об унижении и умирании народа. Книга, которая принесла Гарлибу Меркелю ненависть и презрение своего класса, но стала событием настолько значительным, что его не удалось замолчать и латыши намного раньше остальных народов царской России получили свободу.

— Мне двадцать один,—сказал Андрис,—но свое дело я знаю крепко. Другие парни, бывает, и в тридцать маются, не знают, к чему себя приткнуть, а мне повезло: я еще в четвертом классе учился, когда собрал свой первый детектор.

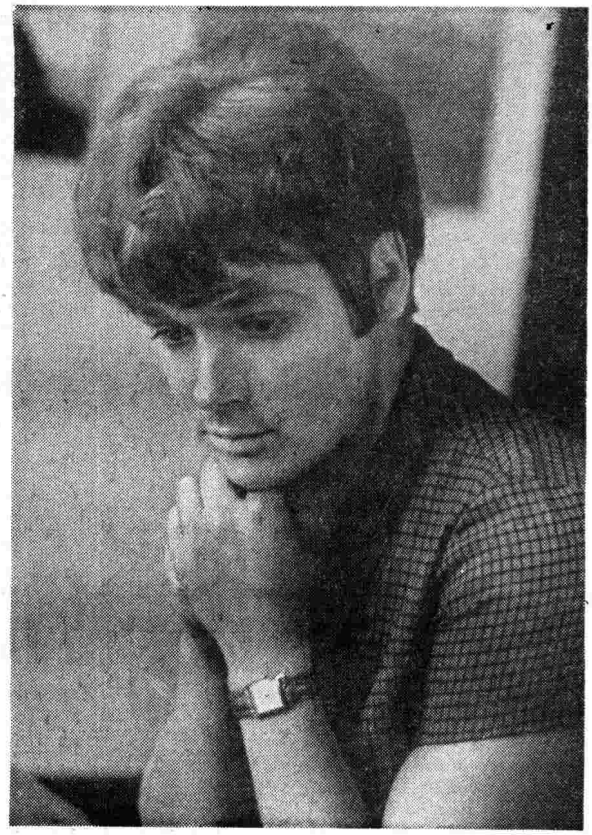
Правда, и у меня бывает: такая тоска вдруг навалится, что хоть волком вой, а отчего — непонятно. Все кажется бессмысленным, от всего тошнит. Но это не надолго — несколько часов. Я знаю это и держусь.

У меня нет девочки, и я этому, как ни странно, рад. Конечно, придет срок — не отвертишься. Но, на мой взгляд, пусть это случится попозже. Время на них, девчонок, переводить жалко. И мои товарищи так считают. Если выкроится свободный вечер, уж лучше мы музыку послушаем.

Чего мне всегда недоставало, так это времени. Я и в школе много работал, а теперь и подавно. Днем на заводе вкалываешь (регулирую радиоприемники на ВЭФе), вечером лекции в политехническом. Третий курс, специальные предметы пошли. Правда,



Андрис Петерсон.



Илзе Капостыня.

иногда приходится слышать, что в жизни, кроме работы и занятий, существует еще кое-что, что надо жить полнее. Но ведь если стакан наполнен, в него уже ничего не дольешь, не так ли?

Если б у меня появилась возможность год ничего не делать, я бы отказался. Месяц — это еще куда ни шло. А больше и даром не хочу. Другое дело, если б этот год поучиться на дневном отделении. По вечерам занимался бы конструированием.

Работа у меня приятная, но все-таки приедается. Изо дня в день одно и то же. Каждую новую модель ждем, как праздника. Менять бы их почаще, да ведь это не от нас зависит. Только вот обидно работать с моделями, которые морально устарели.

По натуре я не очень-то общителен, с людьми сближаюсь трудно. И многого в них не могу понять. Например, когда они лгут. Не так давно у нас на заводе случилась неприятная история. Всех задела за душу, все тяжело ее переживали. И вдруг один выступил с таким комментарием, что мы только ахнули. Зачем лгать? Ведь после этого даже очевидное начинаешь брать под сомнение.

А еще я не терплю, когда человек всю жизнь ищет, где полегче. Одно время среди этих «искателей счастья» Рига считалась землей обетованной. Шли лавиной, как на приступ. А у нас ведь так: занимаешь место — покажи работу. Схлынули.

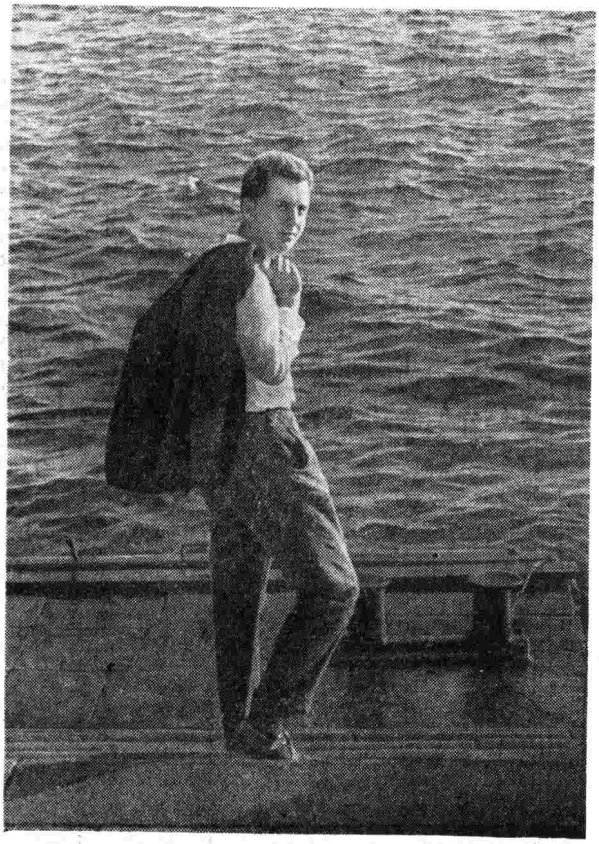
Не знаю, что стану делать, когда получу диплом. Некоторые наши выпускники едут в Россию, в новые научные центры. Там лучше перспектива. Если и меня пошлют — что ж... Но я хочу остаться здесь. Это мой дом, моя земля. Возможно, это во мне говорят мои крестьянские предки, но я знаю, что лучше мне не будет нигде.

Илзе КАПОСТЫНЯ

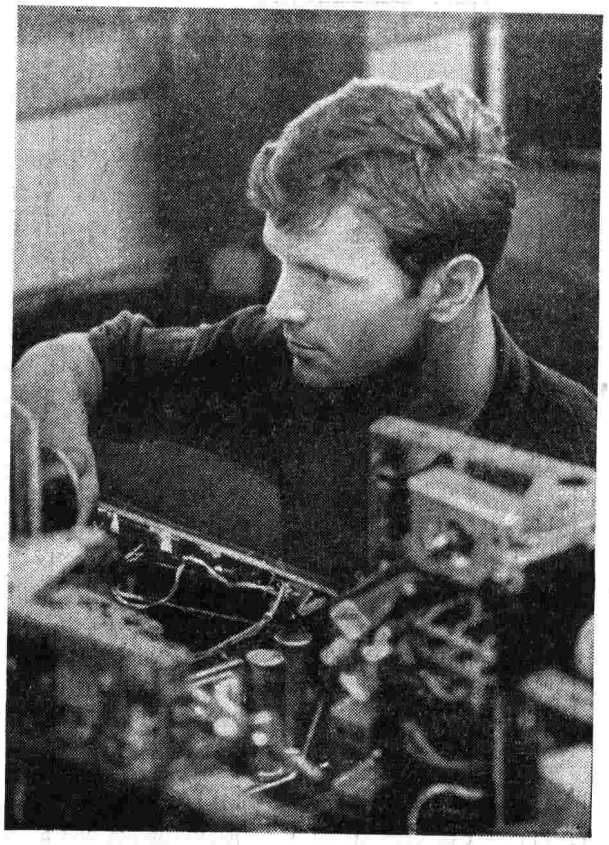
«Женщины Латышскія обладаютъ здоровымъ сложенiемъ и довольно стройны. Лицо у Латышскихъ женщинъ продолговатое, черты лица довольно крупныя, глаза открытые, носъ прямой, зубы нѣсколько выдающiеся, подбородокъ широкiй, шея длинная, голова нѣсколько сжатая, грудь не высокая».

«Народы Россiи»
Изданiе «Досугъ и дѣло», Санкт-петербургъ, 1879

Если когда-нибудь я буду писать рассказ о девушке и друзья, прочитав его, скажут мне с участием: «Старик, все прекрасно, только почему она у тебя неженственная?» — я пойму, что стал забывать тебя, Илзе. Твою легкую походку, и поворот головы, от которого у незнакомых парней стискивает сердце, и тень от ресниц, и взгляд, и певучий голос, так мило растягивающий гласные. И то ощущение мягкой, успокаивающей силы, которое рождала твоя слабость.



Арнис Микелсон.



Гунар Степиньш.

Если когда-нибудь мне вдруг покажется, что жизнь проходит, как вода между пальцев, и ничего не остается, кроме разочарований; если я испугаюсь и начну лихорадочно хватать все вокруг, ни с кем не считаясь, потому что живем только раз и надо успеть урвать свою толику,— я пойму, что стал забывать тебя, Илзе.

Если когда-нибудь я столкнусь с несправедливостью — и отойду в сторону, рассудив по-философски, что так уж устроен мир, что волки издавна грызли овец, а плетью обуха не перешибешь,— я пойму, что стал забывать тебя, Илзе.

Если меня когда-нибудь предаст друг и в минуту малодушия я решу, что мир прогнил, что верить никому нельзя и ни на кого нельзя полагаться,— я пойму, что стал забывать тебя, Илзе.

Если когда-нибудь мне будет трудно, так трудно, что просто невмоготу, и покажется, будто весь мир против меня, все обстоятельства против; если они обступят меня со всех сторон, как высоченные стены, и все будет говорить за то, что бороться бессмысленно, неразумно, и слабость проникнет в мою душу,— тогда я вспомню тебя, Илзе.

...Она стажировалась в Госплане как географ-экономист, всегда тянулась к научной работе и могла остаться на ней. Но после защиты диплома в Латвийском университете, отпраздновав 23-летие в кругу друзей, уехала по распределению учительствовать в жуткую глухомань. Чувство долга перед обществом, ощущение причастности ко всему, что делается в этом мире, преобладали у нее над всем остальным. Самое прекрасное, что чувство это для нее совершенно естественно.

У нее есть жених. Его зовут Ян. Нужно ли говорить, как я ему завидую?..

Арнис МИКЕЛСОН

Калнциемс, маленький город на берегу красавицы Лиелупе, точка на карте с названием из девяти букв. Какими словами воспеть мне тебя, город?

Может быть, первым вспомнить слово «свобода»? Но выйдет слишком печально. За это слово здесь избивали до смерти, за него здесь гноили заживо.

Вот если б я был Отцом Отечества Карлом Ульманисом, я бы нашел слова. Карлом Ульманисом, при котором в свободной Латвии, говорят, масло стоило — тьфу! — дороже плюнуть. При котором, если хотели свести счеты с ближним, говорили на него: коммунист.

Как он любил «Свободу Родины», этот Ульманис! Ради нее в восемнадцатом году половину Латвии он залил кровью. Ради нее валмиерским комсомолкам прикладами и каблуками мозжили пальцы, а потом их насиловали, и пороли до костей электрическими шнурами, и расстреливали в упор — прямо в лицо...

Но Карл Ульманис умел не только любить, но и ненавидеть. Ах, как он ненавидел МОПР! Четыре литеры — пустяк! — но они означали Международную организацию помощи борцам революции. В Латвии ее называли Красная Помощь.

Красная Помощь. Красная Помощь! На твоих костях черным цветом расцвел Калниемс. Красная Помощь — ценой свободы. Красная Помощь — ценой собственной жизни. Ценой закатов на Гауе, ценой родных детей, которые останутся сиротами, ценой затоптанной сапогами рукописи, и любви, и одиночества...

Арнису кажется, что все в порядке, все идет нормально, как всегда. Он сам себя в этом убеждает, точнее — хочет убедить.

Короче говоря, он доволен. А со стороны посмотришь, и создается впечатление, словно огромная машина на полном газу с ревом и громом взлетела на гору и теперь катит по инерции с выключенным двигателем.

Что это — передышка? Необходимый интервал перед новым взрывным стартом? Скорее всего именно так. Сила и сейчас уже не дает ему покоя, требует выхода, и он мается, жалуется, что работа перестала приносить удовлетворение: мало в ней места творчеству. Он чувствует, что остепенился прежде времени, что уже в его жизни сложилось устойчивое однообразие; что жизнь под видом приятных подарков — дом, семья, высокооплачиваемая (хоть и не по своему чистому профилю) служба — накладывает все новые путы. Взамен же берет такую малость: свободу выбора. Но так ли безобидна сделка?

День гипнотизирует: все в порядке, все как надо. Лишь только он войдет в свое КБ, лишь только в руки попадет логарифмическая линейка и прямой угол, неутомимо выдерживаемый кульманом, отправляется в плавание по девственным просторам ватмана; лишь только хищно прицелится любовно отточенный карандаш, он чувствует: все в порядке.

Еще минута — и завертится колесо дня. Он будет искать и создавать новое, чего до него еще не было. Обедать на ходу, потому что в перерыве надо успеть в комитет, раз уж так получилось, что избрали секретарем комсомольского бюро. А потом крупный разговор с шефом, и поездка на завод, и где-то еще надо доставать автобусы, чтобы не сорвалась намеченная на конец недели двухдневная вылазка за город, а потом спешить в клуб атлетической гимнастики...

Колесо!.. Но приходит ночь — и разоблачает самообман. И ни усталость, ни дела, которые он успел совершить, не помогут ему оправдаться перед собой, если он в этот день не положил хоть одного кирпича в стену башни, которая знаменует для него главное дело жизни. А ну, когда ты положил свой последний кирпич? Или, может быть, ты раздумал достраивать? Первый этаж готов, он комфортабелен и надежен. Ты прав: в нем можно прожить безбедно хоть сто лет. Ты прав и в другом — эту башню сколько ни строй — все будет мало; а мудрость учит, что во всем нужно знать меру. Но думал ли ты о том, что эти недостроенные стены всегда будут для тебя упреком?

Отца он тоже чаще всего вспоминает ночью. Вот с кем бы посоветоваться!.. Но не довелось. Им — отцу и сыну — не суждено было поговорить ни разу, хотя отец жил в этом же доме, в этой же комнате. Однажды ночью за отцом пришли — традиционная ночь, традиционный слепящий свет фонариков, и, конечно же, один из полицейских сорвался на крутой узкой лестнице — разбудили весь дом.

Шел только 1930 год, и до захвата власти фашистами в Германии оставалось еще три года. Но события опережали время. «Вы секретарь ячейки Красной Помощи?» «Да». «Так лучше бы вам совершить уголовное преступление, это карается мягче».

Отца шесть лет гноили в бараках и каменоломнях Калниемса. Потом его выпустили, но здоровья надолго не хватило: он умер в 1941-м, когда тебе, Арнис, еще не было и года. Но мать, хоть и смутно, ты все-таки помнишь, ведь так?.. Она проснулась сама — еще до того, как гестаповцы забарабанили в дверь сапогами. Ее разбудили мотоциклетные моторы. Когда мать распахнула окно, во дворе, слепя фарами, уже разворачивались две машины... Мать была связной в рижском подполье. Три года ей везло, а потом... Из гестапо она не вернулась. А теперь в этот дом приходят экскурсии пионеров...

Так как же тебе, Арнис, жить дальше?

Проще всего — оставить все как есть. Мудрость правила «от добра добра не ищут» подсказывает простое и естественное решение: выплыл на стремнину — плыви по течению.

Он уговаривает себя: все идет правильно, все идет как надо,— но сила томит его, ей тесно. Он мечется: хватается за общественную работу, за любые дела, собирает книги о подпольщиках и фантастику, увлекается аквалангом и атлетической гимнастикой... Скучает. Он любит свою технологию машиностроения, руки чешутся заниматься ею, но нет возможности — не тот профиль... Обидно: когда учился — готовился к творческой работе, читал уйму журналов по специальности, а теперь если и удается все это применять, то лишь в мизерных дозах...

Обеспеченная и спокойная жизнь. А ему ведь только 27 лет. И сила томит его, та сила, которая еще совсем недавно заставляла его жить иначе: не жалея ни о чем, успевая и работать и учиться, да в таком темпе, что не стал тянуть волынку по программе и прошел институтские четыре курса за три года...

В нем есть эта черта: упрямо идти к цели. Вопреки всему. Сейчас он еще катит по инерции, но сила уже томит его, и он жалуется на однообразие, мечтает об аспирантуре, о творческой работе...

Мечтай, Арнис, мечтай! Мечтай, тогда и кончится твоя тихая жизнь, парень!

Гунар СТЕПИНЬШ

«Человек XX века — существо, которому трудно позавидовать. Раньше он считал себя проявлением божественного духа. Лишенный теперь этой гордой уверенности, охваченный сомнениями в божественном и человеческом предназначении, он сомневается в своей способности творить добро да и просто выжить. Он потерял уверенность, в том числе моральную и этическую, на смену ей пришло чувство пустоты и бесцельности, самоотвращение...»

(Барбара Тачмен, «Сатердей ревью», Нью-Йорк).

Это было давно. Был май — зеленый, с внезапными короткими дождями, с тугими радугами из-под деревьев, он шумно катился в июньский зной. В сумерках над улицами веял сухой жар: стены домов, нагретые за день солнцем, дышали теплом. И далеко на востоке отливали изумрудной переливчатой зеленью шпили Новой Гертруды.

Я ходил по улицам Риги со счастливым человеком, который тем не менее считал себя несчастнейшим из людей: накануне он признался в любви девчонке по имени Кристин и получил отказ. Банальная, в общем, история...

— Послушай, Гунар,— говорил я.— Не изводи себя, все будет хорошо.

— Ты так считаешь?

— Конечно. Если она тебя не полюбит, оно, быть может, и к лучшему. Поражение — неплохая профилактика. Бальзам для души.

Я обстоятельно разбираю, как поражения служат нравственному совершенствованию человека, делают нас мужественными и терпимыми, учат доброте. Затем обращаю его внимание на немаловажный факт: он снимает угол у чужих людей, она — тоже; пока что их это устраивает, но если они женятся...

Гунар относится к категории тех счастливцев, которые завоевывают мир. Для одного этот мир ограничен размерами родного села, для другого — стенами цеха или завода, для третьего — собственной душой. Они приходят побеждать. Чаще всего, не отдавая себе в том отчета, они всю жизнь преодолевают — себя, других, обстоятельства — и в процессе этого преобразуют мир. Они не могут иначе. Они выражают и утверждают себя в этом процессе.

Вот Гунар. Он поздно открыл себя. Ему 25 лет, а он учится в девятом классе и работает на ВЭФе радиорегулировщиком. Послушайте, что он мне говорит:

— Ничего ты не понимаешь! Что с того, что вчера она сказала «нет»? Завтра скажет «да». Как говорят англичане, вовсе не обязательно выигрывать все битвы. Главное — выиграть последнюю, решающую... К слову, запомни: я ни разу не был в нокауте.

— Гунар, а что, если ты заблуждаешься? Посуди сам: тебе двадцать пять, а сделано...

— Мало,— соглашается он.— Так сложилось. Ведь только недавно думать научился. А прежде рос, как трава. Восьмилетку едва осилил... Но теперь пришло мое время!

История, обычная для парня из рабочего поселка. Надоело учиться — бросил школу, пошел работать. Поначалу даже не в тягость, вроде забавы. Год болтался без дела. Два следующие вкалывал на строительстве дороги и гонял грузовики на каменоломни. День отбыл, а вечером—«наши маленькие радости»: черный костюм и мокасины, чтоб не хуже, чем у других, пара кружек пива с приятелями — и айда к девчатам на танцы, если в домино надоело стучать...

— Те самые каменоломни, где была каторга?

— Так то при отце там была каторга. А теперь обычные карьеры. Техники навезли столько, что уже и не заработаешь по-человечески.

— Отец сидел?

— Вольнонаемным был. Не от сладкой жизни батрачил. Рядом с политическими, но там, где посуше, конечно. И кормился дома. Так что я даже с его слов представить себе не могу, какой дрянью была та каторжная баланда...

А вообще-то мне по тем временам никаких шансов не оставалось,— продолжал Гунар.— Тоже гнил бы в калнциемском болоте, как отец. Слыхал, небось, лозунг «серых баронов»: каждому — свое...

— А сейчас? — спросил я.— Регулирование приемников — работа, конечно; почище, но...

— Ерунда! Дело не в том, чем я сейчас занимаюсь. Главное, я нашел себя. Знаю цель. И у меня есть перспектива...— Он переводит дыхание.— Когда еще стоял на распутье, я часто задумывался, что такое жизнь каждого из нас? И понял: это уравнение с одним неизвестным, где неизвестное — ты сам. Все остальные условия способствуют решению задачи.

— Но ты не ответил на мой вопрос, Гунар. Где критерий, чтобы решить, прав ты или обманываешься?

Он задумывается, но отвечает уверенно:

— Я научился ценить время. Каждую минуту. Если бы было возможно, я перестал бы спать...

Он «прозрел» в армии. Там вступил в комсомол. Выучился на радиомеханика. Дежурства, так нескончаемо долгие вначале, стали желанными. Рубка словно расступалась в стороны, индикаторы расплывались неясными пятнами, а он под писк морзянки зубрил по самоучителю английский язык; а когда уставал, брался за Бальзака: французскую литературу штудировал по огромному списку. Одолев, взялся за немецкую. В ход шли учебники и журналы по радиотехнике, сборники стихов и задач по математике...

Он заболел книгами, хватал все подряд, пока однажды ему в руки не попала монография по психологии. Для него она стала первым ключом к чужим душам. А через них — к собственной душе. Он учился наблюдать, и анализировать, и понимать, почему люди поступают так, а не иначе, почему вдруг взрываются или впадают в транс, почему перестают быть самими собой, становятся такими, какими быть удобно, какими хотят их видеть другие...

Он понял, с кем они, против кого, за что он и против чего. И вступил в партию.

Когда я думаю о Гунаре, мне представляется мощный гусеничный вездеход, который все набирает и набирает скорость и прет через жизнь, с хрустом подминая под себя преграды. Не сомневаюсь, что он легко одолеет и школу и университет и дальше найдет дорогу, завоевывая все новые пространства, чтобы выразить себя.

Мы ходим по ночным рижским улицам, говорим о жизни, спорим о критериях добра и зла.

Это очень приятно — слушать умные вещи. Еще приятней — говорить их. Некоторые счастливцы занимаются этим всю жизнь! Упоенный вдохновением, я произношу свою лучшую речь в жизни. Когда я кончаю, Гунар снисходительно улыбается.

— Что тебя развеселило? — настораживаюсь я.

— Старик, ты прав,— отвечает он,— и то, что ты говорил,—это очень интересно. Но обрати внимание, что мы проболтали всю ночь и уже светает. Не кажется ли тебе, что будет больше толку, если мы отложим разговор и станем делать дело?

Андрис, Илзе, Арнис, Гунар. Студент, учительница, конструктор, рабочий. Четверо из сорока молодых людей, с которыми я познакомился в Латвии. Четверо из четырехсот тысяч молодых людей, которым принадлежит будущее этой небольшой и гордой духом республики. Четверо из сорокамиллионного отряда советской молодежи, входящей в пятидесятилетие Октября как прямые наследники и носители его идей.

Повторяю, я не стремился дать анализ поколения. Это беглые зарисовки людей, которые произвели на меня впечатление своим духовным здоровьем, энергией и оптимизмом. Если мне удалось передать это,— значит, я добился того, чего хотел.

СРЕДИ КНИГ

«Дьяков наклонился близко, спросил тихо и горячо: «Это правда, что молодые будут помнить о нас, комсомольцах тридцатых годов?»

Пожалуй, не было тогда человека, который не знал бы о жизни и подвиге тракториста Петра Дьякова. Песня о нем — одна из популярных песен наших отцов. Петр Дьяков, Паша Ангелина, Алексей Стаханов... Люди, которые своими руками вписывали в историю новые, яркие страницы.

Это книга о них и еще о тысячах комсомольцев, это «Книга о делах комсомольских» (изд-во «Детская литература»). Она адресована ребятам среднего и старшего возраста, но ее с интересом прочтут и взрослые. Составители сборника Е. Суворина и Л. Петропавловская (под общей редакцией А. Мильчакова) проделали большую и нужную работу. В книге воссозданы двадцать лет комсомольской истории, и рассказывают о ней только очевидцы. Документы читаются как увлекательные рассказы.

«Туземцы Сибирской тундры впервые в этом году направляются в вузы. На Ленинградский рабфак направляются из Енисейской тундры тунгусы и остяки»,— писала «Комсомольская правда» в 1925 году. И понятна гордость, с которой больше сорока лет назад сообщала газета о первых успехах. Потому что традиции комсомольцев двадцатых и тридцатых годов близки и сегодняшнему поколению молодых, как близки их песни, их судьбы...

Эти судьбы не всегда были простыми, потому что не простое было время. Но они всегда были волнующими и необычными. Помните, у Иосифа Уткина:

Мальчишку шлепнули
в Иркутске,
Ему семнадцать лет
всего.

В этой книге кое-кто из мальчишек, чей образ взволновал поэта, назван по именам: Федор Жиляев, Дмитрий Бабушкин, Михаил Таготшин...

«Михаил Таготшин, молодой активист, в канун кулацкого восстания был на волостном партийном собрании и вместе с коммунистами ушел воевать против восставшего кулачья. Он работал учителем в соседнем селе, и ему поручили организовать Союз молодежи. Было Михаилу тогда восемнадцать лет».

На вопрос Дьякова наше поколение может ответить утвердительно. И своими делами, и своими песнями, и этой книгой, которая продолжила документально - художественный обзор жизни нескольких поколений комсомольцев.

Л. ТОМИНА

В распоряжении литературоведа и журналиста Юрия Оклянского оказался приобретенный Куйбышевским музеем А. М. Горького новый архив Алексея Николаевича Толстого. Большинство документов — письма, дневники и пр. — относится к годам детства, и юности писателя, проведенным в старой Самаре. Изучив материалы музея, Ю. Оклянский пошел по следам интересных людей, хранящих редкостные документы эпохи.

Автор «Шумного захолустья» переносит нас в Самару 80-х годов прошлого века, всполошенную громким, скандальным процессом графа Толстого, отца писателя. Мы узнаем о детстве писателя, проведенном на хуторе отчима — в Сосновке, о том, как зарождалось в подростке творческое призвание.

Но эта книга не только о будущем известном писателе и не столько о нем, сколько о его матери. Она настоящая героиня книги. Автор описывает ее трудную судьбу, неутомимую деятельность. Именно мать — писательница А. Л. Бостром — оказала наибольшее влияние на формирование таланта А. Толстого.

Главное достоинство книги — ощущение среды, воздуха, времени. Изображая житейское окружение А. Бостром и ее сына, автор вводит нас в дом «веселого праведника» Я. Тейтеля, своеобразный клуб прогрессивной интеллигенции Самары, где бывали Н. Гарин-Михайловский, С. Скиталец, М. Горький,— в дом, где бывал и В. И. Ленин, работавший в Самаре помощником присяжного поверенного. Со страниц книги встают живые, верно оцененные характеры примечательных людей Самары конца прошлого века с их спорами, с их страстями. Поэтому и названа книга «Шумное захолустье» (Куйбышевское книжное издательство).

Г. ГУНН

Сборник «Юрий Тынянов. Писатель и ученый. Воспоминания, размышления, встречи», вышедший в серии «Жизнь замечательных людей» (изд-во «Молодая гвардия»),— хороший подарок для всех, кто любит этого писателя, для всех, кому его острая мудрость историка и теоретика литературы помогла сформировать взгляды на искусство слова. Этот сборник будет интересен и для тех, кто, не вдумываясь или понаслышке, до сих пор считает Тынянова просто одним из армии сочинителей исторических романов.

Вообще имя Тынянова с давних пор окружено некоторыми ложными концепциями, которые с успехом опровергаются в этой книге. Особенно значительна в этом отношении статья ученицы Юрия Николаевича. Л. Гинзбург, направленная против распространенных «попыток расчленить Тынянова на положительного романиста и отрицательного литературоведа». Не менее убедительно В. А. Каверин и — особенно глубоко, хотя и без специально полемического замысла,— ны-

не покойный Б. М. Эйхенбаум развенчивают ходячее расчленение Тынянова на «положительного» автора «Кюхли» и «Пушкина» и «отрицательного» — «Смерти Вазир-Мухтара» и «Восковой персоны» (схема столь устойчивая, что даже талантливый и наблюдательный А. Белинков, автор весьма популярной книги о Тынянове, не избавился до конца от нее). Сборник, вышедший в серии «ЖЗЛ», тем-то особенно хорош, что, представляя Ю. Н. Тынянова в воспоминаниях и размышлениях самых разных людей, позволяет увидеть его реальный облик, не искаженный враждой литературных и научных противников и скованностью несмелых почитателей. А кроме этого — то необыкновенное, что мы только в мемуарах и можем найти,— неповторимую личность, яркую, многогранную (не только писатель и ученый, но и сценарист, переводчик, рассказчик, имитатор) и в то же время на редкость цельную, по-пушкински ясную. Тынянов многого не успел сказать, однако то, что он сделал, все более и более обретает свой истинный вес не только для его друзей и ровесников, но и для нас, младших, становится той историей, которая живет среди нас, а не пылится на книжной полке.

Н. ГОРБАНЕВСКАЯ

В ковыли и кудрявые мхи
Мои тихие песни
запрятаны.
Парни любят мои стихи,
Хоть нигде они
не напечатаны,—

писал в 1927 году Л. Равич. И это было правдой. Ему даже в одной редакции сказали: «Талантливо, но не пойдет...» Почти без надежды на успех посылает он стихотворение «Безработный» Маяковскому: «Посылаю вам потому, что свой первый стих написал, прочитавши ваши книги... Прошу вас мне лично написать письмо об ошибках...»

Маяковский ответил Равичу на страницах «Нового Лефа» подробным анализом его стихотворения. В этом ответе были и такие слова: «Вы очень способны к деланию стихов...»

Потом Равич несколько раз встречался с Маяковским, читал ему стихи, внимательно прислушивался к каждому критическому замечанию. И вся его жизнь прошла под впечатлением этого дружеского участия великого поэта в его творческой судьбе.

С тех памятных дней и до конца своей жизни Л. Равич (он умер в 1957 году) ни на минуту не расставался с пером, «жил и дышал стихами». Был преподавателем и редактором на радио, бойцом ленинградского ополчения и военкором, литконсультантом и журналистом, выполняя наказ Маяковского: «Врабатывайтесь в газету».

Книга «Возвращение весны» (Лениздат) вобрала в себя все лучшее, что было создано Л. Равичем: студенческие стихи и стихотворения военных лет, цикл «На сибирской стройке» и воспоминания о Маяковском, поэму «Чудесная эпоха» о юности 20-х годов, повесть «Пленира» — о любви, поэте и поэзии, которая переносит нас в послевоенные и 50-е годы...

«Мне так хотелось стать летящим...» — мечтал Л. Равич. Его мечта сбылась. «Возвращение весны» — это книга полета поэта, полета его комсомольской юности из «чудесной эпохи» в наш сегодняшний день.

А. КУРИЛОВ

Ровесники ростовской поэтессы Елены Ширман с чувством радостного узнавания найдут в истории ее короткой жизни неповторимые приметы своего поколения (Татьяна Комарова. «История одной жизни». Ростовское книжное изд-во).

Но и сегодняшние молодые, те, для которых тридцатые, да и начало сороковых годов, когда оборвался путь Елены,— это «за далью — даль»,— не смогут остаться равнодушными к высокому строю ее души, к тому бурлению чувств, мыслей, поступков, какими полнились дни этой, казалось бы, самой обычной жизни.

Удача автора повести, пронизанной любовью к жизни, прежде всего в том, что образ Елены воссоздан не только в конкретности тревог, рожденных эпохой, но и в философском аспекте извечных проблем молодости: отношение к миру, к людям, к собственной совести.

Бережно перелистывает биограф Елены уцелевшие страницы ее дневников, ее писем к «литературным сыновьям» — ребятам из молодежных творческих объединений. Пристально всматривается в редактированные Еленой «боевые листки» «Прямой наводкой», в которых кудрявая молодая женщина с мечтательным взглядом разит гневной сатирой гитлеровских бандитов, стягивающих погибельное кольцо вокруг ее родного города, вступает в единоборство с ними. Недаром в одном из предсмертных стихов Елена формулирует свое жизненное кредо словами: «...Как в волну... Наперерез!» Наперерез силам зла, преодолевая минутную слабость, нагружая себя чувством личной ответственности за все, что происходит в мире.

Через всю повесть о Елене проходит трогательная история ее отношений с «литературными сыновьями». Эта скромная молодая женщина владела особым даром активной доброты, умением пропускать через свое сердце чужие судьбы, чужие таланты. В предчувствии близкой гибели самая неуемная ее боль о тех, кого она выращивала, пестовала для счастья, для искусства.

Не только отбор материала и расстановка акцентов повествования, но и сама авторская интонация — свободная, раздумчивая, доверительная — ведет читателя к выводу о неповторимости человеческой личности. С каждой страницей все яснее проступает идея незаменимости каждого в жизни всех. Вокруг нас сотни новых, талантливых, добрых, мужественных людей, но ни один из них не воссоздает индивидуального мира любого из потерянных нами. В том числе неповторима и скромная ростовская девушка, что писала стихи о жизни, называя ее «клубком из боли и блаженства», что безоглядно отдавала людям свою любовь и заботу, что бесстрашно замахивалась своими слабыми руками на фашистского дракона.

Вместе с автором читатель обнажает голову перед безвестной могилой, перед тем клочком растрескавшейся от зноя степной земли, в которую легла солнечным августом сорок второго года сраженная пулей гитлеровских разбойников Елена.

Взволнованная и волнующая книжка Татьяны Комаровой на небольшом материале ведет к размышлениям о больших человеческих ценностях.

Е. ГИНЗБУРГ

Борис Куликов

КУЛЬЧИЦКИЙ НАЧИНАЛСЯ ТАК...

Комментарии к одному школьному дневнику

Уезжая 26 декабря 1942 года на фронт после окончания военного училища, поэт Михаил Кульчицкий подарил Лиле Юрьевне Брик свое стихотворение, написанное утром.

...На бойцах и пуговицы вроде
чешуи тяжелых орденов.
Не до ордена.
Была бы Родина
с ежедневными Бородино.

Эти стихи и сейчас лежат рядом со строчками, написанными рукой Маяковского. Это были последние слова Кульчицкого, дошедшие до нас.

Через три недели, 19 января 1943 года, командир минометного взвода младший лейтенант Михаил Кульчицкий был убит под Сталинградом...

Он родился в «незабываемом 1919-м», а в 1936 году учился в 9-м классе «Б» 30-й харьковской школы, читал свои стихи в литкружке Дворца пионеров, писал дневник.

Я перелистываю страницы, написанные тридцать лет назад. И перед глазами встает то обыкновенный, озорной школьник, то жаждущий сражаться за «мировую революцию» солдат, то ищущий свой голос поэт.

Серьезное перемешано со смешным, героическое — с будничным.

«Дома неприятности. Мать была в школе, а я два дня писал стихи в Профсоюзном саду, пережидал немецкую диктовку и химию».

Кульчицкий сочинял, а рядом верный оруженосец Володя Вознесенский на портативной пишущей машинке печатал стихи своего «гениального друга» и тайком от него оставлял листки со стихами на скамейках парков и на столах редакций — создавал популярность.

Во время выпускных экзаменов Кульчицкий записывает:

«Я боюсь физику: сколько материала! Несколько повеселел, когда узнал, что надо сдавать за 8—9—10 классы! Ну, из такого обилия я хоть что-нибудь да знаю».

Это — мальчишество десятиклассника, но рядом — раздумья о тех испытаниях, о том главном, что будет в его жизни.

«Во время радости, во время буйства возвышения каждый пошел бы на смерть. Вообще человек умирает от порчи своих составных частей. Я им верю и ничего не боюсь. А самое страшное — это боль. Это все я, наверное, к тому, что есть вещи пострашнее экзаменов...»

На каждой странице дневника мальчишка думает, спорит сам с собою, отрицает и утверждает — растет. С юношеским неприятием смерти он выкрикивает: «Я люблю Чехова и Есенина и не хочу умирать!»

Мысль о смерти дика и неприемлема. Ведь еще не написаны стихи, которые ты должен написать, ведь еще не сделаны задуманные дела, и кажется, что вся твоя настоящая жизнь еще впереди...

Школьные поэты были едки и остро чувствовали время.

Они несли в себе фрондерство молодости, задиристость мушкетеров. Их еще одинаково увлекали и дела и слова. В едких бескомпромиссных спорах ломались копья мнений, скрещивались взгляды. Сбросить кого-нибудь с «корабля современности» было легче, чем признаться в традиционной любви к классикам. Только в дневнике можно записать: «Напошлил я в контрольной по русской литературе — ругал, ругал Серафимовича». В разговорах с товарищами, в спорах с преподавателями хотелось подчеркнуть независимость своих суждений и оригинальность взглядов.

Понравилось такое звонкое и зовущее слово — «футуризм». «Сфутурнем?!» — кричал на перемене Борис Фрейдин. Кульчицкий писал в сочинении по литературе: «Чтобы стать сознательным большевиком, Маяковский спал на полене и футурил». В школьной стенгазете появляется объявление: «Начинается зимний набор футуристов. Члены должны принести по две фотокарточки вверх ногами и стихи без знаков препинания и без всякого смысла. Запись у Кульчицкого, Гугеля и Бердичевского».

Но это были только слова. В душе же жила воспитанная с детства, впитанная с молоком матери любовь к чистоте слова, к ясности и глубине мысли. «Когда я написал первые непечатанные стихи — «Карелию» (стихи были напечатаны в 1935 году в журнале «Пионер».— Б. К.), я понял, что таких стихов я могу писать целые тетради, пока хватит бумаги. И я себе затруднял это. Я искал новые размеры, новые рифмы, составные рифмы, подбирал звуки, додумался до стихов, где рифмуются все слоги. Всех слов. Но теперь я понял, что самое главное — это мысль. Главной мысли подчиняется размер стихов, в обоих смыслах, подчиняются все слова. И поэтому не пестрая россыпь образов, которые у меня толпятся, убивая один другой, а все образы подчеркивают основную мысль».

Этому Кульчицкий учился у классиков. И первым среди них был Пушкин. Как для Цветаевой с детства памятник Пушкину был живым, к которому ходили в гости, с которым разговаривали, с которого начиналась поэзия, так и для Кульчицкого Пушкин был родным, близким.

«Когда мама читала статьи о смерти Пушкина в номере «Юный пролетарий», она плакала».

«Сегодня проснулся против обыкновения в 5 часов, потому что заснились («Мне стихи снятся» — частая запись в дневнике.— **Б.К.**) стихи о Пушкине. Я во сне их запоминал, перебирая четверостишия. Потом писал в кровати. О Пушкине я пишу уже второй год, то есть хочу написать. Отбивают желание замечательные стихи Маяковского. Было и у меня выспренное, где «рифмуются все слова»:

В снегах России умер Пушкин и т. д.

И много разных стихов. Но я когда-нибудь, наверное, сделаю хорошие стихи о нем». (Хорошие стихи о Пушкине Кульчицкий написал, но они не сохранились.)

Он не любил украинского языка, считал его испорченным русским. «Была украинская контрольная работа. Портил русские слова до правдоподобности». Но когда встал вопрос о непереводе в следующий класс, за месяц так овладел языком, что стал писать рассказы на украинском (один из них — «Боягуз» («Трус») — был даже напечатан в харьковской газете). А поняв душу языка, залюбовался нежными, мягкими, теплыми словами Украины. И через три года в поэме «Самое такое» будет мечтать о том времени, когда

на язык людей
попадает
мое,
русское до костей,
мое,
советское до корней,
мое украинское тихое слово.
И пусть войдут
и в семью и в плакат
слова,
как зшиток
(коль сшита кипа),
как травень в травах,
як липень
в липах
тай ще як блакитные облака!

Кульчицкий переводит на русский стихи Сосюры, Тычины, Рыльского, Шевченко. Некоторые из них публикуются в республиканских газетах.

Одна из тетрадей 1937 года полностью заполнена переводами с немецкого и английского.

Некоторое время Кульчицкий занимался с «немкой Гильдсбрант» и после этого стал читать книги только с готическим шрифтом, говоря, что «латинский шрифт — это для неграмотных».

Английским языком занимался сам: хотел в подлиннике читать стихи своего любимого Киплинга. Но «заодно» переводил Лонгфелло, сонеты Шекспира, стихи Бернса, Роджерса, Томаса Мура, Байрона, Скотта, Шелли. За зиму 1937 года сделал переводы около 100 стихотворений, многие из которых оригинальны и могли бы быть напечатаны.

Кульчицкий готовит себя к работе поэта серьезно. Он старается глубже изучить русский язык, делает этимологические выписки из работ А. А. Шахматова, занимается сравнительным изучением языков, составляет картотеку восьмидесяти пяти (!) основных размеров. «Примеры брал из Лермонтова или сам тут же сочинял». Борис Слуцкий вспоминает, как Кульчицкий еще в школе переписывал стихи Жуковского в манере Маяковского, доискиваясь до секретов мастерства этих поэтов. Сравнивая, анализируя, он искал свою точку зрения, свой голос.

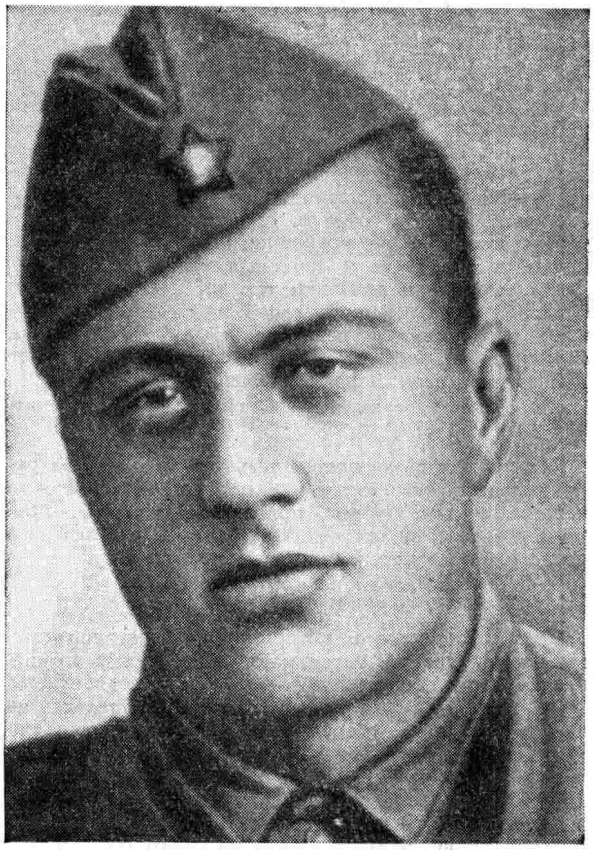
«Читаю «Разгром» Золя. Перевод. Разве так говорят: «дрова не хотели разжигаться?» Сказать надо просто: «Огонь шипел на холодных ветках...» Надо, чтобы слова весили, пахли, обжигали. Фразы должны быть крепкими, как спирт...

Стал выписывать из Киплинга и не мог остановиться. Да, из настоящих стихов нельзя выбирать цитаты. Надо все...»

«Когда хорошие стихи и статья, у меня горит внутри. Так и при крепких образах, сравнениях».

Кульчицкий хочет дать образ зримый, яркий, иногда неожиданный. Он не любил стертые слова, а искал в них скрытые грани, которые нужно было отшлифовать, чтобы слово раскрыло свой смысл.

«Хорошо на свои стихи смотреть так: все они уже есть в природе. Их надо открыть. У Гоголя необыкновенно про скульптора, отмывающего в мраморе из глубины «спрятанную» голову женщины».



М. Кульчицкий. Август 1941 года.

Короткая запись: «Изредка я, мама и Олеся (9-летняя сестра Кульчицкого) ездим в Безлюдовку — два часа езды. Там есть речка, земля и небо».

С первого взгляда запись ничем не примечательна. Хотя в последней фразе обращаешь внимание на необычность употребления слов: «Там есть... земля и небо». Казалось бы, небо есть всюду. Но для Кульчицкого небо было больше, чем географическое понятие. 11 мая 1937 года в записной книжке он записывает:

Пахло вечером. Приоткрыл глаза
И увидел неба обрыв.
Я боялся встать. И держал траву,
Чтобы в небо мне не упасть.

Каждому человеку знакомо такое состояние кажущегося падения в небо, когда, лежа на спине, смотришь в бесконечную синеву с бегущими легкими хлопьями облаков, и только где-то у самого горизонта зрения плывут освещенные солнцем верхушки сосен. Для Кульчицкого небо было ощущением простора, красоты, счастья.

Без этих записей трудно понять образ России в поэме «Самое такое», написанной в 1940 году.

...степь
под ногами
накре-
няется
набок,
и вцепляешься в стебли,
а небо —
внизу.
Под ногами.

И боишься
упасть
в небо.
Вот Россия.
Тот нищ,
кто в России не был.

Первая часть поэмы была написана Кульчицким в одну ночь, сразу, почти без помарок. Хлебниковская строчка о России — «Русь! Ты вся — поцелуй на морозе» — вырвала из хранилища памяти, столкнула и сцементировала те образы, ощущения и мысли, которые, как еще не родившиеся существа, стучали в стенки дневника и записных книжек...

...Мальчишки и девчонки тех лет всем существом ощущали неразрывность своей судьбы с революцией, воспринимали революционные традиции как основу своей жизни. Героям революции посвящает Кульчицкий свои первые стихи.

«Напечатали Белошицы». С традиционной опечаткой: вместо «хаты» — «хобот». И правка!».

Кульчицкий возмущается тем, что осторожная рука редактора выбросила из стихотворения именно нетрадиционные образы, пригладила ершистые эпитеты. Но один он отстоял. Он понимал, что без него песня о Щорсе потеряет цвет, запах тех лет.

Щорс лежит на красных травах,
будто на знаменах...

В стихотворении, в котором еще отчетливо слышалась интонация Багрицкого, этот образ, резкий, объемный и неожиданный, как бы предвосхищал будущий голос поэта, который в словах передавал не только внешнюю сторону, но и внутреннюю сущность явления.

У каждого человека есть какая-то мера, которой он измеряет свою жизнь, свои поступки, свои несчастья. У Кульчицкого такой мерой была способность в любой момент встать на горло собственной песне и собственной жизни, «сжечь стихи и упасть в бою» за то, чтобы на земле восторжествовала справедливость Советской власти. Недаром его любимыми героями были Чапаев и Щорс, недаром в первый же день войны, остригшись наголо, он явился в военкомат с просьбой отправить его на фронт.

Со страниц дневника М. Кульчицкого с нами говорит довоенное поколение, несущее на себе героические, неповторимые приметы времени.

«Декада ПВХО. Учителя приходят в класс в противогазах. Раздали классу сумки, и конец урока математики провели в противогазах. Девочки снимали, а педагог грозился снизить отметку...

Записался в школьный стрелковый кружок, которым руководит учитель военного дела Иван Ильич Морозов. У него черные петлички и крестообразный значок артиллериста. Стреляли из мелкокалиберной в столярной мастерской...

Я видел Давида. Он не будет агрономом, а идет в школу лейтенантов. Для комсомольцев это в обязательном порядке...»

Юность поколения, к которому принадлежал Кульчицкий, совпала с годами, богатыми событиями радостными и горькими, трагическими в нашей стране и за рубежом. Колючей проволокой концлагерей и кострами из книг возвестил о себе фашизм в Германии, пылала в огне Испания. И каждый мальчишка мысленно уже примерял шинель.

Мальчишки пытались обмануть строгие медицинские комиссии. «Егорова, соседа по парте, не приняли в военную школу. Он близорук. Врача не было несколько минут, и он выучил наизусть третий, мелкий ряд таблицы. И правым глазом все ответил, а левым — забыл. Врач кричал. И поделом».

Мальчишки, которые недавно бредили авиаклубами, теперь тайком от родителей шли к военкому.

А мир каждый день напоминал о себе тревожными газетными заголовками, суровым голосом Левитана и тем особым состоянием, по которому угадываются большие события. В воздухе пахло грозой.

«Мадрид готовится к обороне. СССР вмешался, и что-нибудь выйдет. Писать ничего не могу...

Пошел на спектакль «Салют, Испания!».

Витя, окруженный девчонками, читает пьесу, которую писал весь год. Города, которые брали, он постепенно вставлял. В монастыре пол запекся от крови. 100 детей стреляли из двух ружей, пока их всех не убили».

Юности свойственно, говоря о больших событиях, о больших чувствах, немножко гиперболизировать, смотреть на мир через увеличительное стекло. Но, может быть, именно это свойство дает юности возможность видеть мир по-новому, открывать еще неизвестное, пробивать дорогу прогрессу?..

«5 мая 1937 года. Профиль линии фронтов Испании звереет и открывает рот на Мадрид.

25 мая. Рассказывают, что в Испании в кино на «Чапаеве» кричат «Смерть фашистам!» и стреляют в экран. Испанцев успокаивают: «Сейчас их убьют».

23 июня. «Юность Максима». Вот это фильм! Революция! А сейчас спокойно. Мне надо бы за границу. Вступил бы в германскую компартию».

Каждый день снимали с крыш поездов, вытаскивали из трюмов пароходов ребят, которые хотели бежать под знамена Интернациональной бригады или на баррикады Гамбурга. Кульчицкий был среди них.

Ему кажется, что бороться с фашизмом можно только там, с оружием в руках. В 1937 году Кульчицкий записывает в записную книжку:

Военным дорогам давно уже окончен счет.
Мы стали сегодня на долгую-долгую дневку...

И охватывало отчаяние оттого, что ты поздно родился и не мог с оружием в руках защищать единственную на земле страну — свою любимую родину, которая «бывала мамой и не давала голодать».

«Радио передавало про чапаевщину. У меня слезы выступили на глазах. Этого больше не будет. Я не дышал тем воздухом».

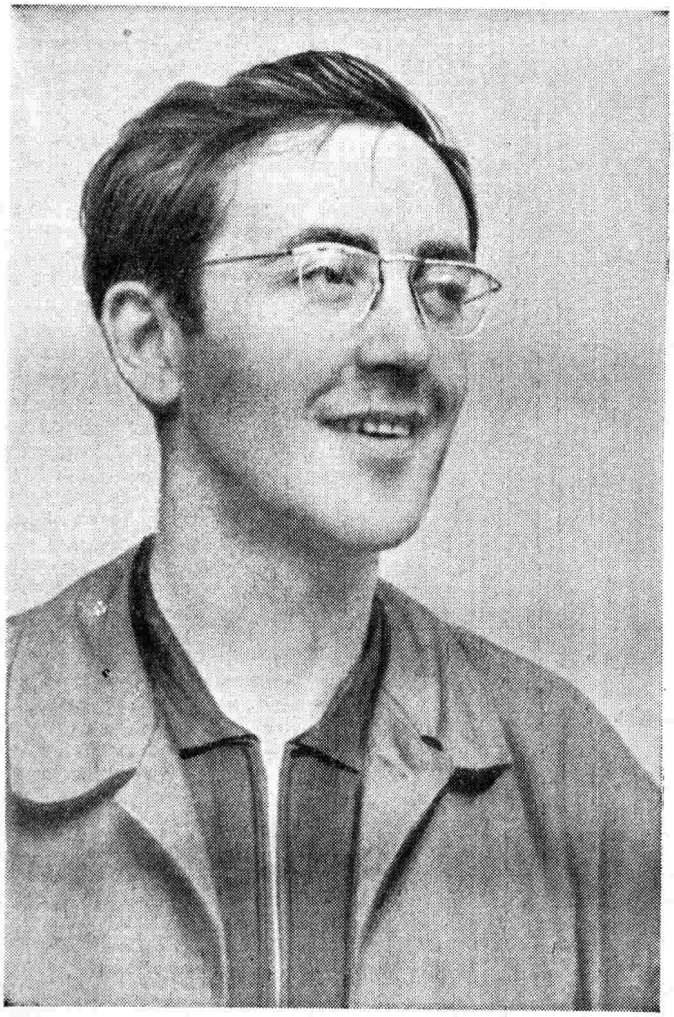
Это последняя запись в школьном дневнике. Дома на письменном столе лежит аттестат, а рядом — свежий номер харьковской газеты. Там напечатано написанное еще осенью стихотворение «Друзьям десятиклассникам...». В ту последнюю школьную осень, когда внутри вдруг все замирало и сжималось от осознания предстоящего жизненного рубежа, за окном класса, прервав урок, пропечатали по брусчатке шаг возвращающиеся из лагерей красноармейцы. Солнце разбилось в мозаику на гранях штыков.

И мне тогда показалось,
Что на тусклых осенних штыках
Детство мое улыбалось,
Уходя,
Ускоряя шаг...

Мысль о личной ответственности за судьбы мира вдруг встала перед Михаилом Кульчицким обнаженно и остро, и пропало сожаление о том, что «поздно родился», и складывались в голове строки об исторической миссии своего поколения.

Наши будни не возьмет пыльца.
Наши будни — это только дневка,
Чтоб в бою похолодеть сердцам,
Чтоб в бою нагрелися винтовки.

Стихи — «суровые, как военкомы» — призвали юношу на трудную службу поэта.



ДЕБЮТЫ

Василий Ливанов:

«Дилемма на всю жизнь»

Позади десять лет работы в кино, и все-таки он дебютант. Известный киноактер Василий Ливанов выступает на этот раз в новой роли — режиссера мультфильмов.

И это вполне закономерно. С самого раннего детства Василий Ливанов словно бы готовился к профессии режиссера-мультипликатора.

Началось с живописи.

Может быть, здесь сказалось фамильное: его отец — знаменитый актер МХАТа Борис Ливанов — страстно увлекается живописью. И сын, унаследовав любовь и способности к живописи, окончил Московскую среднюю художественную школу. Получив аттестат зрелости, Ливанов-младший подал документы одновременно в Щукинское театральное училище и в Академию художеств. Успешно сдал экзамены в обоих вузах, но, как и отец, решил все же стать актером. Причем обязательно актером театральным. Однако...

— Я начал с режиссуры,—рассказывает Василий.— Поставил в училище «Три толстяка» Юрия Олеши. Был и режиссером спектакля, и автором инсценировки, и одним из художников-декораторов. Правда, как актер я здесь не выступал: хватило хлопот с постановочными делами...

...Я помню этот дипломный спектакль. Весной пятьдесят восьмого года. В небольшом уютном зале, которым театральное училище владеет вместе с Оперной студией консерватории. Решение спектакля, безусловно, продолжало вахтанговскую традицию «Принцессы Турандот» — и в режиссуре, и в оформлении, и в актерской игре. Перед занавесом — изящные, озорные «цани», то есть слуги просцениума. Действие сопровождала энергичная, упругая музыка... В общем, хороший был спектакль тогда у щукинцев. Он запомнился всем, кто его видел...

— А что было дальше?

— Дальше?.. Меня пригласили сниматься в фильме Михаила Калатозова «Неотправленное письмо». Так я стал киноактером, видимо, навсегда расставшись с театром... Сейчас вот заканчиваю сниматься в очень интересной роли в фильме немецкого режиссера Конрада Вольфа «Мне было девятнадцать» на студии «Дефа»...

— А с живописью вы расстались так же, как с мечтами о театре?

Фото Н. Лагиной.

— Нет, я люблю рисовать по-прежнему, и как раз живопись «подсказала» мне вторую профессию.

— Мультипликационное кино?

— Вот именно... Я убежден, что сама природа мультипликации требует, чтобы режиссер был знаком хотя бы с азами живописи и рисунка. Ведь, заметьте, часто режиссерами мультипликации становятся художники — Федор Хитрук, Николай Серебряков, Вадим Курчевский... Примеров уйма. Не говоря уже о классическом — Уолте Диснее.

— Вы начинали в мультипликации как художник?

— Нет, совсем иначе. Решив попробовать свои силы в кинорежиссуре, я поступил на Высшие режиссерские курсы. Тогда же стал писать сказки. Написал одну, потом другую. Писал медленно. Однажды в каком-то необъяснимом душевном порыве показал их Самуилу Яковлевичу Маршаку. Был совершенно ошеломлен, когда знаменитый поэт посоветовал мне напечатать некоторые из них. И их напечатали в «Литературной России». Вскоре после этого студия «Союзмультфильм» предложила мне написать сценарий по сказке «Самый-самый-самый-самый». Написал. Отнес на студию. И продолжал мучительно искать тему и сценарий для своей дипломной режиссерской работы. А пока искал, согласился как бы «мимоходом» поставить мультфильм по собственному сценарию, тем более что мультипликация всегда очень нравилась мне, и я считаю диснеевского «Бэмби» одним из величайших фильмов, созданных человечеством...

Картина Василия Ливанова, ставшая его дипломом, была оценена на «отлично», и критики назвали ее одним из лучших мультфильмов прошлого года.

То, что писал Лев Кассиль о сказках Василия Ливанова, в равной мере можно отнести и к мультфильму «Самый-самый-самый-самый» и к ленте «Жу-жу-жу», поставленной по его сценарию на «Союзмультфильме» режиссером Л. Мильчиным: «Они лиричны, изящны по построению и интонации. В них нет обнаженных выводов, свойственных обычно притчам, но они таят укромно и лукаво раздумья, которые и составляют их поэтическую суть...»

О чем же первый фильм Ливанова? О Львенке, царе зверей, воспитанном Старым Львом и Облезлым Шакалом в твердом убеждении, что он самый сильный, самый умный, самый смелый, самый красивый, и познающем на собственном опыте, что это совсем не так. Автор рассказывает, как Львенок познает законы жизни, учится правде и справедливости, истинной красоте мира. И еще о многом другом — скажем, что тот, кого любят, всегда «самый-самый-самый-самый».

— Кому вы адресуете картину — взрослым или детям? — спрашиваю я.

— Мне кажется, одного-единственного адреса у сказки нет. Ее читают (а в данном случае смотрят) и взрослые и дети. Каждый находит в ней свое. Сказка — она для всех возрастов. Во всяком случае, так я думал и думаю, когда пишу новые сказки или сценарии. Насколько справляюсь я с этим делом — не мне судить.

— С какими трудностями вы столкнулись, придя на студию?

— Проще сказать — с какими трудностями я не столкнулся. Ведь все, совершенно все было для меня новым. На режиссерских курсах я изучал кинематограф актерский, художественный. О мультипликации же я абсолютно ничего не знал — ни производственного процесса, ни специфики, ни творческих возможностей, которые, как я понял сейчас, поистине безграничны. Мультипликация — искусство будущего. Любую мысль, любые чувства, любые концепции — все можно выразить пластикой, цветом и музыкой. Но эти «три кита» мультипликации должны быть в полной гармонии, а художник должен обладать высоким профессионализмом. Почему я сам, будучи художником, не беру на себя изобразительную сферу фильма? Это объясняется как раз тем, что необходимого профессионализма в живописи и графике у меня нет. Зато есть превосходный художник Макс Жеребчевский, с которым я работал и буду работать (когда-то мы вместе учились в художественной школе). Повезло и с композитором — Геннадием Гладковым. Еще 10 лет назад он написал музыку к моим «Трем толстякам».

— Почему вы считаете не только пластику и цвет, но и музыку основными выразительными средствами мультфильма?

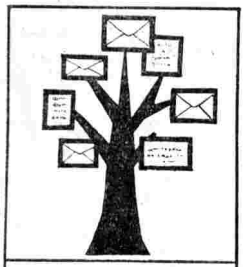
— Как и все другие виды искусства, мультипликация напряженно ищет новые средства выражения. Она уже не боится брать сложные темы, мысли и пытается выразить эту смысловую сложность (часто многозначную) возможно проще, ярче, убедительнее. В последние годы появилось множество разнообразных творческих манер — от необычного, смелого, живописного штриха до очень современного музыкального звучания. Музыка, думается, определяет самый ритм мультфильма, придает ему особую достоверность происходящего — делает зрителя в полном смысле слова соучастником действия. Просто сопровождать, иллюстрировать сюжет музыка может в художественном, игровом кино, но не в мультипликации. Здесь, повторяю, ее миссия—настроение и ритм. А это, конечно, возлагает особые задачи и на композитора. Поэтому не каждый композитор, хорошо работающий в игровом кино, может столь же успешно выступать в мультипликации.

— Итак, вы говорили, что пришли в мультипликацию, практически не имея в ней никаких навыков. Как же вам удалось справиться с обилием трудностей и спецификой этого киножанра?

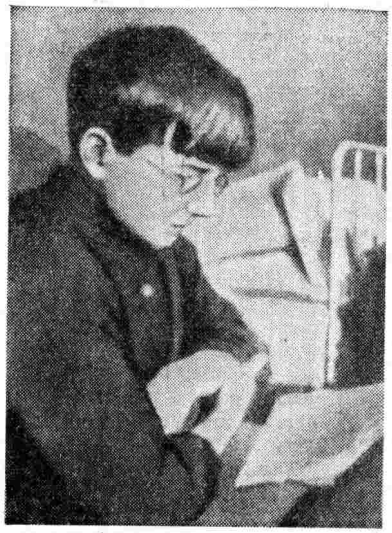
— У меня не было другого выхода, как взвалить на себя непосильную задачу,— а в таком случае (плюс желание!) что-то обязательно должно получиться. Что-то и получилось. А учиться мультипликации мне пришлось на ходу и еще сколько придется учиться — ведь сделаны только самые-самые-самые первые шаги... Параллельно со съемками в ГДР я пишу сейчас новый сценарий — специально для «Союзмультфильма». Это тоже притча для больших и маленьких... Но, я вижу, вы улыбаетесь да еще скептически,— это, видимо, потому, что я собираюсь ставить фильм опять по собственному сценарию? Я знаю, многие относятся скептически к желанию режиссеров быть одновременно и сценаристами. Не знаю, как в игровом кино, но в мультипликации дело обстоит так: если режиссер вместе с тем и автор сценария, то ему работать намного легче. Не верите? А что вы скажете о Федоре Хитруке и его «Человеке в рамке» или фильмах Иона Попеску Гопо?..

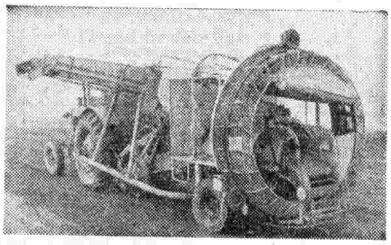
И знаете,— заканчивает свой рассказ Василий Ливанов,— тому, кто хоть раз на деле сталкивался с мультипликационным кино, уже невозможно расстаться с этим добрым, всегда молодым и праздничным искусством. Вот и придется мне, быть может, всю жизнь практически решать дилемму, «кем быть» — только киноактером или и режиссером мультфильма, а может, и режиссером игрового кино. Но, ведь если взвалить на себя непосильную задачу (а эта дилемма такова и есть), что-нибудь обязательно получится, верно?..

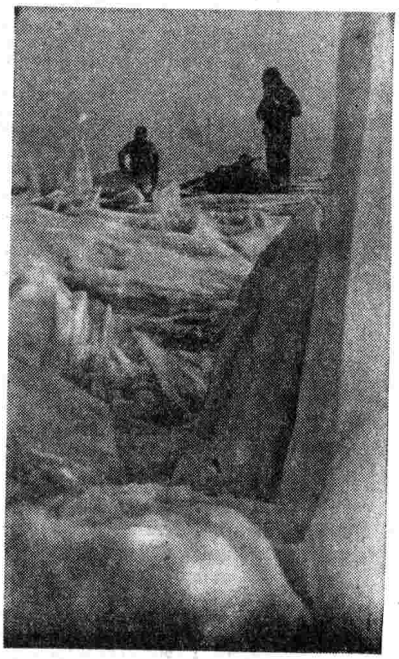
Интервью вела Наталья ЛАГИНА.



ЗАМЕТКИ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ







НАРКОМПРОСОВСКИЙ СТИПЕНДИАТ

В первые годы Советской власти, когда в стране не хватало хлеба, топлива, предметов первой необходимости, нарком просвещения А. В. Луначарский неоднократно обращался в Совнарком с просьбой выделить из бюджета республики определенную сумму для помощи юным талантам.

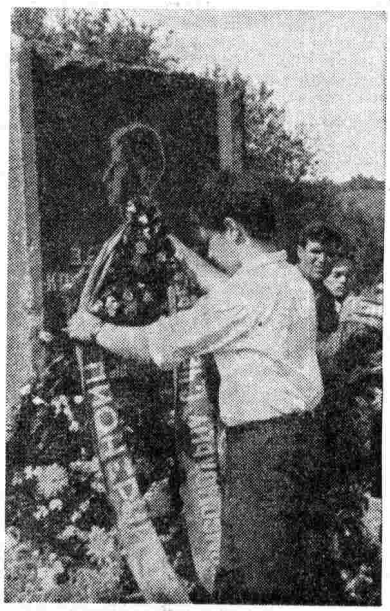
Так, 21 января 1920 года специальным постановлением правительства был создан для поддержки молодых дарований особый фонд в размере 6 миллионов рублей. В том же году фонд увеличили вдвое; Наркомпрод выделил в распоряжение Наркомпроса несколько повышенных академических пайков для особо одаренных детей. Среди наркомпросовских стипендиатов был и Дмитрий Шостакович.

В Центральном государственном архиве Октябрьской революции среди корреспонденций, поступивших к наркому просвещения в 1921 году, обнаружено недавно письмо известной детской писательницы К. В. Лукашевич. Оно публикуется впервые.

«1921 г. 16 августа.

Глубокоуважаемый Анатолий Васильевич!

В музыкальных и литературных кругах много говорят о том, что Вы учреждаете пайки для выдающихся талантливых детей России. Можно только горячо и радостно приветствовать Ваш добрый почин, в котором сейчас такая острая, насущная потребность. Я позволяю себе обратить Ваше внимание и ходатайствовать перед Вами о назначении пайка одному несомненно выдающемуся по своему таланту мальчику пианисту-композитору Дмитрию Шостаковичу, 14 лет. Мальчик этот уже с 9 лет проявил необыкновенный музыкальный талант: у него феноменальная музыкальная память, абсолютный слух, громадное познание фортепианной литературы, и уже есть такие сочинения, с которыми он выступал перед большой публикой с разрешения Комиссии, во главе которой стоит директор Петроградской консерватории профессор Глазунов. Митя Шостакович 12 лет поступил в Петроградскую народную консерваторию по классу фортепиано к профессору Николаеву с отзывом (большое виртуозное музыкальное дарование, передача вдумчивая, полная настроения) и по классу композиции к профессору Штейнбергу с отзывом (ярко выраженный талант). С тех пор он все совершенствуется и большими шагами идет вперед. Но переживаемое тяжелое время, почти постоянная голодовка кладут болезненный отпечаток на всех детей, а тем более на такого труженика и впечатлительного, как Митя. От недостатка питания (он ведь почти никогда не



На снимках: 1. Вверху слева: Дмитрий Шостакович в 1924 году. («Наркомпросовский стипендиат»). 2. Вверху справа: комбайн «Комсомолец» готов отправиться на поле. («Раз картошка, два...»). 3. В центре справа: обеденный привал на Байкальском льду. («Пешком через Байкал»). 4. Внизу справа: памятник Сергею Чекмареву. («Обелиск поэту»).

имеет ни молока, ни яиц, ни мяса, ни сахара и очень редко — масло) наш дорогой мальчик очень худ, бледен, в нем развивается усиленная нервозность и, что всего страшнее, острое малокровие. Наступает тягостная петербургская осень, а у него нет крепкой обуви, галош, теплой одежды. Страшно за его будущность. При всем желании и любви к нему ни его родители, ни близкие не в силах дать ему всего необходимого для жизни и развития таланта. Он получает интернатский паек, так называемый «талантливый», но в последнее время он так мизерен, что не может никогда спасти от голода и выражается в золотниках (напр. 2 ложки сахару и 1/2 фунта свинины на полмесяца).

Кроме выдающегося музыкального дарования, я должна засвидетельствовать, что Митя Шостакович, которого я знаю от рождения, обладает кротким, благородным характером, возвышенной, чистой, детской душой, любит чтение и все прекрасное и необыкновенно скромен. В дорогой ему отрасли — музыке он не пропускает ни одного серьезного концерта, следит всегда за исполнением по партитуре и восторженно приветствует каждое удачное выступление. Его талантливая голова работает неустанно и чрезмерно. Еще раз убедительно прошу обратить внимание на этот выдающийся талант. Он не может расцветать без главной помощи — именно в питании...

С глубоким уважением

Клавдия Лукашевич».

В тот же день аналогичное ходатайство направил Луначарскому и А. К. Глазунов.

«В Петроградской государственной консерватории обучается по классу теории композиции и игры на фортепиано даровитейший ученик, несомненно будущий композитор Дмитрий Шостакович. Он делает колоссальные успехи, но, к сожалению, это вредно отражается на его болезненном организме, ослабшем от недостатка питания, — писал известный композитор наркому. — Покорнейше прошу Вас не отказать поддержать ходатайство о нем в смысле предоставления талантливейшему мальчику способов питания для поднятия сил его».

На этом письме читаем резолюцию: «Дмитрию Шостаковичу, пианисту-композитору 14 лет, выдать академический паек».

А. К. Глазунов позднее еще не раз обращался в Наркомпрос с просьбой поддержать своего талантливого ученика. В 1923 году он писал:

«Сим удостоверяю, что питомец Петроградской государственной консерватории Дмитрий Шостакович обладает исключительно разносторонним музыкально-художественным дарованием. У него яркий композиторский талант, рано обнаружившийся, и несмотря на свой юный возраст (ему еще нет 17 лет) Шостакович в совершенстве овладел техникой письма. Вместе с тем он прекрасный законченный пианист. Нет сомнения в том, что Шостаковича ожидает блестящая музыкально-художественная карьера, но, к сожалению, здоровье его пошатнулось. У него обнаружился туберкулез желез, и врачи отправили его на излечение в Крым. Было бы крайне желательно немедленно принять меры к окончательному восстановлению здоровья этого замечательного юного художника и поддержать его материально. Гибель такого человека была бы невозвратимой потерей для мирового искусства.

А. ГЛАЗУНОВ.

Петроград, 23 июля 1923 г.»

И на этот раз просьба не осталась без внимания.

Николай ЗЕЛОВ

РАЗ КАРТОШКА, ДВА...

Первый раз я пришла сюда еще ранней весной. По колена забрела в черный снег и очутилась в... музее Всесоюзного научно-исследовательского института сельскохозяйственного машиностроения. Музей без крыши, без стеклянных колпаков и задумчивых служителей.

Эта удивительная машина тоже стояла под открытым небом. Она уперлась тонкими, крепкими ногами в мерзлую еще землю, готовая каждую минуту зашагать по полю.

Член комитета комсомола института Юрий Силаев назвал машину картофелеуборочным комбайном-копателем и погладил ярко-желтый барабан. Я тоже погладила барабан и стала слушать Силаева.

Многие годы ученые всех стран, где растет картофель, думают над созданием универсальной машины. Существует уже множество вариантов, среди них и два советских комбайна — «К-3» и «Дружба». Каждый из них наделен своим особым достоинством. А чтобы быстро, чисто, без особых хлопот убирать тонны картофеля, нужно все эти достоинства соединить в какую-то одну хитрую конструкцию.

Вот за эту конструкцию и взялись комсомольцы ВИСХОМа под предводительством кандидата технических наук Таймураза Кусова и таких специалистов, как Сергей Иванчинов, Римма Халькина, Светлана Гусева и другие.

Один из авторов проекта, Римма Прохорова, выбрала несуществующий комбайн темой дипломного проекта. Вот что она рассказывает:

— Понимаете, ничегошеньки не было! Сначала только идея летала и не давала спокойно спать. Потом родилась в муках приблизительная схема. Нашей работы в темах института не было, и потому собирались по вечерам. Времени страшно не хватало.

Вскоре с помощью ОКБ и комитета комсомола в работе появилась система. Каждая комсомольская группа получила для разработки определенный узел. Надежда Барышева, заведовавшая в то время производственным сектором комитета, вела документацию.

И вот машина есть! Успех не объяснишь одним энтузиазмом. В создании проекта участвовали специалисты самых разных лабораторий: прочности и зерна, автоматики и мелиорации.

Новый картофелеуборочный комбайн-копатель «Комсомолец» совместил в себе четыре технологических процесса и практически снял вибрацию машины — частую причину профессиональных заболеваний комбайнеров. Но этим не исчерпываются достоинства «Комсомольца». Он очень прост по устройству, компактен, легок. Весит чуть более полутора тонн вместо четырех с лишним тонн «Дружбы». Он неприхотлив и годен в любых условиях, на любых полях. И еще. Комбайн — очень аккуратный работник: прежде чем отправить картофелины в бункер, он очищает их от грунта, камней, ботвы.

...Летом я снова приехала в ВИСХОМ. Комбайн разобрали на «кусочки» и разложили по «полочкам» музея. На опытном заводе уже создается новый вариант, значительно усовершенствованный. Крепления бункера ставятся на амортизаторы, расширяется ботвоудалитель, цепная передача заменяется коробкой передач. Мои старые знакомые рассказали, что «Комсомолец» успешно прошел государственные межведомственные испытания. Теперь его ожидают испытания полевые.

Комсомольцы посвятили свою работу 50-летию Советской власти, и если комбайн появится в серийном производстве в юбилейном году, это и будет исполнением их желания.

В. ГРИГОРЬЕВА

ПЕШКОМ ЧЕРЕЗ БАЙКАЛ

Летний Байкал мы немного знали: три отпуска подряд шлялись с рюкзаками по его берегам, по тайге, по горам. Это уже кое-что! Слышали, что зимой Байкал тоже интересен. Решили проверить: перейти по льду с берега на берег. Знающие люди предупреждали: полсотни километров сплошных торосов, широкие трещины, что не перейти и не обойти, ураганный ветер, обязательно дующий в лицо и заставляющий отклоняться даже чуть ли не стрелку компаса. В общем, готовились мы к этому переходу, как к путешествию через Северный полюс. Уважающие себя полярники берут с собой собак и нарты. Знакомых собак у нас не было, а нарты, пожалуйста,— один из нас выпросил у дочки на воскресенье санки. Для преодоления возможных водных преград соорудили «катамаран» — две брезентовых колбасы, начиненные футбольными камерами, два продольных шеста и поперечные рейки каркаса.

От Иркутска до поселка Листвянничное, что на западном берегу Байкала, семьдесят километров — для львовского автобуса час пути. Переночевали у знакомых и в семь утра вступили на лед.

Был бледный и вялый рассвет. Шли с компасом, азимут определили заранее по карте. Санки катятся сами, бьют по пяткам. Из множества ветров дует единственный благоприятный — «култук»: почти в спину. Он смел куда-то весь снег; лед чистый. Перешли осторожненько одну трещину, другую. Трещины тянутся в обе стороны за горизонт темными полосами свежего тонкого льда. Слышно, как под этим тонким льдом приветливо булькает вода.

Солнце, собравшись с силами, наконец пробилось сквозь мглу, вынырнуло, и вот тут-то мы увидели, что попираем ногами синюю, бездонную глубину. Встали на четвереньки, уперлись лбами в голубую твердь и смотрели, смотрели, пытаясь определить, где там кончается мертвая ледяная броня и начинается полуторакилометровая водяная бездна.

Интересно получается: идешь по этому льду, а у тебя сразу и тень и отражение — иногда под углом, иногда сливаются.

Чуть в стороне от выбранного нами направления вдруг замаячили какие-то черные точки. Подошли. Оказалось, это лагерь байкальских «папанинцев» — научных сотрудников расположенного на берегу озера Лимнологического, то бишь озероведческого института. Особого удивления при виде нас озероведы не выказали и только иронически заулыбались, когда мы сказали небрежно, что собираемся пересечь Байкал за один день.

Как тут же выяснилось, падь реки Переемной, чуть правее которой собирались мы финишировать, оказалась градусов на десять южнее, чем мы полагали.

Если бы мы не встретили озероведов!..

На радостях отдали ребятам буханку хлеба: они уже пару дней терпели хлебное бедствие.

Шли теперь веселее, хотя и появились торосы. Под одной такой наклонной льдиной встали на обеденный привал.

Разогрели на спиртовке тушенку. Подкрепившись, продолжали путь по «разледьям» — полосам чистого льда между грядами торосов. Постепенно торосы стали сплошными и слой снега на них все глубже. Ноги проваливаются, вихляются среди невидимых под снегом неровностей, санки без конца опрокидываются. А когда под снегом появилась вода, мы совсем заскучали. И небо затянулось какой-то серой нечистью. В наших шутках уже проскальзывала обреченность. А правильно ли идем? Может, зря поверили чертям-лимнологам? Им-то что, у них домик, к ним вездеход приезжает, а мы, бедные...

Но вот услышали гудок паровоза, увидели полосу дыма, потом неровный ряд серых спичин — опоры контактной сети — и, наконец, что-то вроде водонапорной башни и светлое пятно здания. Ура, станция Танхой! Один из нас, самый молодой, воскликнул: «Все, братцы, осталось 15 минут!» Другой, самый старый и опытный, изрек: «Что ты! Час — железно!» Оказалось, два с половиной часа. И каких часа: проваливались в мокрое месиво, падали. Преодолели две «живых» трещины со вздыбленными краями. Все-таки пригодился наш катамаран!

Наконец, земля. Радостно кинулись на четвереньках по крутому откосу берега. На станции — сразу в буфет. Цивилизация: звон стаканов, пузатые бочки с белыми пробками — пиво! После ужина — блаженный сон на лавках в станционном зале. В два часа ночи — поезд на Иркутск.

Александр КОШЕЛЕВ,
Игорь ШЕР.
Научные сотрудники
Сибирского энергетического
института СО АН СССР.

ОБЕЛИСК ПОЭТУ

В октябре прошлого года старшеклассники 51-й оренбургской школы решили изучить жизнь и творчество поэта-комсомольца Сергея Чекмарева, трагически погибшего в 1933 году.

Уже в ноябре в Башкирию, где последние годы жил и работал поэт, отправилась первая группа оренбургских школьников. Ребята увидели край, где были сложены стихи любимого поэта. Они читали эти стихи теперь как бы заново:

Я знаю: я нужен степи
до зарезу.
Здесь идут пятилетки года.
И если в поезд сейчас я залезу,
Что же со степью будет тогда?
Но нет, пожалуй, это неверно,
Я, пожалуй, немного лгу.
Она без меня проживет
наверно,—
Это я без нее не могу.

Но школьников поразило, что на могиле поэта не только нет обелиска, но даже мало кто знает, где находится эта могила. Вернувшись в Оренбург, они списались с людьми, которые помогли уточнить место захоронения Сергея Чекмарева.

Одновременно комсомольцы написали в Совет Министров Башкирии письмо с просьбой поставить обелиск на месте гибели Сергея Чекмарева.

Чтобы собрать средства на создание обелиска, школьники работали три месяца на расчистке железнодорожных путей в Оренбурге, на разгрузке вагонов. Выпускница 51-й школы скульптор Надежда Гавриловна Петина предложила проект обелиска. Красная двухметровая колонна гранита, отшлифованная с двух сторон. На лицевой стороне — профиль и надпись: «Здесь погиб поэт-комсомолец Сергей Чекмарев (1910—1933 гг.)». А внизу строки из стихов поэта:

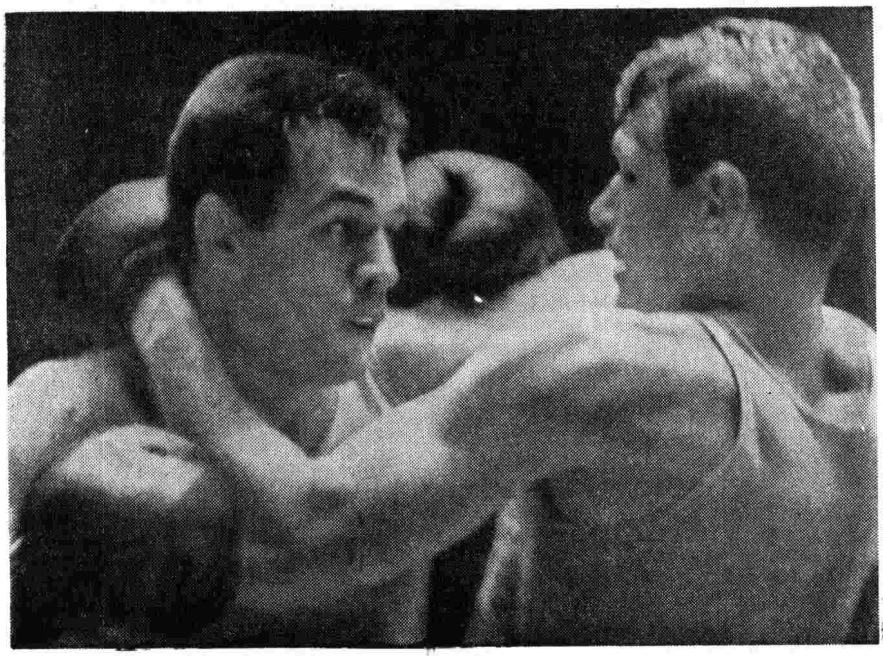
Мне борьба поможет быть
поэтом,
Мне стихи помогут быть
борцом.

И вот на берегу реки Большая Сурень, близ деревни Алабайтал, появилась палатка оренбургских школьников. Они готовили площадку для обелиска, сажали цветы и сирень.

13 июня, в день открытия обелиска, в долине Большой Сурени собрались не только местные жители; многие приехали из дальних городов и сел.

Строг и красив обелиск поэту, навечно поставлен он здесь, на месте его гибели. Так почтили память поэта и гражданина учащиеся школы № 51 города Оренбурга.

М. ЗАЛЮТОВСКАЯ



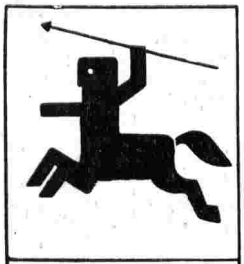
Этот снимок сделан 30 июля 1967 года в Зеленом театре Центрального парка культуры и отдыха в Москве. В одной восьмой финала боксерского турнира Спартакиады Виктор Агеев встретился с Борисом Лагутиным. В третий раз. Незапланированно. То есть незапланированно автором очерка, к тому времени уже законченного и отнесенного в редакцию. (Может быть, и Агеевым тоже незапланированно.)

Но Лагутин планировал реванш и подготовился великолепно. Наивно, конечно, требовать изменения правил и настаивать (в порядке исключения) на признании ничейного результата. Это было бы справедливо. И всем стало бы легче: и зрителям и судьям. А то голоса «за» и «против» вновь непримиримо разделились. Но судьям предстояло принять единственное решение, многих не удовлетворившее и показавшееся спорным. Трое судей (из пяти) предпочли Агеева.

Александр Нилин

ЧЕЛОВЕК, ЧЬИ ДЕЛА ОБСТОЯТ ВЕЛИКОЛЕПНО

Фото Ю. Маргулиса.



СПОРТ

Хорошего боксера (и, наверное, не только боксера, но я сейчас исключительно о боксе) легко оценивать и судить, меньше вспоминая о том, что̀ удалось, и подробнее говорить о том, что̀ не свершилось, какие желания не исполнились.

Впрочем, я хочу рассказать о человеке, чьи дела на сегодня обстоят великолепно. О Викторе Агееве, чемпионе по боксу в первом среднем весе, то есть не превышающем семьдесят один килограмм. Боксеры говорят короче: «Работает в семьдесят один».

В минуту отдыха между раундами, когда секундант обмахивает полотенцем разгоряченного Агеева, усиленный железным эхом голос диктора сообщает собравшимся о заслугах этого боксера. Я почему-то боюсь повторять вслед за ним перечень достижений. Боюсь, вот к статистике перечня подключится память, всегда связанная с эмоциями, придвинутся вплотную личные воспоминания, и я забуду о том, что собирался сказать. Я встречу опять Агеева июльским днем, сразу после римского чемпионата, на центральной улице Москвы, возле Дома актера, увижу его в щегольских светлых брюках и коричневой замшевой курточке идущим сквозь толпу пешеходов,— красивого и знаменитого. Боюсь, потому что Агеев не слишком похоже выходит на фотографиях, решенных в плакатном стиле, с претензией на рекламу. Однажды сняли его таким образом и тираж цветных открыток отпечатали. И оказалось — преждевременно.

Мы познакомились с Агеевым в шестьдесят третьем году. В тот год он выиграл первенство Союза. А я стажировался в спортивной редакции, и мне поручили о нем написать. Точнее, разрешили. Могли и без меня обойтись, но меня следовало учить, и, подобно тому, как ученику парикмахера доверяют побрить не самого требовательного клиента, мне доверили постричь на газетной полосе под бокс нового чемпиона. Агеева

пригласили в редакцию, и он приехал после тренировки и поднялся на четвертый этаж.

Агеев тогда не был избалован известностью. Он даже спросил: «Вы меня видели на ринге?» Вместе с тем он не прибеднялся и, узнав, что я его видел, сказал: «Заметили, наверное, я боксирую не совсем о б ы ч н о». Но определить эту необычность не умел или не хотел и объяснил, используя о б ы ч н ы й термин: «Я работаю на контрах...»

Один путешественник вышел из пункта А, другой из пункта Б — арифметическая задача. Кто-то из путешественников выходит к месту встречи обязательно раньше. Жизненная ситуация...

Агеева взяли в сборную Союза после поражения, четвертого в его жизни. Он проиграл Шейнкману, двукратному чемпиону страны, но понравился тренерам сборной, показался перспективным. Данные прекрасные: рост, подвижность, реакция. Результаты совсем неплохие: всего четыре поражения из ста проведенных боев. И возраст подходящий: девятнадцать лет — можно еще кое-что успеть.

Взяв Агеева в сборную, тренеры надеялись помочь ему изменить, улучшить манеру боя — сделать ее солиднее, надежнее. Технику опять же считали несостоятельной, нерациональной.

Феноменом Агеева не признавали, но находили очень способным. Полагали: со временем сможет, если за ум возьмется. Пробовали его и в «шестьдесят семь» и в «семьдесят один». Ставили спарринг-партнером к корифеям — Тамулису и Лагутину.

Нельзя сказать, чтобы наставники были им особенно довольны, приходили от его прилежания в восторг. Агеев не хотел менять манеру, упорствовал, замечания выслушивал, а делал по-своему. Главное, не поймешь, куда он гнет. То осторожничает—лишь бы ударов избежать, а сам вперед не идет. То рискует неоправданно. То строит все на опережении. То откуда-то появился нокаутирующий удар, и Агеев действует медленнее, ищет момент, чтобы решить бой одним ударом. Пожалуй, интересно, но хаос, неразбериха. Противника путает и сам путается. Или так и задумано?

В сборной дисциплина крутая — и отчислить недолго, не таких еще вундеркиндов видели. И отчислили бы, не побеждай он. Побеждает ведь всю дорогу, словно какой-нибудь Кассиус Клей. Относились к этим победам не всерьез, жалели: парень губит себя; ничего, словит пару сильных ударов, посидит на полу — поумнеет; смешно, честное слово, везет чудакам, не умеют ничего толком делать на ринге, а везет, грамотные боксеры им проигрывают бог знает почему.

С другой стороны, победы есть победы. Агеев берет реванш у Шейнкмана, с нокдауном, все по-настоящему. В шестьдесят втором году становится серебряным призером первенства СССР (финальный бой с Тамулисом не состоялся: легкомысленный Агеев объелся мороженым накануне, и врачи не выпустили его с ангиной на ринг).

В следующем году Ричардас Тамулис во время полуфинального боя с Агеевым получил рассечение брови («полетела бровь» — на языке боксеров), и через день Виктору вручили золотую медаль.

Опять случайность? Как-то не складывалось впечатления, что случайность. Я спросил у Агеева: «Мог ли Тамулис выиграть, будь в порядке бровь?» Агеев: «Нет, в этот раз не мог; в первом раунде чемпион испробовал все и в дальнейшем ничего бы и не придумал». Агеев, и на ринг когда шел, сказал тренеру: «Не волнуйтесь, я выиграю». Я предположил: он, может быть, недооценивает Тамулиса, бывают же особые мнения? Оказалось, Тамулис — идеал Агеева; был идеалом и остался. Позже я узнал, что и Леонид Шейнкман — боксер, чтимый Агеевым, и, послав Шейнкмана в нокаут, Агеев удивился быстроте случившегося.

Про Тамулиса он сказал: «С ним трудно, он тоже работает на контрах».

Работать на контрах — переводится несложно: боксер делает ставку на контратаку, встречает атакующего противника нацеленным ударом. Просто? На редкость. Особенно со стороны — из зрительного зала или дома у телевизора. Противник, он ведь может и пренебречь встречными ударами, подавить атакой, загнать в угол ринга, к канатам прижать, приблизиться и бить, простите, бить по корпусу и в голову. В боксе бьют, не думайте. В перчатках, при публике, больно бьют, и чемпионов тоже.

Утверждают: бокс на шахматы похож. Да-да-да: расчет, предвидение, маневр. Но поверьте: немножечко — ну, чуть-чуть — чувствительнее, когда не лакированная фигурка карает фигурку другого цвета, а затянутый кожей кулак со свистом направлен в вашу сторону и вот-вот заденет не одно лишь ваше самолюбие.

Боксировать на контрах — характер: ожидание опасности вообще едва ли не труднейшая вещь на свете; легче яростно и азартно броситься навстречу противнику.

Боксировать на контрах — и техника отточенная, безусловно. Поэтому я удивляюсь, когда слышу про Агеева, выигравшего свыше двух сотен боев: у него пробелы в технике.

Боксировать на контрах — и философия. Надо уважать себя и свое умение, чтобы позволить противнику развернуть свой замысел почти беспрепятственно, отдать ему видимую инициативу, прежде чем решитесь обнародовать собственные намерения.

Если бы мне пришлось писать о противниках Агеева, я наверняка бы обратился за помощью к самому Агееву. Его рассказ о бое — рассказ о противнике: «Я понял, он сейчас ударит правой сильно», «...Он мне в глаза старается не смотреть — думает выиграть нокаутом», «Он на ноги смотрит, по положению ног определяет: как буду бить», «Мне потом говорят: что же ты правой не бил, когда он в углу? — а я чувствую: сейчас полезу — сам нарвусь на встречный».

В том же разговоре в редакции я поинтересовался: опасается ли Агеев реванша? Агеев не опасался и к тому же намеревался переходить в следующую весовую категорию (в нынешнюю, в «семьдесят один», где Тамулис не выступал никогда).

— Но там Лагутин,— подчеркнул я.

— Да, он там,— согласился Агеев со спокойствием, обидевшим во мне знатока.

— Там и Струмскис,—напомнил я (двадцатилетний Стасис Струмскис в отборочном турнире к первенству Европы победил Лагутина). Струмскиса Агеев, очевидно, серьезным противником не считал — пожал плечами.

Несколько озадаченный уверенностью Агеева, я сел за письменный стол, а он спустился по лестнице и ушел вверх по переулку.

В ту осень и зиму, за ней наступившую, Агеев с блеском продвигался к главной цели — стать основным участником олимпийской команды.

В ту осень и зиму Борис Лагу-

тин выступал реже. На первенстве «Спартака» победил с трудом, пропустил тяжелый удар, побывал в нокдауне. Поговаривали: он утратил форму.

У Лагутина легкой жизни в боксе не было. Он не побеждал без борьбы — с ним всегда конкурировали. Он побеждал конкурентов по всем статьям, а сломить их воли не мог. Ему железные люди противостояли — чемпионы страны, им смещенные, великолепный техник Иван Соболев и физически отлично одаренный, опытный Виктор Васин. Они выходили на ринг против Лагутина как на главный в жизни бой. Они могли заведомо знать, что Борис в лучшей форме и ничего им не светит, но умели найти в себе неслыханную стойкость и свести его преимущество к минимуму. Им подражала молодежь — Будман, Трегубов.

Лагутин не оставлял соперникам никаких надежд. Они уходили — он продолжал. И когда наконец конкуренты, отчаявшись, отступили, в категорию «семьдесят один» вошел Агеев, выраставший на глазах у Лагутина в очередного и наиболее опасного соперника.

В ту осень и зиму Лагутин редко выступал. Роль его в сборной исполнял Агеев. Неизвестно только было: временно или постоянно?

Осенью приехали в Москву англичане — молодая команда, без громких имен. Когда утверждали в Федерации бокса состав нашей сборной, руководителям и тренерам рекомендовали: «Настраивайте ребят исключительно на товарищескую встречу, никакой злости не надо, победа предрешена, и усердствовать не стоит, чтобы все корректно, работать, как в тренировочном зале на спаррингах».

Получилось не у всех. Некоторые так и не приспособились к джентльменским требованиям. Или давили, или, вспомнив «установку», останавливались в центре ринга и сами пропускали удары — и тогда снова лезли напролом.

У Агеева получилось. Он воспринял бой как повод повести противника, а заодно и зрителя по всем помещениям своего арсенала, нигде подолгу не задерживаться и лишь потрогать оружие, лишь представить в воображении коэффициент его полезного и возможного действия. Он показал: уход от удара не менее грозен, чем сам удар: противник теряет ориентировку, утыкается в канаты и от ощущения бессилия, обреченности теряет веру в себя. Хотел—и вместо встречной атаки останавливал противника, сам оставаясь на месте, и без помощи рук, одними движениями головы вынуждал его промахиваться с удобной дистанции, гипнотизировал. Переводил бой в плоскость, где чувствовал себя устойчиво, а противник ежесекундно скользил.

Рядовой, что называется, зритель реагировал восторженно, радовался зрелищу. И специалисты ласково улыбались.

Зимой наши дважды встречались с боксерами Польши — разыгрывался финал командного европейского Кубка. Здесь Агеев в боевой обстановке сохранял зрелищную щедрость поединка. Предложил два варианта — на выбор. В Лодзи выиграл совсем быстро — за явным преимуществом. В Москве, наоборот, эффективно тянул с развязкой, за что зал оставался не в претензии, а в прессе пожурили: переперчивает. Но пожурили сочувственно, намекнув: олимпийская надежда. Были выпущены цветные открытки, навстречу Олимпийским играм, и Агеева живописно изобразили: двадцатидвухлетний атлет в красной майке на фоне голубого безоблачного неба картинно поднял руку в боксерской перчатке. А облака ползли за кадром, и несли они грозу.

«Очень был осторожный бой и хитрый»,— скажет год спустя Агеев. И осторожный, и хитрый, и напряженный крайне, и красивый на редкость. Небывалый случай — приз за самый красивый бой присудили обоим участникам встречи. Вполне понятно, приз не утешил побежденного Агеева. Трое судей из пяти отдали предпочтение Лагутину в Хабаровске, где в климатических условиях, близких к Токио, соревновались претенденты на поездку в страну Олимпиады. Но Хабаровск не приблизил Агеева к Токио. Три : два. По существу, при таком счете можно и продолжить спор: кто сильнее? Спорить, однако, никто не стал. Лагутин подтвердил, что он Лагутин. А Виктор из кумира вновь превратился в талантливого молодого, которому (скептики правы: чудес не бывает) расти и расти, набираться опыта, у старших учиться, старших слушаться, старшим не дерзить.

Не поправил дела и успешный спарринг с Попенченко на сборе в Кисловодске. Спарринг ни в чем не убедил тренеров. И авторитет Лагутина не из тех, чье свержение радует. Лагутин заслужил поездку в Токио, право на главную роль. Словом, Агеева без особых сожалений оставили дома.

Интерес к Агееву вновь возник с приближением первенства страны шестьдесят пятого года. И в несомненном сопоставлении с предстоящим выступлением олимпийского чемпиона Бориса Лагутина. А Лагутин первый же бой внезапно проиграл Юрию Мавряшину и выбыл из соревнований. И диапазон соревнования сразу сузился. Вероятная победа Агеева в первенстве обесценивалась отсутствием опасных оппонентов. Мавряшин? Победитель Лагутина не сумел закрепить успех, до встречи с Агеевым не дошел, проиграл на полпути. На следующий год Мавряшин вышел в финал, но сенсации не произошло: Агеев оказался для него труднее Лагутина.

Вот человек формально, сию минуту, к достижениям Виктора Агеева непричастный. И одновременно причастный к ним всегда. Судья международной категории и заслуженный тренер СССР. Хотя титулы существуют как бы отдельно от него и он обижается, когда я говорю: «Вам-то, как заслуженному...» Ладно, без титулов. Коньков Владимир Фролович — и хватит. Или дядя Володя — для боксеров.

Идет все то же первенство шестьдесят пятого. Виктор выигрывает бледно; Лагутин выбыл, он и расслабился. Дядя Володя недоволен.

Мы стоим с ним в правом крыле коридора за кулисами Дворца спорта, Агеев раздевается в левом крыле — туда Коньков зайти не может, он арбитр этих соревнований: этика. Остается стоять здесь и думать об Агееве, который в каких-то тридцати шагах. К дяде Володе подходит Альгердас Шоцикас, он ведет на ринг подопечного из литовской команды и подходит к Конькову пожать ему руку, а они уже виделись сегодня: «Мой талисман» (при судействе Конькова на ринге Шоцикас никогда не проигрывал). Коньков улыбается ему, смотрит вслед—и, без видимой связи: «Что же это с Виктором делается?»

Коньков на англичанина похож: сухой, подтянутый. В белом судейском костюме с черной бабочкой его видел каждый зритель большого бокса. Не все знают: он и тренер. Учитель Агеева — у него Агеев начинал и до армии тренировался. Коньков — идеалист: он не побед требует от учеников, а умения. Такую позицию охотно поддерживают, за такую позицию наставника хвалят, но относятся к

такому тренеру снисходительно: считают непрактичным, неприспособленным, беззащитным перед критикой. Действительно, среди воспитанников дяди Володи Конькова бездарных и неинтересных боксеров нет, но и знаменитых чемпионов — тоже. Исключение — Агеев. Самый талантливый, он и самый удачливый, известный, чемпион страны и Европы.

В зале ЦСКА, на Комсомольском проспекте, на последнюю тренировку перед отъездом в Рим Агеев приходит элегантный, в темных очках. Участники сборной уже разминаются в тренировочных костюмах, рядом с ними врезает серии в набивной мешок Валерий Фролов, а Виктора задержал корреспондент радио с портативным магнитофоном, сует ему бумажку с заранее отпечатанным текстом— оригинальный, ни на кого из боксеров не похожий Агеев должен, выступая перед микрофоном, произносить чужой текст. Коньков смотрит на него от противоположной стены (он сидит на низкой гимнастической скамейке) и тихо, на ухо мне: «Ни за кого так не волнуюсь, как за Виктора».

Казалось бы, а чего волноваться? За Агеева волноваться не надо: он же фаворит. И те, кто недавно признавать Агеева не хотел, сомневался в нем, теперь переменили мнение и делают авторитетные лица. «За Агеева, за кого-кого, а за Агеева можно не беспокоиться, он-то выиграет».

А Коньков беспокоится. Он потому и Коньков, что беспокоится, он все понимает, дядя Володя Коньков. А Агеев потому Агеев, что за него *надо* беспокоиться. У Агеева нет противников трудных и легких — есть интересные и неинтересные. И с неинтересными ему сложнее, он скучает от черновой работы на ринге, ведет ее вяло, небрежно, замысел делается аморфным, расползается, не вмещается в три раунда. Тут порой он и неосторожен. Ему подсказывают: повнимательнее, не шути. Он отмахивается: не шутить неинтересно. С ним случалось: побеждал еле-еле, преимущество едва ощутимое. Спрашиваешь потом: «Трудный парень попался?» «Нет, знал заранее: выиграю, и как выигрывать, знал».

Труднее убедить в своей непобедимости, чем победить. Труднее убедить. Проиграй Агеев — ныне не просто чемпион, но и лучший среди любителей боксер Европы,— и снова скажут ему: пересматривай тактику, работай рациональнее, не мудри, не выдумывай.

(«Я поначалу стеснялся своей манеры — вроде боксирую не так, как все люди».)

Сейчас он утвердился в самостоятельности стиля, но жизнь свою самостоятельностью осложнил. Ему не хотят прощать промахи ни друзья, ни недоброжелатели. Он должен побеждать, отвечая требованиям аудитории, его признавшей.

Все мы быстро забыли, как сомневались в нем, как предпочитали ему других, с нашей точки зрения, более техничных и правильных. Мы потом привыкли к Агееву, полюбили Агеева и ждем теперь от Агеева чудес. Мы не думаем о том, что чудеса рождаются в экспериментах, и сердимся, обижаемся на Агеева, замечая в его работе какие-либо отклонения от нами принятого. А вдруг он идет в неизвестное еще всем нам? Мы думаем: мы понимаем в боксе,— и беремся советовать. Стоит ли? Кто из нас до конца понимает Агеева? Он может часами сидеть в компании, шутить, выглядеть безумно веселым, шумно жизнерадостным, откровенным с первым встречным. Что из того? На ринг он выходит один. Мы кричим из зала: «Витя, бей! Витя, дави!» А он один на ринге, и он другой, не такой, каким его час назад знали.

Отборочный турнир к первенству Европы в марте нынешнего года проводился в Воскресенске. Он носил характер скорее больших маневров, чем действительно отборочного критериума.

В нем участвовал после большого перерыва Лагутин. В четвертьфинале он боксировал с Агеевым.

Участие Лагутина удивляло, расстраивало отчасти. Зачем ему воскресенский турнир? Неужели он всерьез рассчитывает на то, что поедет в Рим? Вместо Агеева? Он же за три года, что прошли после Токио, выступал в заметных соревнованиях дважды и неудачно. Прошло его время, не следует ему ронять достоинство олимпийца и неизвестно ради чего испытывать лишний раз судьбу; нет, вряд ли повторятся лучшие времена. И тот интерес, что рождала возможность сражения между Лагутиным и Агеевым, исчез. В Воскресенске Агеев, думали мы, одолеет не льва — тень от льва.

Что мы ошиблись, в том полбеды. Агеев ошибся. Словно ролями поменялись встретившиеся на воскресенском ринге боксеры — мы увидели Лагутина в силе. И не настроенный на встречу с *таким* Лагутиным Агеев не то чтобы растерялся, но как-то не нашел свою контригру. Он получил победу с преимуществом в единственный судейский голос, аналогично тому, как в Хабаровске Лагутин. Но если там Агеев, потерпев поражение, не проиграл, то здесь, приняв победу, не победил.

Агеев стал преемником Лагутина — не победителем.

И сейчас, когда Агеев, по мнению большинства, вне конкуренции, мы продолжаем сравнивать его с чемпионом прошлой Олимпиады — с Борисом Лагутиным.

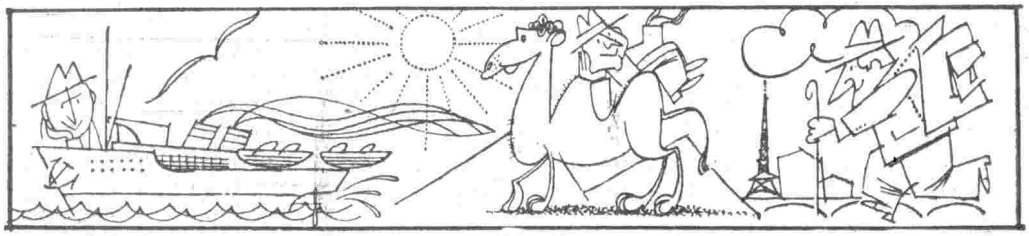
Лагутин проиграл больше, чем Виктор. Но он умел и брать реванши. В работе Лагутина достоинства выделялись отчетливее недостатков, с годами достоинства ослабевали, но он продолжал верить в них. И в ответственных боях они не подвели его.

В стиле Агеева слабости не менее очевидны, чем сильные стороны. Я имею в виду не технические и тактические погрешности — их ничтожно мало или совсем нет. Агеев подвержен слабостям, свойственным одаренным людям. Он радостно талантлив. Он понимает смысл бокса не в преодолении себя, своей сущности — в абсолютном выражении, пусть и с излишествами и с переборами. И за излишества, за переборы готов расплачиваться сполна.

Нынешняя осень и зима, за ней следующая, не могут не напомнить Агееву осень и зиму четырехлетней давности. Ситуация повторяется. Специалисты спорят о составе олимпийской команды. Есть кандидатуры определенные, есть сомнительные, есть и вакансии. Агеев вновь среди наиболее вероятных олимпийских надежд.

Он стал старше. Мечта выиграть Олимпийские игры в двадцать три года не состоялась. В Мехико Агееву будет двадцать семь, приблизительно столько же, сколько было в Токио Лагутину.

Путешественники из задачи встретились в положенном месте. И первый путешественник остался на месте встречи и ждет, а второй отправился в глубь задачи искать другое решение — возможно, алгебраическое.



Пыле-
сос

М. Захаров

ЧТО НОВЕНЬКОГО?

Рисунки И. Оффенгендена и М. Лисогорского.

Я пересек тундру, побывал в Средней Азии, углубился в тайгу, переплыл Байкал, посетил Улан-Батор, Прагу, Варшаву, Париж, Берлин и Карловы Вары.

Мой ближайший друг и сосед по лестничной площадке встретил меня с распростертыми объятиями.

— Наконец-то! — радостно воскликнул он, крепко обнимая меня.— Ну, что новенького? Как съездил? Что видел? Что слышал? Рассказывай! Сейчас же! Сию минуту!

Я раскрыл рот, но друг тотчас же перебил:

— Только умоляю, все по порядку! Ничего не пропускай! Как? Что? Где? Когда? Твои дела интересуют меня прежде всего! Ты это знаешь! Кстати, лично меня можешь поздравить: завтра ремонт заканчиваю. Вот. Все потолки побелил и новыми обоями обклеился!

Я вежливо поздравил друга и приступил к рассказу.

— Когда наш самолет приземлился на аэродроме Орли...

— Кстати,— снова перебил меня друг,— все двери смазал, замки сменил, полы перестелил и стекла вымыл! Блестят, как новенькие! Только ты, пожалуйста, не отвлекайся.

— Постараюсь,— сказал я.— Прежде всего об экскурсии в парижский Нотр Дам...

— У меня тоже с экскурсиями наладилось! — немедленно сообщил друг. — Вчера соседи приходили с четвертого этажа глядеть, как я щели зашпаклевал.

— Побывал я также в Варшавской картинной галерее,—добавил я несмело.

— А где я только не побывал?! — удивился друг. — И в Даниловском универмаге и на Зацепе — нигде олифы нет! Ну, я на четвертую автобазу — там у меня шурин кладовщиком служит. Представляешь? Целую бочку вывез! Кстати, а куда лично ты выезжал?

— Всю Европу объездил,— снова попытался я объяснить другу, — в общей сложности покрыл расстояние в десять тысяч километров.

— А я только восемь квадратных метров. Ванну покрыл, туалет покрыл, а на кухню только восемь плиточек кафеля осталось. Ничего, завтра же докрою! Что же ты молчишь?

— Может, лучше... в другой раз? — осторожно предложил я.

— Нет. В другой раз раствора не будет,— сказал друг, подумав. — Нужно сейчас крыть! Такой растворчик — ого-го! Целое корыто! Пальчики оближешь! Кухню теперь, конечно, не узнаешь! А санузел вообще блестит, как огурчик. Вот такие новости. А что у тебя новенького? Рассказывай!

— Нет, я уже, собственно, это... закругляюсь,— тихо пояснил я.

— А я еще с того месяца закругляться начал! — бойко заметил друг. — Это сейчас очень модно. Сперва стол закруглил, он у меня был квадратный. Потом сервант элипсообразным сделал. А ты чего молчишь? Рассказывай! Что новенького?

— Да я уже тебе все рассказал... — несмело произнёс я.

— Еще, еще говори! Меня интересуют подробности. Ты же мне обещал.

— По-моему, тебе показалось,— сказал я другу. — У меня абсолютно ничего новенького.

— Но ты ведь вроде куда-то уезжал?

— В ГУМ за дверными ручками! — выпалил я.

— Ну да? — сразу же оживился мой друг.— Тогда давай выкладывай, чего там еще выбросили. Что почем? А? Говори, говори же... Новенькое есть чего-нибудь?

— Да нет, ничего. Все по-старому.

— Я так и думал. Ну, а теперь слушай меня!..

И в последующие три с половиной часа я слушал его, уже не перебивая.

ПЫЛЕСОС• ПЫЛЕСОС• ПЫЛЕСОС• ПЫЛЕСОС• ПЫЛЕСОС• ПЫЛЕСОС•

Владимир Лифшиц

ДЕЛО БЫЛО В МЕТРО

(Пародия)

Вам, вероятно, приходилось, дорогой читатель, встречать в газетах очерки, отклики на очерки, ответы на отклики на очерки такого примерно рода:

ДЕЛО БЫЛО В МЕТРО

(Очерк)

Нет, я не вхожу в метро — меня буквально вносят в вагон приветливые плечи и дружелюбные бока моих сограждан — москвичей и москвичек.

Час «пик». Как радостно смотреть на эти такие разные и в то же время такие одинаковые, такие родные лица! Вот полный гражданин в «болонье» стоя читает «Щит и меч» Вадима Кожевникова, уютно положив книгу на затылок впереди стоящей девушки. Кто он! Инженер! Бухгалтер! А может, ни то и ни другое, а что-то третье!.. А эта тоненькая девушка, в свою очередь, перелистывающая сборник стихов Льва Ошанина,— кто она! Как ее зовут! К этим милым веснушкам и вздернутому носику так подошло бы простенькое имя Аня... Счастья тебе, Аня!..

Герой моего очерка тоже читает. Только он не стоит, а сидит. На нем простенькая серая кепочка, куртка из простенького кожзаменителя. Ему лет двадцать, не больше. Чем он привлекает мое внимание, чем выделяется! Он ничем не выделяется и этим привлекает мое внимание. Украдкой заглядываю в его книгу. Это бюллетень по обмену жилплощади.

Перед ним, покачиваясь и подрагивая на стыках, стоит пожилая женщина. Выцветшие, столько повидавшие в жизни глаза... Пуховый платок... В руках полиэтиленовый мешочек с солеными огурцами...

Юноша начинает медленно подниматься. Что-то замирает во мне. Что-то замирает в каждом, кто наблюдает эту сцену.

— Садитесь, мамаша,— говорит юноша в куртке из кожзаменителя. Его слова звучат просто и естественно, как дыхание.

— Сиди, сынок, мне через остановку сходить,— отвечает женщина с огурцами.

— Вам через остановку, а мне сейчас.— И юноша начинает пробираться к выходу, а женщина неторопливо, по-домашнему занимает его место.

— Станция «Сокол»! — оповещает в микрофон задушевный голос. И я думаю о том, как символично название этой остановки: что-то гордое, возвышенное, поистине соколиное есть в поступке неизвестного юноши, уже покинувшего вагон и растворившегося в многолюдной ласковой толпе.

Дорогие мои! Дорогие! Хорошие!..

Мадлен Артюхова

Недели через две после опубликования очерка обычно появляется сообщение от редакции.

«Мы получили много (более тринадцати) писем-откликов на очерк Мадлен Артюховой «Дело было в метро». Из Москвы и Минска, с Камчатки и далеких Курил пишут нам читатели. Ни одного из них очерк не оставил равнодушным. Подавляющее большинство горячо одобряет поступок неизвестного юноши. «Хорошей завистью завидую пожилой женщине с огурцами,— пишет пенсионерка из Рыбинска М. А. Расторгуева,— и хотя в нашем городе метро пока нет, я не сомневаюсь, что молодежь и у нас последует благородному примеру неизвестного паренька, используя для этой цели все виды городского транспорта».

Бригада морских охотников, промышляющая котиков у Командорских островов, прислала радиотелеграмму следующего содержания: «Так держать парень тчк гордимся твоим поступком тчк со своей стороны обещаем увеличить добычу ценного пушного зверя тчк».

Однако нашелся и маловер. Не будем называть его фамилию, дабы не конфузить перед другими читателями. Гражданин Н. пишет: «Сильно сомневаюсь, что в основу данного очерка положено действительное происшествие». Мы попросили Мадлен Артюхову ответить автору этого письма. Публикуем ее ответ.

«Уважаемый товарищ Н.!

Редакция ознакомила меня с Вашим письмом. Оставляю в стороне его канцелярский стиль и орфографические ошибки,— хочу поговорить с Вами по существу.

Вы сомневаетесь в правдивости рассказанного мною случая. Но почему, почему!.. Разве не происходят на наших глазах сплошь и рядом такие события, когда только и остается, что развести руками и сказать: «Не может быть!..»

Меня занимает другая сторона вопроса: откуда у Вас эта недоверчивость, подозрительность, мнительность! Почему во всем Вам чудится подвох! Вероятно, нелегкой была Ваша жизнь,— быть может, ушла жена, отвернулся в трудную минуту друг — и Вы ожесточились, изверились. От всей души желаю Вам отогреться сердцем и от всего сердца желаю оттаять душой!

Ваша Мадлен Артюхова».

19

Почему мы говорим – человек
ценнее вещи, если за человека
мы платим в тролейбусе
4 копейки, а за вещь 10?

20

На мир взирая исподлобья,
Был критик все же добр и мил...
Свою дубину и оглоблю
Он на занозы расщепил.

21

Вундеркинд – человек,
который ребенком может и знает
гораздо больше, чем тогда,
когда он становится взрослым.

22

Бездарного
подражателя часто при-
нимали за талантливого пародиста

МАТЕРИАЛЫ
В КОЛЛЕКЦИЮ ПРИСЛАЛИ:

18 — Б. Пургалин.
19 — А. Житницкий.
20 — М. Незнамов.
21 — Б. Брудзинский.

Жамидин

БЕЗ ОГНЯ

Я в дом к тебе вошел,
Ты с жалостью сказал:
«Как жаль, что пуст мой стол»,—
И заглянул в казан.

Водой казан залил,
Забыв лишь об одном:
Разжечь огонь забыл
Под полным казаном...

Потом ты делал вид,
Что ждешь, когда вскипит
Холодная вода,
И знал, что никогда
Она не закипит...

Ты сладко речи пел,
Меня в душе кляня...
Но твой казан вскипел —
От злости — без огня!..

ХВАЛИ МЕНЯ

Пусть льется сладких слов ручей,
Хвали меня.
Я не прерву твоих речей,
Хвали меня.

Тебя годами слушать рад,
Хвали меня.
Ты станешь мне родней, чем брат,
Хвали меня.

Я повторять не устаю:
«Хвали меня!»
Перед хвалою устою,
Хвали меня.

Не укорю тебя за лесть,
Хвали меня.
Ты можешь в душу мне залезть.
Хвали меня.

Пусть я душою мал и хил,
Хвали меня,
В твои года и я хвалил,
Хвали меня.

Меня впервые увидав,
Хвали меня.
Я не скажу, что ты не прав,
Хвали меня.

Перевел с лезгинского
А. ВНУКОВ.

Рисунки И. Бронникова.

ПЫЛЕСОС• ПЫЛЕСОС• ПЫЛЕСОС• ПЫЛЕСОС• ПЫЛЕСОС• ПЫЛЕСОС•

На стендах «Юности»

Григорий Анисимов

ГРАФИКА АЛМАЗНОГО КРАЯ

На стендах «Юности» выставка молодых графиков Якутии. Гравюры на линолеуме и рисунки как бы проводят зрителя от примитивного уклада охотничьих племен тайги к сегодняшней Якутии — стране электростанций, алмазов, самолетов.

О том, каковы якуты и их край в 1967 году, рассказывают в своих работах Валериан Васильев, Афанасий Мунхалов, Владимир Карамзин, Лаврентий Неофитов, Эллей Сивцев, Олег Ковалевский.

В Якутске стоят дома, ничем не отличающиеся от московских. Можно себе представить, что написал бы сейчас путешественник, который двести лет назад сообщал в своем донесении о якутском быте: «А жительство состоят по еланям около озер и по край Лены реки вверх и вниз, а строение имеют для зимовки деревянные юрты и обмазывают вокруг к пособу теплоты коровьим калом».

Радостное удивление — вот то чувство, которое испытываешь, глядя на работы якутских графиков. Разнообразие технических приемов, широта тематического диапазона, изобретательность и активность в использовании черно-белой фактуры, самобытный эмоциональный строй, идущий от древних народных традиций,— таково лицо якутской графики.

Ее герой — наш современник. Он работает трактористом в колхозе, ловит рыбу, строит новый поселок или ведет разведку недр. Это человек со сложным духовным миром, умными руками и сердцем поэта.

Вообще поэзия рождается в Якутии на каждом шагу, она свободно и естественно живет здесь, в краю синих льдов и вечной мерзлоты.

Вот одна из легенд о происхождении Якутии.

Давным-давно богатырь Омогой послал верного человека найти счастливые земли. Тот долго плыл по Лене с тремя жадными руслами, с богатой водой, с рослыми деревьями. Наконец на широкой поляне встретил он духа страны — госпожу Аан-Чэлбэй в рысьей шапке и соболиной дохе. Владычица долины предсказала, что в этой местности расплодятся люди и скот, нужно только направить сюда самого счастливого человека, который принесет этой земле счастье-удачу. Сюда, в долину Туймаада, где ныне стоит Якутск, и пришел Омогой.

Поэзия — неотъемлемое свойство якутской графики. Она тяготеет к емкому образному обобщению, к символическому языку. Особенно зримо предстает это стремление в гравюрах В. Карамзина, в работах В. Васильева «Музыка», «Свет идет», в серии лауреата Республиканской премии Афанасия Мунхалова «Солнце светит всем».

Сочетание народной традиции, родившейся много веков назад в наскальных рисунках, резьбе по кости, в тисненой гравировке по бересте, и высокой графической техники русской и европейской школ — характерная черта большинства произведений якутских графиков.

Если «Колхозные будни» Мунхалова — серия цветных гравюр — были только заявкой на большую современную тему, свидетельствующей о его больших возможностях, то уже в следующих сериях — «Солнце светит всем» и «Мой Север» — Афанасий Мунхалов раскрылся как оригинальный мастер острого психологического рисунка, смелых композиционных решений. Особенно хороши такие работы Мунхалова, как «Слушают мир», «Тихий разговор», «Думы». Здесь в полную силу выявилось умение художника создавать насыщенную эмоциональную среду, целостный образный мир. Парень и девушка склонились к приемнику. Радиоволны отключили их от всего окружающего и замкнули в высоком напряжении. Они слушают мир, и художник запечатлевает новый облик своих героев, их мысли и характеры, воспитанные советской новью на той самой земле, для которой искал счастья богатырь Омогой.

В сравнении с работами Мунхалова гравюры на линолеуме, сделанные Валерианом Васильевым, более размашисты, резки. Художник тоже стремится к образной символике, но она выливается в более жесткие, гротескные формы. Любопытно, что в рисунках Васильев добивается музыкальности, мягкости, прозрачности, тогда как в гравюре он больше всего ценит вес, плотность, контраст черного и серого.

Зато в цвете Васильев — лирик. Под его тонкой взволнованно-строгой кистью оживают голубые силуэты грузовиков, линейная геометрия красных городских кварталов.

По-видимому, во многом успехи сегодняшней якутской графики предвосхитил своими работами талантливый Лаврентий Неофитов, художник, рано ушедший из жизни. Одна его гравюра, сделанная еще в конце 50-х годов и показанная в «Юности», довольно красноречиво говорит о его не поблекшем с годами мастерстве.

Можно поздравить с большим успехом и Владимира Карамзина. Почти все его листы выполнены совсем недавно. Карамзин работает смело, вдумчиво, энергично. В его гравюрах привлекает экспрессия, напор чувства, хороший вкус. Правда, порой смелость художника не находит опоры в техническом приеме, мастерстве.

Молодая якутская графика неожиданна и интересна. Выставка в «Юности» впервые так полно знакомит москвичей с искусством далекого алмазного края. Словно свет полярной звезды, за тысячи километров долетели краски Якутии до маленького выставочного зала на улице Воровского.

Вверху: А. Мунхалов. Тихий разговор. Из серии «Мой север»; слева: В. Васильев. Труженик.

В. КАРАМЗИН. **Землю свою отстоим.**
Из серии «Солдаты гражданской войны».

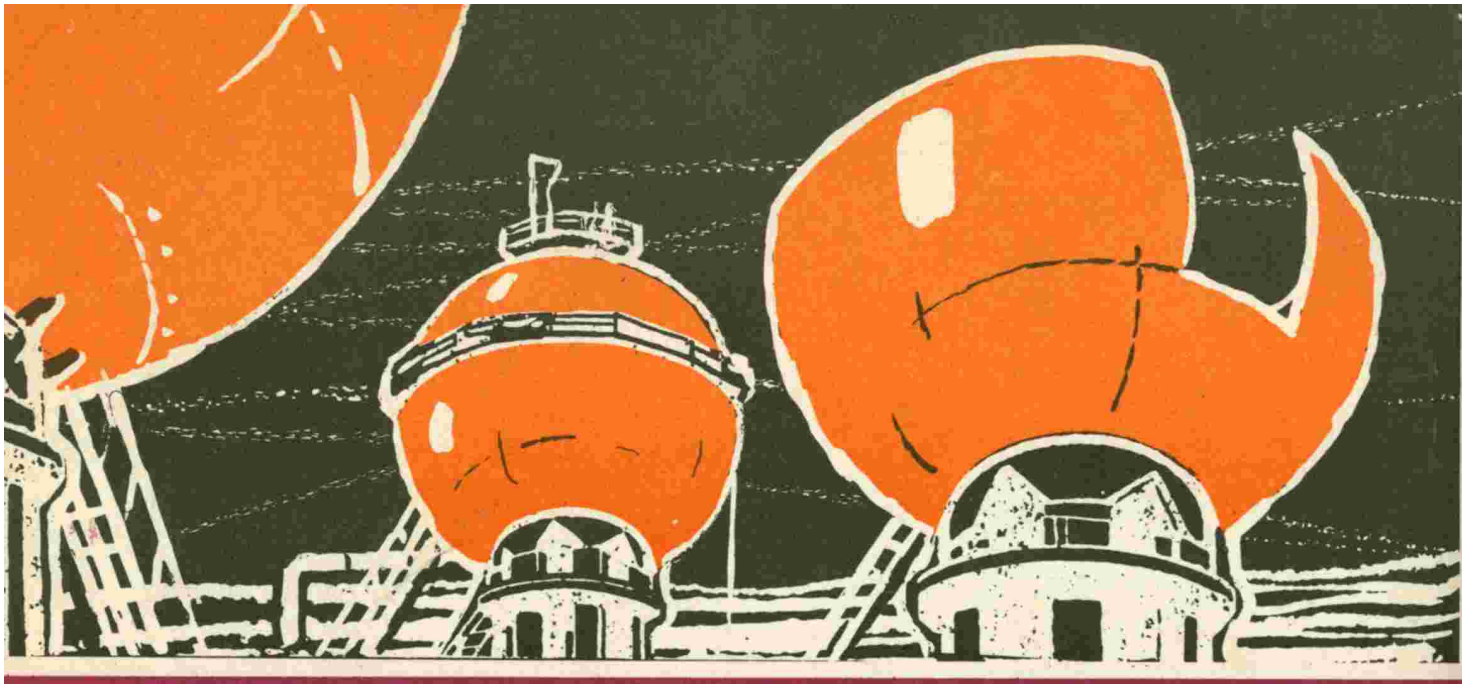
В. КАРАМЗИН. **Агитбригада.**

А. МУНХАЛОВ. **Слушают мир.**

В. ВАСИЛЬЕВ. **Музыка.**

На стендах «ЮНОСТИ»

ЯКУТСКАЯ ГРАФИКА



Цена 40 коп.

Главный редактор Б. Н. ПОЛЕВОЙ.

Первый заместитель главного редактора С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ.

Редакционная коллегия: В. П. АКСЕНОВ, Э. Б. ВИШНЯКОВ, В. И. ВОРОНОВ (зам. главного редактора), В. Н. ГОРЯЕВ, Е. А. ЕВТУШЕНКО, Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ (отв. секретарь), Г. А. МЕДЫНСКИЙ, М. П. ПРИЛЕЖАЕВА, В. С. РОЗОВ.

Индекс
71120